


В. А. ТУНИМАНОВ • А. И. ГЕРЦЕН И РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ЛИТЕРАТУРНАЯ МЫСЛЬ XIX В.

В. А. ТУНИМАНОВ


А. И. ГЕРЦЕН
И РУССКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ЛИТЕРАТУРНАЯ МЫСЛЬ
XIX В.



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

В.А. ТУНИМАНОВ

А. И. ГЕРЦЕН
И РУССКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ЛИТЕРАТУРНАЯ МЫСЛЬ
XIX В.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«НАУКА»

1994

ББК 83(0)5

Т 84

Ответственный редактор

Н. Н. СКАТОВ

Рецензенты:

Я. С. БИЛИНКИС, Г. Я. ГАЛАГАН

*Книга издана при финансовой поддержке
Международного фонда „Культурная инициатива”*

Т 4603020101-699 693-91-1
042(02)-94

ISBN 5-02-028047-X

© В. А. Туниманов, 1994 г.

© Российская академия наук, 1994 г.

ОТ АВТОРА

Это не предисловие, а всего лишь, если воспользоваться национальным административно-бюрократическим термином, небольшое «предуведомление». В настоящую книгу вошли переработанные и дополненные исследования, ранее опубликованные в третьем томе «Истории русской литературы», коллективных монографиях, журналах «Русская литература», «Вопросы литературы», «Revue des études slaves». Все они о творческом пути Герцена — философа, художника, историка, политика и о воздействии свободного слова Искандера на русскую общественно-литературную мысль главным образом XIX в. Однако автор считает необходимым хотя бы контурно, пунктирно коснуться и некоторых процессов литературного движения новейшего времени под углом отражения в них традиций герценовской мысли и герценовского историзма. Такое расширение временных рамок исследования представляется неизбежным: «присутствие» Герцена в русской литературе и публицистике XX в. с годами не только не уменьшалось, но неуклонно возрастало, особенно начиная с первой робкой «оттепели» 1950-х гг. вплоть до нынешней эпохи гласности, естественно видящей в издателе «Колокола» своего предшественника и союзника. Давно уже было обращено внимание на чрезвычайное, исключительное место в творчестве великого эмансипатора проблемы личности, без свободного развития которой немислима свобода общества. Г. Шпет обоснованно утверждал, что «личность — огненный центр философского — как и практического — мировоззрения Герцена». ¹ Понятно, что к этому «огненному центру» после десятилетий подавления всего «личного», после миллионов жертв, превращенных в лагерную пыль во имя могущества тоталитарного режима, возвращается сегодня раскрепощенная русская мысль, воздавая на путях возрождения и очищения должное герценовскому «апотеозу личности», герценовской «религии уважения к личности». ²

Но дело, конечно, не только в политических и идеологических созвучиях и перекличках. Герцен был художником-новатором,

¹ Шпет Г. Философское мировоззрение Герцена. Пгр., 1921.

² Там же. С. 53

создателем гениальной мемуарной «энциклопедии» «Былое и думы» (1852—1868) и особняком стоящей в русской литературе замечательной «логической» исповеди «С того берега» (1847—1855). В сложном и тернистом движении новейшей литературы к открытости, искренности, правде эстетические поиски и завоевания Герцена оказались весьма злободневными. И характерно, что современные писатели склонны подчеркивать ориентацию на поэтику Герцена, эстетические принципы его свободной, неканонической прозы.

В последней главе книги речь идет об отражении идей Великой французской революции в жизни и творчестве Герцена, что может показаться неоправданным и выходящим за рамки обозначенной в заглавии темы исследования. Но это не так. Во-первых, нелогично и нелепо отделять русскую общественно-литературную мысль от западноевропейской. Во-вторых, Герцен не просто в равной степени принадлежал к русскому и европейскому демократическому движению; он был связующим звеном, «мостом» между Европой и Россией, являлся полномочным представителем и главой свободной России на Западе. И, наконец, самое главное: размышления Герцена о старой французской революции органично слиты с его суждениями, думами о прошлом, настоящем и будущем России. Вообще мысли Герцена, в том числе и философские, исторические, непременно и принципиально современные, конкретны, рождены «живой жизнью», часто сиюминутными впечатлениями. Эта особенность мировидения Герцена обусловила эмоциональность, образность, выстраданность, подвижность его суждений о даже, казалось бы, сугубо «абстрактных» и «специальных» вопросах. «Личные встречи, интимные радости и огорчения, события дня — вот что служило толчками его мысли, что ферментировало и питало ее. И именно поэтому мысль Герцена всегда была действенна, „прагматична“, обращена к „жизни“ в широком и ходячем смысле этого слова. Правильно сказать, что „бескорыстно“, „незаинтересованного“ философского тяготения у Герцена не было, — философия была нужна ему как „теория жизни“, как жизненная мудрость...» — совершенно справедливо писал Г. В. Флоровский, рецензируя книгу Г. Шпета.³

Необходимо добавить: движение герценовской мысли, в основных чертах верно охарактеризованное Флоровским, не было ни спонтанным, ни анархическим. Герцен планомерно и последовательно подчеркивал, неоднократно повторял главные, опорные тезисы и идеи своей общественно-политической программы, уверенно регулируя «поток мысли». А в центре этой программы и вообще всей деятельности Герцена были интенсивные и страстные поиски путей возрождения, демократизации, обновления России — «империи стропил», по образному выражению писателя, т. е. молодого, растущего организма с неисчерпанным еще запасом огромных творческих сил.

³ Рус. мысль. 1922. Кн. 8. 12. С. 229.

Глава I

«НАЧАЛА» И «КОНЦЫ»

1

Александр Иванович Герцен, революционер, философ, публицист, издатель, писатель, оставил глубокий, неизгладимый след в истории русской литературы и общественной мысли XIX в. Родился Герцен в Москве, в грозном и славном 1812 г. Умер во Франции, накануне Парижской коммуны. Эти даты символически обрамляют жизненный и творческий путь Герцена, слово которого на протяжении нескольких десятилетий достойным образом представляло в Европе раскрепощенную, свободную русскую мысль.

Многообразно наследие Герцена: философское, публицистическое, литературно-художественное. В то же время оно проникнуто редким всеми признаваемым единством, источником которого Белинский справедливо считал *мысль* Герцена, гуманную и глубоко личную. «У тебя, — писал критик Герцену по поводу романа «Кто виноват?» (1847), — как у природы по преимуществу мыслящей и сознательной <...> талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, *осердеченный* гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре». ¹

Младший современник писателя, Достоевский, обратил внимание на другую особенность творчества Герцена, которая с наибольшей силой выразилась в двух шедеврах, созданных им уже после смерти Белинского, — книге «С того берега» (1847—1855) и мемуаре «Былое и думы» (1852—1868). Достоевский писал о «поэзии», пронизывающей всю деятельность и творчество Герцена: «...он был, всегда и везде, — *поэт по преимуществу*. Поэт берет в нем верх везде и во всем. <...> Агитатор — поэт, политический деятель — поэт, социалист — поэт, философ — в высшей степени поэт!». ²

Достоевскому удалось очень точно найти верную «точку в определении и постановке главной сущности» Герцена. Этот угол

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 271.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29, кн. 1. С. 113.

зрения позволяет представить все его творчество как некое единство, пронизанное особым эстетическим художественным началом, которое отличает даже философские работы, т. е. работы на, казалось бы, весьма специальные темы. Сам Герцен, кстати, также употреблял слово «поэт» в расширительном смысле, определяя специфику философско-публицистических книг Прудона («поэт в диалектике») и Гегеля.

Гегелевская история философии представлялась Герцену образцовой (софисты, Сократ, Аристотель — «это такие высокохудожественные, отточенные восстановления, перед которыми долго останавливаешься, пораженный светом»), и он прямо следует «поэтическим» традициям немецкого философа в «Письмах об изучении природы» (1844—1846). Наконец, говоря о Гете — «мыслящем художнике», Герцен дает его творчеству оценку, очень близкую к процитированным выше словам Достоевского о нем самом: «Поэт не потерялся в натуралисте, его наука точно так же поэзия жизни, реализма, с таким же пантеистическим характером и с той же глубиной».³

Всесторонне, европейски образованный человек с удивительной широтой научных интересов, Герцен одинаково свободно чувствовал себя в философии и естествознании, в истории и литературе. Гениальный, универсальный ум, огромный такт и реалистическое чутье удержали его от соблазнов и опасностей дилетантизма. Он сказал свое новое, весомое слово в истории и литературе. В политике его имя стоит так же высоко, как имена Мадзини, Гарибальди, Кошута, Чернышевского. Герцен был и выдающимся философом, страстно увлеченным, лихорадочно впитывавшим в себя идеи древнегреческих и римских философов, Юма, Гоббса, Бэкона, Спинозы, Фейербаха и Гегеля. «Феноменологии духа» последнего он посвятил маленькую «поэму», рассказав о кульминационном моменте своего «философского романа»: «Надо было прожить, чтоб не формально усвоить ее себе. Переломивший ногу полнее и тверже всякого врача знает, какая именно боль при переломе. Прострадать феноменологию духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худеть от скептицизма, жалеть, любить многое, много любить и все отдать истине — такова лирическая поэма воспитания в науку. Наука делается страшным вампиром, духом, которого нельзя прогнать никаким заклинанием, потому что человек вызвал его из собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тут надобно оставить приятную мысль благоразумно заниматься в известный час дня беседой с философами для образования ума и украшения памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они перед ним, писанные огненными буквами Даниила, и тянут куда-то вглубь,

³ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 388. Далее ссылки на это издание (М., 1954—1966) приводятся в тексте наст. книги с указанием тома и страницы арабскими цифрами.

и сил нет противостоять чарующей силе пропасти, которая влечет к себе человека загадочной опасностью своей» (3, 68).

В «Письмах об изучении природы» Герцен одновременно выступает историком философии, бережно восстанавливающим ход человеческой мысли, прослеживающим основные этапы ее развития; дальновидным трезвым политиком, ненавязчиво, но планомерно и поминутно вводящим злободневность в свой «специальный» рассказ, строго анализирующим и классифицирующим материал в соответствии с тем, что он может дать новому, реалистическому методу, и пронизательным психологом, художником, воссоздающим образы Сократа, Бэкона, Бруно, Гоббса, Юма, Лейбница. Это именно художественные образы великих мыслителей, перед консеквентной мощью ума, «отвагой знания», широкой и цельной натурой которых преклоняется Герцен, несколько в то же время не впадая в идолопоклонство.

Мысль Герцена — теоретика, философа, публициста обладает неповторимым, индивидуальным художественно-образным качеством. Она не только пластична, гибка, энергична, но и эстетична, эмоционально окрашена. А словесная форма, в которую она облечена, нетрадиционна, даже в строгом смысле не научна, несмотря на обилие терминов из разных наук, вводимых Герценом и в повести, и в философские письма. Научные термины выступают в необычном, порой вызывающе необычном окружении, образуя непривычные, дерзкие сочетания, разрушающие стереотипы и высвобождающие таящееся в мысли поэтическое начало. Герцен редко знакомит с итогами мыслительной работы, последними решениями и готовыми формулами — всякие схемы ему органически чужды, его пугает прямолинейность, раздражают односторонность и ригоризм. Герцен погружает читателя в процесс мышления и, не ограничиваясь основными вехами (зарождение, развитие и синтез), передает его изгибы, нюансы и временные отклонения. «Логический» роман, «логическая» исповедь, поэзия мысли — все эти герценовские самооценки необыкновенно точно и образно передают специфику его творчества.

Герцен 1830-х гг. — романтик и идеалист, увлеченный идеями «евангельского мистицизма» в сен-симонистском социал-утопическом варианте. Путь Герцена — философа, революционера, художника к вершинным произведениям 1840-х гг. — это интенсивное и стремительное движение от романтизма и идеализма с сильными бунтарскими и социальными тенденциями к реализму и материализму, творческое усвоение диалектики Гегеля и атеистических идей книги Фейербаха «Сущность христианства».

Первые беллетристические опыты Герцена — автобиографические фрагменты и романтические аллегории. «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей; пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя, которую толпа не поймет, — но поймут люди», — писал Герцен в апреле 1836 г. своей невесте Н. А. Захарьиной (21, 76). Сама переписка Герцена с Захарьиной — романтическая «поэма»

с традиционными для романтизма противопоставлениями «героя» (избранника, «демонической» личности, «поэта») и «толпы», неба и земли, идеала и действительности, презренной прозы и возвышенного искусства. Метафорический искусственный строй, эмоциональность, которым, по позднему ироническому приговору Герцена, свойственны «ломанные выражения, изысканные, эффектные слова», — черты, также присущие романтическому мировоззрению. Они присутствуют как в письмах Герцена, так и в таких ранних повестях, как «Легенда» (1836) и «Елена» (1836—1838), в которых социально-утопические аллегории и «опыт своей души» выступили в оболочке экзальтированно-мистических идей и романтических штампов.

Молодой Герцен часто обращается к далеким историческим эпохам, критическим и переходным. «〈Из римских сцен〉» (1838) и «Вильям Пен (Сцены в стихах)» (1839) — широко и интересно задуманные произведения, в которых, по определению Герцена, «ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм» (1, 337). История в упомянутых ранних опытах Герцена романтически условна, она отражает биографию и личный опыт писателя, — так, речи Лициния порой прямо дублируют записи в дневнике. Но ситуации и конфликты в ранних романтических опытах Герцена, что особенно важно, те же самые, что и в его произведениях зрелой поры: «. . . разрыв двух миров 〈. . .〉 отходящее старое теснит возникающее юное 〈. . .〉 две нравственности с ненавистью глядят друг на друга. . .» (1, 340), — с той, конечно, громадной разницей, что позднее критические ситуации и конфликты будут «переведены» на реалистический язык Герцена — материалиста и «патолога».

Герцен, однако, и позднее не отказывается от романтически-идеалистического времени 1830-х гг., от «поэзии» и «шиллеровщины». Он вкладывает в уста скептика Трензинского слова, исторически, психологически объясняющие и оправдывающие естественность и необходимость такого мирозерцания в начальный период формирования личности: «. . . идеализм — одна из самых поэтических ступеней в развитии человека и совершенно по плечу юношескому возрасту, который все пытается словами, а не делом» (1, 304). Речь у Герцена идет о реалистической и революционной «переработке», а не об отказе и тем более не об отречении. Романтический протест, в глазах Герцена, обладает неувядающей прелестью и своеобразной, хотя и весьма субъективной, правдой. Герцен неоднократно будет в дальнейшем в своих лирико-публицистических книгах сталкивать, сводить в идейной поединке «романтиков-идеалистов» и «скептиков-реалистов», «юность» и «зрелость», романтический, эмоциональный порыв и безжалостный иронико-анатомический анализ.

Границы, разделяющие публицистику, философские письма и художественную прозу Герцена, весьма относительны, а часто и сознательно размыты. Наиболее выдающиеся произведения Гер-

цена написаны, как правило, в смешанном жанре: «Письма из Франции и Италии» (1847—1852), «С того берега», «Концы и начала» (1862—1863), «Былое и думы». Несомненно единство творчества Герцена. Единство это, обусловленное, сцементированное широким, реальным, гуманистическим воззрением, охватывает все жанры, в которых творил Герцен, и его эпистолярную. Философские, эстетические, этические, политические принципы Герцена неразрывно спаяны. Сформировались они еще в 1840-х гг. и впоследствии существенных изменений не претерпели.

Герценовские повести — от «Записок одного молодого человека» (1840) до самых последних — объединены его любимым героем-скептиком, не подвергнувшимся серьезной эволюции, имеющим своих предшественников и «двойников» в дневнике, философской и политической прозе. «С того берега» и «Былое и думы» — книги, чья творческая история в общей сложности охватывает промежуток почти в четверть века, особенно ярко раскрывают законы художественного мира Герцена, эстетические качества его опозитивированной диалектической мысли.

Разрабатывая в 1840-е гг. основы нового, реалистического знания,⁴ Герцен стремился к тому, чтобы оно было синтетичным, вобравшим в себя все ценное из разных систем и действенным: проблеме «одействования» научных знаний Герцен придавал исключительное значение. Новое знание, по его глубоко убеждению, могло родиться только в результате всестороннего и глубокого, открытого и беспристрастного обсуждения основных проблем современности людьми, принадлежащими к разным партиям и даже одержимыми различными «экстремами». Свободный диалог поможет преодолеть односторонние точки зрения, приблизит к истине в науке и к реальному действию в политике. Мастерство герценовского диалога, достигшее вершины в книге «С того берега», формировалось в 1840-х гг. в спорах как с «чужими», славянофилами (Хомяковым), так и со своими, «западниками» (Грановским, Белинским). Диспутами со славянофилами, и особенно с их первым «диалектиком» Хомяковым («он идет в самую глубь, в самое сердце, то есть в развитие логической идеи»), Герцен очень дорожил. Они были лично для него хорошей школой, в которой испытывались идеи и проверялся, уточнялся реалистический метод. «Я рад был этому спору, — писал Герцен в дневнике об одном из очередных словесных сражений с Хомяковым, — я мог некоторым образом изведать силы свои, с таким бойцом помериться стоит всякого ученья, и мы разошлись, каждый при своем, не уступивши йоты» (2, 250). Вызывая в 1860-е гг. на диспут Самарина, Герцен вспоминает споры 1840-х гг. как жизненно важное для него дело, как одно из самых дорогих впечатлений прошлого: «Я помню, как я, бывало, готовился со страхом логики и верой в Гегеля на споры с Хомяковым и, приходя домой, считал, все ли

⁴ О широком, всеобъемлющем смысле, придаваемом Герценом понятию «реализм», см.: *Гинзбург Л. Я.* «Былое и думы» Герцена. Л., 1957. С. 4.

категории целы» (27, 497). Диалог Герцен считал крайне необходимым, нужным в России, приучающим мыслить публично, воспитывающим свободных людей: «Привычка собираться для споров, излагать, защищать свое profession de foi постановляет в люди безличных рабов» (2, 259).

Герцен не мыслил жизни без диалога, полемики («Я ржавею без полемики. Нет ничего скучнее, чем монолог» — 29, 272) и рад был любой возможности сразиться с достойным бойцом, сильным противником; когда же такового в наличии не было, он его конструировал, создавал образ воображаемого собеседника, перебивая его вопросы и репликами монологического течения статьи. Хомяков — главный оппонент Герцена в бесконечных спорах 1840-х гг., оставивших несомненный и сильный отпечаток на всем его творчестве. Диспуты с Хомяковым, однако, не только доставляли Герцену особенное эстетическое удовольствие. Не в меньшей степени они его раздражали догматически-неподвижной при всей изощренности системы доказательств позицией спорщика. Широка воззрений Хомякова, по мнению Герцена, обманчива, его терпимость лукава, его уступки непоследовательны, а апелляция к вере как к первому и последнему аргументу, в сущности, уничтожает возможность свободного диалога. Герцен находил диалектику Хомякова непоследовательной и позицию его неясной, даже двуликой, хитрой. Ему больше по душе был последовательный сердечный «экстремный» взгляд П. В. Киреевского и К. С. Аксакова. В Хомякове он такой искренности и благородства в отстаивании своих убеждений тогда не видел. А споры с ним, беспрерывно наталкивающиеся на один и тот же религиозный предел, все сильнее начинали его утомлять. Разрыв был неизбежен: статьи Белинского, тону которых Герцен не сочувствовал, только его ускорили.

Белинского, как известно, Герцен очень ценил и любил, восхищался его героической натурой бойца, почти всецело сочувствовал направлению его критики, даже в его «экстремах» находил нечто глубоко симпатичное, горячее, искреннее. Но в то же время его отношение к критику не было лишено и некоторой доли снисходительности, мягкой иронии. Не воззрения Белинского, разумеется, вызывали его иронию, а то, что он называл догматической формой изложения. Смущали не крайности, они естественны и обусловлены предметом полемики, временной необходимостью, следовательно, пройдут, а непререкаемый тон учителя, нежелание объективно отнестись к другим точкам зрения, которые априорно, до спора признаны ложными. В письме к Краевскому Герцен так отзывался о диалогическом строении статьи Белинского: «. . . точно Платон, в форме разговора, в котором le second interlocuteur молчит не разевая рта (спора зато не выйдет). . .» (22, 128). Те же мысли Герцен развивал и в беседе с Белинским, причем этот разговор ему надолго запомнился, — он вспомнит о нем в «Былом и думах» и расскажет Достоевскому. Диалог, в котором le second interlocuteur'у отведена молчаливая, страдательная роль, где нет

оппонента, а есть жертва, лишенная права голоса и вынужденная выслушивать проповедь или отповедь, чужд Герцену. Как бы справедливы, умны и глубоки ни были пропагандируемые истины, такой диалог не в ладах с типом свободного, независимого мышления. Революционный по содержанию, он догматичен по форме. К тому же такая непререкаемая, нетерпимая позиция при безумной консеквентности фанатизма таит в себе опасности самого разнообразного свойства.

Произведения Герцена 1840-х гг. не просто диалогичны в обычном смысле (спор, предшествующий рассказу в «Сорокоровке» (1848), беседа Трензинского и молодого человека, завершающая «Записки...»). Диалогическое начало пронизывает все содержание романа «Кто виноват?», определяет конфликтную ситуацию и позицию автора.⁵ Диалогично строение и философских книг Герцена, где сталкиваются типы мышления и образы мыслителей. Наиболее последовательно диалогический принцип выдержан в книге «Дилетантизм в науке» (1843), причем особенно это относится к противопоставлению романтизма и классицизма. Герцен тщательно взвешивает преимущества, оценивает «пределы» того и другого метода, подчеркивает историческую неизбежность их возникновения и историческую ограниченность. Но это диалогическое противопоставление также имеет свои границы, оно подчинено пропаганде нового, высшего, реалистического метода, способного усвоить, переработать позитивные, жизненные элементы романтизма и классицизма. Синтезирующий взгляд автора, четкое и твердое стремление к обобщающей точке зрения, формирующейся после детального взвешивания pro и contra, очень характерны для Герцена 1840-х гг. Его объективность и многосторонность введены в строгие рамки. Поэтому даже в пределах одного «письма» Герцен не оставляет мысль на полдороге, а читателя в недоумении по поводу позиции автора; он, хотя бы и в общем виде, завершает сравнительно-критический анализ и незаметно переходит к тезисам, формулируя собственную точку зрения строго и ясно.

Отчетливость тезисов и выводов, целенаправленная последовательность мысли весьма характерны для Герцена до катастрофы 1848 г., после нее он навсегда утратит непоколебимую веру в непогрешимость той или иной точки зрения, в исключительную, непрременную правоту того или иного метода. Диалогическое противостояние различных типов миропознания, научных методов в «Дилетантизме в науке» и «Письмах об изучении природы» в значительной степени снимается синтезирующими выводами автора. Несколько сложнее, правда, обстоит дело в «Капризах и раздумье» (1843—1847) и романе «Кто виноват?», но причина различий здесь не в методе, а в жанровой природе. В целом же

⁵ О диалогическом конфликте в романе пишет Ю. В. Манн в статье «Философия и поэтика „натуральной школы“» (Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 257—268).

Герцен уверенно и настойчиво формулирует и пропагандирует свой метод, нисколько не сомневаясь в правоте выводов и настоящей необходимости, перспективности выдвигаемых им на первый план задач. Герцен не просто больше симпатизирует классицизму, чем романтизму, он переходит к остроироническому, революционному по сути анализу действительности (а не одной только философии) в главе «Буддизм в науке» — не случайно именно эта статья из цикла «Дилетантизм в науке» оказалась в центре внимания петрашевцев.

Утрата ясной перспективы и острота разочарования, естественными следствиями чего явились крайний скептицизм и пессимизм, обусловили и совершенно новый в творчестве Герцена тип диалога, получивший классическое выражение в главах «Перед грозой», «Vixerunt», «Consolatio» его самой трагической книги «С того берега». Трагической в высоком смысле: личная трагедия неразрывно слита с трагедией поколения, мира; это глубокий духовный перелом, который может завершиться или окончательным падением человека и общества, или возрождением на совершенно новых началах. Дополнения к книге, открывающие иную перспективу, — все-таки поздний, оптимистический привесок, уже новый этап (контурно сформулированные тезисы «русского социализма»). Они нисколько не отменяют болезненной напряженности мысли, отчаянного скептицизма, мощной, разрушительной «негации», страстных *pro* и *contra* в главах, строящихся на диалогическом принципе. В них особенная (и более уже в таком виде не повторившаяся) форма диалога продиктована кризисом духовного сознания, с «патологической» беспощадностью исследуемым в нескольких плоскостях и с разных, меняющихся, подвижных точек зрения. Для исполнения такой задачи оказались единственно подходящими диалоги без завершающего итога, без оптимистически-утверждающего сведения крайностей в некоем реалистически безупречном синтезе. «Не ищи решений в этой книге — их нет в ней. . .» — предупреждал сына, которому посвящена книга, Герцен (6, 7).

Перспектива в диалогических главах книги срезана, категория будущего — самая неопределенная в отличие от слишком очевидной текущей действительности, даются только рецепты поведения свободной и независимой личности в сошедшем с ума мире. Несомненно это новое явление в творчестве Герцена, хотя и не во всем, не совершенно новое. В диалогах и монологах «С того берега» господствует ретроспективная исповедь («логическая»), в которую вводятся масштабные идеологические конфликты (судьба Сократа, поздние римские философы и христианский мир, Гете и Руссо), парадоксы, метафоры (образ тонущего корабля, явно навеянный поэмой Лукреция «О природе вещей») из произведений «русского» периода.

Подведение итогов и связанное с ним частое обращение к прошлому — постоянная отличительная черта Герцена — публициста, философа, беллетриста. Он всегда испытывал неодолимую по-

требность в самоанализе, в отчете перед собственными совестью и разумом и, конечно, перед читателем. В его публицистической деятельности с хронологической точностью расставлены яркие вехи, меты — статьи, книги итогового характера, анализирующие сделанное за год, за пять лет, за десять. Герцен — публицист, пропагандист, глава небольшой, но влиятельной партии вольного русского слова был очень заинтересован в успехе своего дела, в его практическом резонансе, — поэтому он так часто, бесчисленное количество раз повторяет, варьируя, свои основные тезисы и идеи. Герцен, правда, не создал строгой системы, но тем не менее взгляды его отличает поразительно единство и постоянство, разумная konsekventность. Переходя с берега на берег, Герцен стремился остаться верным себе и реалистическому методу в главном, он вообще был принципиальным противником безоглядного сжигания мостов, разрушительно-безумного нигилизма. Почти каждое из больших произведений Герцена соотносится с имевшейся в прежних книгах и статьях цепью ассоциаций: философских, психологических, исторических, литературных. Герцен пережил два серьезных мировоззренческих кризиса: в 1848—1849 гг., когда рухнула его вера в Запад и его цивилизацию, даже значительно поблекла вера во всемогущество западной науки, и в 1863 г., когда Россия, с будущим торжеством в которой идей русского социализма он связывал почти все свои надежды, распяла добрую половину их в Польше. Казалось бы, столь мощные кризисы должны были произвести опустошительное воздействие на мировоззрение Герцена. Однако основы его остались почти незатронутыми.

Герцен не пережил «перерождения убеждений», как это случилось с Достоевским; творческий путь его не делится так четко на периоды, как творчество Толстого. Менялись формулы, акценты, рушились одна за другой иллюзии, бесследно в Лету уплывали утопии, срывались отчаянные слова, утончался и креп скептицизм, случались и минуты страшной усталости, все меньше и меньше оставалось друзей, но не прекращались поиски иных дорог и новых возможностей, и — главное — не менялся метод. Преемственность Герцен в себе сознательно культивировал, как и уважение к прошлому. Он дорожил воспоминаниями, былым, образами, людьми, идеалами, вещами. С дорогими его сердцу современниками расставался, болезненно переживая невозполнимость утраты, и рвал окончательно лишь тогда, когда видел совершенную невозможность сближения. Так, очень нелегко ему дался разрыв с Кавелиным и Самариним, но он пошел на это, твердо зная, что некоторыми вещами поступаться невозможно. Герцен в человеческом и идейном отношении был человеком постоянным, консервативным — в благородном смысле этого слова.

В книге «С того берега» прежние идеи доведены до последнего предела, до крайней степени обострены и ранние диалогические ситуации — Мевия и Лициния, Трензинского и молодого человека, Крупова и Круциферского, дублируемые литературно-философскими и историческими ситуациями (Гете и Руссо, Гете

и Шиллер). Изменения коснулись не только отдельных композиционно-структурных элементов (смена акцентов, резко усилившиеся горечь и скептицизм, раздвоенность позиции автора), но и сути: все усилия мысли направлены не на выработку нового знания, а на то, чтобы не допустить окончательной катастрофы, чтобы избежать краха. В диалоги брошены все существенные, дорогие идеи и идеалы, и нужно срочно решить, что следует удержать, не погрешив против истины (установить также, все ли истины истинны), а что придется раз и навсегда отбросить, похоронить.

Герцен в «Былом и думах» назвал реальных прототипов героев-оппонентов в главах «Перед грозой» и «После грозы»: «человек средних лет» — сам автор, «молодой человек» — Галахов. Однако, как справедливо писал В. В. Тихомиров, автор серии статей о «С того берега», свидетельство Герцена не следует принимать слишком буквально.⁶ Точка зрения «человека средних лет» безусловно заострение, — и в каждом диалоге особенное, диктуемое ситуацией, психологическим состоянием собеседника, — некоторых сторон мировоззрения Герцена в кризисный период. Но и позиция «молодого человека» не просто воплощение романтической противоположности скептическому, реально-трезвому взгляду, а и отражение ярости личной, гневной реакции Герцена на июльские события в Париже. Не менее важно и другое обстоятельство: диалоги не выявляют правоту (тем более безусловную) чьей-либо позиции, что не мешает, правда, Герцену лично симпатизировать реально-физиологическому взгляду «человека средних лет». Положение, однако, меняется в третьем диалоге — в главе «Consolatio», название которой глубоко иронично, так как утешительный диалог обрывается на грустной и безнадежной ноте, а выступивший в роли утешителя доктор сам близок к отчаянию и не видит для себя настоящего исхода. Доктор в «Consolatio» прямо продолжает линию трезво-скептического, реально-физиологического знания «человека средних лет», он, конечно, не «эмпирик», а такой же реалист; дама развивает аргументы «молодого человека», но высказывается значительно обстоятельнее и разнообразнее. Между этими спорщиками нет такой резкой противоположности, как в первых двух диалогах, их точки зрения не столь отличны: даме в чем-то внятен скептический, безрадостный «оптимизм» доктора, а тот сердечно разделяет ее сетования и печаль.

«Человек средних лет» в первом диалоге — полноправный хозяин беседы, чутко и продуманно направляющий ход дискуссии; защищаясь, он последовательно и виртуозно охлаждает романтический пыл «молодого человека», сея, так сказать, семена сомнения; во втором, напротив, теми же реальными истинами, но

⁶ См.: Тихомиров В. В. Диалоги в книге А. И. Герцена «С того берега» // XIX Герценовские чтения. Л., 1966. С. 70—72, а также: Гинзбург Л. Я. «С того берега» Герцена: (Проблематика и построение) // Изв. АН СССР. Отд.-ние лит. и яз. 1962. Т. XXI, вып. 2. Март—апр. С. 112—124.

взятыми в другой комбинации, иначе скомпонованными, пытаются спасти разочаровавшегося идеалиста от противоположной крайности. Лично-интимное «человек средних лет» постоянно устраняет, резко противясь всяким попыткам перевести разговор на личности, скрывая острую боль, растерянность перед происшедшим. Нервность, надрывность диалогам сообщает «молодой человек»; усилия его противника направлены на смягчение напряженности — а она может быть снята лишь «патологическим» анализом действительности, объективно-бесстрастным знанием, которому мешает сильный эмоциональный стресс. В «*Consolatio*» не просто очередная перестановка сил оппонентов, другая комбинация реплик в споре реалиста и романтика. Резко изменена тональность диалога, устранена излишняя горячность; это уже не столько спор, сколько задушевная беседа. Доктор мягко и спокойно реагирует даже на язвительные реплики собеседницы. Создается впечатление, что они его мало ранят и заранее ему известны. Грустное знание, добытое многолетними размышлениями и огромным жизненным опытом, очень слабо утешает доктора, и будь он менее последовательным человеком, то пожертвовал бы им ради чего-нибудь не столь беспощадно-неумолимого. Но он на это не способен, так как доктор — свободный человек, не желающий и не могущий жертвовать истиной ради призрачного, но утешительно-го счастья утопии. Личная независимость, свобода голоса и разума, преданность истине — вот его *profession de foi*. Его и Герцена.

Три больших диалога в книге «С того берега», своеобразная триада — идеологическая сердцевина произведения, построенного на резких диссонансах и антитезах. Они дают многосторонний анализ состояния мира, разлагающегося как гнилая рыба, и в то же время способствуют выработке позиции, единственно возможной для свободно и реально мыслящего, независимого человека в мещанском и умирающем обществе. Диалоги, хотя и составляют идейно-философскую сердцевину произведения, еще не вся книга, и ими вовсе не исчерпывается богатство ее содержания. В «монологических», резкими, энергичными мазками набросанных главах автор, отходя от всякого диалогизирования, дает полную волю своим эмоциям. Затаенные, сдерживаемые скорбь и гнев прорываются здесь бурным, неудержимым потоком жгучей ненависти к старому миру, к празднующему победу мещанству. Сетования, скорбь «молодого человека» из диалогических глав сохранены полностью и стократно увеличены, соединены общей темой смерти с «патологическими» разборами «человека средних лет» и доктора. Исповедь-отречение Герцена от всех иллюзий и надежд сбалансирована дополнениями, намечающими поворот к другому берегу — «русскому социализму». Такова необыкновенно сложная и противоречивая структура переломного и переходного в творчестве Герцена произведения. В нем с необыкновенной художественной силой запечатлены период духовного кризиса и начало его преодоления.

Основы реалистического метода Герцен разработал в «Дилетантизме в науке» и «Письмах об изучении природы»; основы своего гуманизма раскрыл в публицистическом лирико-философском трактате «Капризы и раздумье» и в беллетристике («Кто виноват?»). Критика уже давно и правомерно отмечала идейную и эстетическую близость этих произведений. О гуманизме как характернейшей, ведущей черте мирозерцания Герцена великолепно писал Белинский: «человеколюбие, но развитое сознанием и образованием»,⁷ Белинский в своем знаменитом анализе гуманизма автора «Кто виноват?», возможно, отталкивался от слов Герцена, который, в частности, просил Кетчера передать критику свое впечатление от его статьи: «. . . скажи ему, зачем он (< . . . >) как только дело дойдет до национальных бредней, поминает о лаптях и сермяге. (< . . . >) Я думаю, не вовсе прилично аристократически хвастать сапогами и смеяться над людьми, носящими лапти. (< . . . >) Гуманность, гуманность — великое дело!» (22, 186). Упрек в негуманности направлен первому союзнику Герцена по всем новым современным вопросам и находится в прямой связи с той чертой личности критика, которую Герцен называл односторонностью. Гуманизм (или гуманность) Герцена — это не категория, не метод познания (реализм), не точка зрения, а нечто очень широкое и объемное, лежащее в основе всей его деятельности, взглядов, поведения, системы оценок. Очень важно для понимания сути гуманности Герцена видеть ее связь с такими постоянными категориями и понятиями в творчестве писателя, как многосторонность (широкость), консеквентность, пластицизм, скептицизм, негация. Ядро гуманизма Герцена — учение о личности, впервые обстоятельно разработанное в «Капризах и раздумье». Последующие частые возвращения Герцена к центральному для него вопросу современности («Согласовать личную свободу с миром — тут вся задача социализма» — 12, 260) — углубление и вариации поставленной темы.

Все прочие проблемы Герцен связывает с идеалом гордой, свободной, гуманной личности, а события поверяет одним и тем же вопросом: что они, собственно, дали человеку, как продвинули дело его освобождения? М. Горький справедливо ставил в особую заслугу Герцену глубокую, многостороннюю, крайне необходимую в России разработку вопроса о правах личности: «Никто, кроме Герцена, не понимал, что веками накопленное презрение к человеческой личности, созданное рабством, необходимо должно было вызвать борьбу за индивидуальность, за свободу личности прежде всего. Но Г(ерцен) смотрел на личность именно как на силу организующую, он не вырывал ее из социальной среды, все же иные идеологии или совершенно отрывали ее с нивы истории, или же приносили в жертву о(бщест)ву. . .».⁸ Этот герценовский

⁷ А. И. Герцен в русской критике. М., 1953. С. 71.

⁸ Там же. С. 257.

взгляд с исключительной полнотой и страстностью был выражен в «Капризах и раздумье»: «Не отвергнуться влечений сердца, не отречься от своей индивидуальности и всего частного, не предать семейство всеобщему, но раскрыть свою душу всему человеческому, страдать и наслаждаться страданиями и наслаждениями современности, работать столько же для рода, сколько для себя, словом, *развить эгоистическое сердце во всех скорбящее*, обобщить его разумом и в свою очередь оживить им разум. . .» (2, 63—64; курсив мой. — В. Т.).

Выделенные нами курсивом слова из знаменитой формулы Герцена особенно поразили своим глубоким и проникновенным смыслом крупнейшего русского писателя-народника Г. И. Успенского, который испытал огромное идеологическое воздействие герценовской мысли. В исповедальном цикле очерков Успенского «Волей-неволей» он в основу главной дилеммы произведения кладет герценовскую этическую задачу и несколько «упрощенную» мысль Достоевского («Братья Карамазовы»). Влияние Герцена на народническое движение обычно видят в преемственных связях между его теорией «русского социализма», главным пунктом которой, как известно, является вера в социалистическое развитие русского села — ячейки будущего общества, и аналогичными по духу утопиями народолюбцев. Эта очищенная от славянофильских крайностей и православного духа теория стала первоосновой народничества. Но не менее сильным было и воздействие этики Герцена. Высказанные в «Капризах и раздумье» мысли о высоком эгоизме, жертве, своеволии, идолопоклонстве, семейном рабстве были крайне злободневны и важны не только для Чернышевского, воспринявшего многие положения герценовской этики («теория разумного эгоизма») и придавшего им несвойственный Герцену ригористический и резкий оттенок, но и для кающегося, жертвенного поколения Успенского. Как необыкновенно современные воспринял статьи и повести Герцена 1840-х гг. и Шелгунов.

Герцен превосходил почти все возможные аспекты проблемы освобождения личности, и — что не менее существенно — точно и честно выявил опасности и подводные мины, лежащие на пути великой эмансипации. Он изнутри подрывает основы старой морали, авторитетные, освященные преданиями и кодексами предписания и заповеди, обращая внимание на необходимость полного освобождения от рабского мышления и поведения, раскрепощения разума, плоти, духа современного человека: «Людям страшна ответственность самобытности: любовь их к нравственной независимости удовлетворяется вечным ожиданием, вечным стремлением; они скромно рвутся, воздержно стремятся к предмету желаний и чувствительно верят, что их желания осуществляются если не в настоящем, то в будущем; такая вера утешает и мирит их с настоящим — чего же лучше?» (2, 90). Ничего нет хуже — ответ Герцена. С утешениями и мечтательством, обращенными в прошлое или будущее, необходимо бесповоротно распрощаться осо-

знавшему «ответственность самобытности» человеку, для чего в первую очередь нужно принять одну простую истину: «...нет того истинного, простого отношения между людьми, которого бы они не превратили во взаимное порабощение: любовь, дружба, братство, соплеменность, наконец, самая *любовь к воле* послужили неиссякаемыми источниками нравственных притеснений и неволи» (2, 93).

Натура действительная, реальная не может удовлетвориться ни прописной моралью, ни тем более стадным или цеховым преклонением перед идеалами: идея, государство, монархия, республика, наука, бог. В «Капризах и раздумье» Герцен объявляет войну государственной и «философской» морали, выразившейся в прописях: «Идея все, человек ничего», «Всеобщему надобно жертвовать частным», а также христианской, ставящей на первое место среди нравственных добродетелей смирение, жертву: «...а жертва никогда не бывает наслаждением: я, по крайней мере, не знаю радостных жертв, потому что радостная жертва вовсе не жертва» (2, 95). Жертве, христианскому идеалу человеческого, нравственного служения людям Герцен противопоставляет свою концепцию эгоизма и своеволия, очень емкую, несмотря на полемичность рассуждений, и, в сущности, являющуюся проповедью осознанного, разумного альтруизма. Не случайно для того, чтобы пояснить содержание, вкладываемое им в понятие «эгоизм», Герцен вычленяет специфический, особенный смысл своего словупотребления: «Слово *эгоизм*, как слово *любовь*, слишком общи: может быть гнусная любовь, может быть высокий эгоизм, и обратно. Эгоизм развитого, мыслящего человека благороден; он-то и есть его любовь к науке, к искусству, к ближнему, к широкой жизни, к неприкосновенности и проч. (. . .) Вырвать у человека из груди его эгоизм — значит вырвать живое начало его, закваску, соль его личности. . .» (2, 97).⁹ Столь же решительно утверждает Герцен и культ своеволия, получивший впоследствии сложное полемическое развитие в теориях «подпольного человека» и Кириллова у Достоевского: «Я полагаю, что *разумное признание своеволия есть высшее нравственное признание человеческого достоинства. . .*» (2, 97).¹⁰

Эгоизм и своеволие, взятые в их высоком качестве, вовсе не противостоят общегуманному воззрению, они, напротив, внутренне цементируют нравственные устои личности. Гуманность — это понимание, анализ, знание, одновременно рассудочное и сердечное, не вера, а убеждение, многократно доказанное, проверенное,

⁹ Слово «эгоизм» Герцен часто употребляет в том особенном смысле, в каком оно бывало у Л. Сен-Симона и сен-симонистов. О сен-симонизме молодого Герцена см.: Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. С. 19; Куприянова Е. Н. Идеи социализма в русской литературе 30—40-х годов // Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969. С. 92—151.

¹⁰ «Подпольный человек» Достоевского обратит «разумное признание своеволия» в теорию капризного хотения и повернет ее против культа разума и деяния, насмешливо предпочтя сознательное «сложарукисидение».

ставшее незыблемым. Подлинная, реальная гуманность бежит суда и уголовных разысканий, она подчинена лишь истине, а не кумирам, идолам, предрассудкам. «Понять событие, преступление, несчастье чрезвычайно важно и совершенно противоположно решительным сентенциям строгих судей, понять — значит, в широком смысле слова, оправдать, восстановить: дело глубоко человеческое, но трудное и неказистое. (. . .) Наше *партикулярное* дело — проникать мыслью в событие, освещать его не для того, чтоб наказывать и награждать, не для того, чтоб прощать, — тут столько же гордости и еще больше оскорбления — а для того, что, внося свет в тайники, в подземельные ходы жизни, из которых вырываются иногда чудовищные события, мы из тайных делаем их явными и открытыми» (2, 56—57).

Не претерпев в дальнейшем коренных изменений, этика Герцена приобрела лично выстраданный скептический оттенок, что совершенно закономерно и объясняется общим отрезвлением и отказом от некоторых прежних оптимистических тенденций. Сам Герцен воспринимал эти перемены не без грусти, понимая неизбежность происшедшего, скорбел об утрате прошлого взгляда на мир, человеческую природу: так, он со странным и смешанным чувством перечитывал «Записки одного молодого человека», не находя в себе былых порывов и энтузиазма. Но жизненность и справедливость основных принципов своей этики, подробнее всего изложенных в «Капризах и раздумье», Герцен имел возможность много раз проверить и испытать. Он будет еще резче в 1850-е и 1860-е гг. противопоставлять понимание, восстановление, всесторонний и непредвзятый дробный анализ односторонности, нетерпимости, старческому ригоризму, формализму, уголовному суду. Будет излагать со всемерностью пропагандиста и учителя эти гуманные и реалистические правила Александру II и Бакунину, Самарину и Грановскому, Тургеневу и родному сыну, Прудону и Кавелину. Не всепрощающий, а всепонимающий взгляд чуждается догматизма и отвлеченности: «Ничего в мире не может быть ограничней и бесчеловечней, как оптовые суждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Названия — страшная вещь. (. . .) Я имею отвращение к людям, которые не умеют, не хотят или не дают себе труда идти далее названия, перешагнуть через преступление, через запутанное, ложное положение, целомудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это делают обыкновенно отвлеченные, сухие, себялюбивые, противные в своей чистоте природы или натуры пошлые, низшие, которым еще не удалось или не было нужды заявить себя официально; они по сочувствию дома на грязном дне, на которое другие упали» (8, 202). Недоверие к оптовым суждениям, нравственному каталогу, априорным приговорам, цеховым и групповым догмам Герцен считает первым и решающим условием гуманизма. Процитированные слова из «Былого и дум» в данном конкретном случае вызваны одним очень распространенным оптовым суждением о жандармах. Мундир, в том числе

и полицейский, в глазах Герцена, вовсе еще не рекомендует человека, это только вывеска, название, чин, государственное положение. Судить только по мундиру о человеке, подходить ко всем без разбора лицам определенного разряда с априорно готовыми ригористическими мерками и приговорами — поистине означает судить по одежде, отступая от реалистического анализа и гуманизма.

Проповедник высокого эгоизма и своеволия, так полемично писавший о жертве и смирении, в то же время глубоко симпатизировал тем видам альтруизма, которые не были связаны с официальной благотворительностью, порождались искренними движениями сердца, благородными свойствами природы. Среди наиболее тепло, привлекательно запечатленных в «Былом и думах» современников Герцена запоминается образ «утрированного филантропа» доктора Гааза: «Память об этом *юродивом и поврежденном* не должна заглухнуть в лебедь официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде гниения тела» (8, 211). Этика Герцена здесь, как, впрочем, и во многих других пунктах, перекрещивается с нравственной позицией Достоевского. Характерно, что писатели обращаются к одним и тем же людям и суждениям: славная фигура Гааза, «несчастенькие» (народное мнение о каторжниках). Конечно, совпадения подсказаны общим национальным опытом, сходными ссыльными впечатлениями. Но важнее другое. Гуманное родство осознавалось и самими современниками: оценка «Мертвого дома» Герценом неизменно высока, а в романе «Идиот» есть проникновенные слова о «фанатике человеколюбия» докторе Гаазе, очень близкие по духу и смыслу к герценовским и прекрасно оттеняющие высокую миссию другого «юродивого», «чудака», «поврежденного» — Льва Мышкина.

Апология доктора Гааза в «Былом и думах» на первый взгляд кажется непоследовательностью со стороны автора «Капризов и раздумья», так резко писавшего о жертве, смирении, страдании. Но konsekventность сама по себе не является в глазах Герцена неоспоримой добродетелью. Он ценил это качество в людях, считал, что оно говорит об их честности, искренности и цельности, но ценил лишь до определенной черты, зная, что безумная konsekventность прямо порождает нетерпимость, косность и даже цинизм выводов (Гоббс). Человек, упрямо следующий раз и навсегда избранным принципам, хотя бы действительность много раз доказывала их относительность или несостоятельность, несвободен, принадлежит не науке, а религии. Догматик и доктринер, он разрушил старые идолы, но сотворил новые. Многосторонность и диалектическое умение видеть не только определенные догмы и теории, как бы авторитетны сами по себе они ни были, не только освещенную часть картины, но и скрывающееся в тени, таящееся подспудно и вдруг поражающее странным несоответствием общему впечатлению, пластичность, всеотзывчивость — вот те начала, которым свободный, реалистически мыслящий человек должен

быть верен. Если нет такого лично осознанного, широкого отношения к миру, истории, человеку, то все будет слишком узко, одномерно и теоретично, абстрактно. Не сама по себе жертва претит «эпикурейской» натуре Герцена, а связанные с нею страдание и смирение, благость которых освящена христианской моралью. И даже не христианская мораль в ее чистом, максималистском виде смущает Герцена, а, так сказать, формально-христианская, огосударствленная мораль, ее лицемерные толкования и применения: искусственное, натянутое или предписанное смирение, игра в благотворительность. Отсутствие всего формального, официального, нетерпимого и привлекает в Гаазе Герцена: здесь жертва добровольна, и, следовательно, не жертва; жизненный подвиг — привычное, обыденное дело; страдание — осмысленное социально-деятельное сострадание. В целом же — гуманность высочайшей пробы, чуждая духа кастовости и позы.

Гааз — «юродивый», помешавшийся на жертвенном служении людям, «несчастненьким», в отличие от другого герценовского чудака, свихнувшегося на разрушительной рефлексии, поставившего под сомнение истинность всех современных понятий. Они полярные типы, которые лишь в одном равны — противостоят со своим безумием косному официальному миру. Оба, хотя и по-разному (один негацией, другой деятельным безудержным альтруизмом), служат истине и человечеству и потому не в ладах со временем и здравомыслящим большинством. Высокий эгоизм вовсе не исключает ни подвига разрушения, ни подвига милосердия. Он не приемлет другое: разрушение ради разрушения и формальный культ жертвы, смирения. Более всего расходясь со славянофилами в вопросе о правах личности, Герцен неоднократно язвил по поводу рассуждений Самарина о «приниженной» личности. И не только со славянофилами расходился он, но и с Бакуниным, Прудоном, Кавелиным, Карлейлем, Бабефом, наконец, с господствующей философией и моралью: «Философы перевели церковные заповеди на светский язык. Вместо милосердия появилась филантропия; вместо любви к ближнему — любовь к человечеству; вместо того чтобы сказать „это предписано“, воскликнули „это принято“. Эта мораль требует от человека той же покорности и тех же жертв, что и религия, не предоставляя ему в то же время награды в виде мечты о рае. (. . .) Мораль, которую нам проповедуют, стремится лишь к тому, чтобы уничтожить личность, сделать из индивида тип, алгебраического человека, лишённого страстей», — писал Герцен в отрывке «Дуализм — это монархия» (12, 230, 233).

Дуализм понятий — основной враг реализма, гуманности, объективного, научного анализа, человеческого прогресса. Острая необходимость преодоления дуализма современной политической, социальной, семейной жизни сделала исповедь и скептицизм девизами эпохи Герцена, его поколения: в научной литературе давно уже отмечены и глубоко проанализированы связи творчества писателя с социальными, этическими, эстетическими воззрениями

Белинского, В. Майкова, петрашевцев.¹¹ Как политически злободневные расценивал Герцен свои «Записки одного молодого человека», более всего имея в виду философию жизни и истории героя повести Трензинского, его разумный скептицизм, разрушающий романтические, идеалистические иллюзии, приучающий к трезвому, многостороннему взгляду на действительность, к строго научному анализу, к микроскопу, скальпелю, вивисекциям. Скептическое мировоззрение Трензинского — нужный негативный момент в становлении реалистического метода; оно полемично и односторонне, но помогает преодолеть другие односторонности. Позицию Герцена поняли и приняли многие, в том числе Огарев и Грановский. Последний совсем в герценовском духе объединял скептицизм и гуманизм как нерасторжимые понятия: «Я не хвастаюсь своим скептицизмом, а говорю о нем как о факте, знаю что это нечто болезненное, может быть, знак бессилия, но благодарен ему за то, что он воспитал во мне истинную гуманную терпимость».¹²

Герцен часто называл себя скептиком и тоже никогда не похвалялся этим, иногда употребляя слово в житейском, а чаще в историческом, общефилософском смысле. Следил, помечая этапы, за ростом своих скептических настроений: в юности бичевал малейшее проявление иронии; затем объективировал и оправдывал это личное качество как необходимый противовес тупому оптимизму, конформизму, идеализму; позднее анатомизировал, выделял внешние причины, приведшие его к таким настроениям: «...не я, а люди развили мой скептицизм, кругом обман, ни на что нельзя опереться (<...>) и если я буду писать, то это единственно с целью заявить людям, что я сколько-нибудь их знаю и не верю ни в их будущее, ни в их настоящее» (24, 160), а в последние годы жизни уже просто рекомендовал себя закоренелым скептиком и в житейских, и в политических вопросах, выдвигая, к примеру, скептические, а в сущности реалистические контртезисы романтико-анархическим идеям Бакунина и Огарева. Можно привести несколько случаев различного употребления Герценом слова «скептицизм». Иногда оно синонимично «реализму» или «пессимизму», иногда его смысл весьма частный и случайный. И смысловых оттенков тут великое множество. Полисемантизм — постоянная, обычная черта языка и стиля Герцена, неожиданного, вызывающе неправильного, острометафоричного, каламбурно-язвительного. Вот почему особенно важно, говоря об основных категориях философии, этики и эстетики Герцена, учитывать индивидуальный оттенок словоупотребления, часто зависящий от того, каков объект полемики. Не менее важно видеть и движение герценовских категорий и понятий во времени, мощное влияние среды и обстоятельств, личных и европейских драм.

¹¹ См., в частности, статьи в кн.: Усакина Т. История. Философия. Литература. Саратов, 1968.

¹² Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 449.

Скептицизм Трензинского — не метод, а точка зрения, как бы одна из сторон мировоззрения Герцена. И он качественно отличен от скептицизма Секста Эмпирика и Юма, хотя и связан с ним родовыми чертами. В «Письмах об изучении природы» Герцен скептицизм с его иронией и негацией считает неизбежной реакцией на догматизм. Оставаясь верным принципу историзма, Герцен одновременно прямо метит в современность. Он обнажает злободневность противопоставления «скептицизм — догматизм», давая последнему классическое определение: «... догматизм необходимо имеет *готовое абсолютное*, вперед идущее и удерживаемое в односторонности какого-нибудь логического определения; он удовлетворяется своим достоянием, он не вовлекает начал своих в движение, напротив, это неподвижный центр, около которого он ходит по цепи» (3, 199).¹³ Если учесть, что мысль Герцена принципиально адогматична, что неподвижность для него синоним смерти и косности, а движение — деятельное и животворное начало, что все его размышления о методе имели очень внятный современникам и вполне конкретный политический смысл, то станет понятным значительность и злободневность сказанного им о скептицизме. Сочувствуя разрушительной работе скептицизма, Герцен не приемлет «бесконечную субъективность без всякой объективности», его отталкивает пустота, в которую скептицизм отвергает разум, отрицание всякой истины и даже возможность познать ее. А слова Секста Эмпирика, предельно, безумно последовательные, просто страшат: «Тогда только тревожность духа успокоится и водворится счастливая жизнь, когда бегущему от зла или стремящемуся к добру укажут, что нет ни добра, ни зла». Герцен их резюмирует следующим образом: «После таких слов мир, который привел к ним, должен пересоздаться» (3, 200).

Образ Юма и оценка его работ («медузин взгляд» юмовского воззрения) проясняют не только отношение Герцена к классическому философскому скептицизму, но и своеобразие его собственного скептицизма. Герцен выделяет дорогие ему (близкие его реальной, действенной натуре) свойства Юма-мыслителя — «мужество отрицания», «геройское самоотвержение» и высокую диалектику. Ему глубоко импонируют нравственный облик и образ жизни, «социабельность», веселая кончина Юма: «Это не только человек мысли, но человек жизни. Таков он и был; он умел с высокой нравственностью и с высоким умом сочетать качества, призывавшие к нему всех людей, близко к нему подходивших. (. . .) Юм остался верен себе до конца; он сделал перед смертью пир и весело расстался с жизнью, сжимая замиравшей рукой своей дружеские руки, улыбаясь прощальному тосту их. Это была цельная натура!» (3, 305).

Юм «Писем» и в философском, и в человеческом смысле — прообраз всех героев-скептиков Герцена от «Записок одного моло-

¹³ А. И. Володин считает антидогматизм главной отличительной чертой Герцена-мыслителя (см.: *Володин А. И.* Герцен. М., 1970).

дого человека» до последних повестей. Философски он особенно близок к «поврежденному» помещику-коммунисту («Поврежденный» (1851); «Концы и начала»), доведшему свое отрицание до последнего предела, до поэзии отчаяния, и чудаку, рефлектеру из «Капризов и раздумья» с его разъедающей способностью аналитического мышления: «Не было того простого вопроса, над которым бы он не ломал головы» (2, 73). Этот «двойник» Герцена-публициста, для обострения мысли введенный в книгу, новых правил «не добился». Его деятельность разрушительна, его точка зрения противостоит всему косному, догматическому, официальному, он проникает до таких первопричин и основ, которые можно назвать домашними, внутренними. Парадоксальные, эксцентричные суждения чудака задевают то, что принято считать само собой разумеющимся и опровержению не подлежащим, что примелькалось и крепко срослось с существом современного человека: «Мы слишком привыкли к тому, что мы делаем и что делают другие вокруг нас, нас это не поражает; привычка — великое дело, это самая толстая цепь на людских ногах; она сильнее убеждений, таланта, характера, страстей, ума. К чему нельзя привыкнуть? Итальянец, живущий на Везувии, привык спать возле кратера так же спокойно, как в свою очередь наш мужичок спокойно отдыхает в обществе нескольких тысяч тараканов» (2, 75). Более всего от чудака достается устойчивым и консервативным кодексам, складывавшимся тысячелетиями, вошедшими в кровь и мозг людей. Мало теоретически усвоить новые принципы, понять истину. Гораздо труднее оставаться последовательно верным ей во всех конкретных событиях личной жизни; сложнее всего именно эта «прикладная» часть задачи: «Не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от всего наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принятия неестественного за естественное, непонятного за понятное» (2, 74). Вот этой-то титанической задаче глубинного переустройства мира и служит обличение «фуэросов» скептиком и рефлексором в «Капризах и раздумье». «Фуэросы» — твердая, строго регламентированная правилами структура. О функциональном значении «фуэросов» в творчестве Герцена хорошо писала Л. Я. Гинзбург: «Для Герцена *фуэросы* — это одновременно и система представлений, и система слов. Ложные, искажающие действительность представления порождают опустошенные, призрачные слова, а призрачные слова, в свою очередь, „подкладывают“ ложные представления». ¹⁴

Точка зрения герценовских скептиков-парадоксалистов, воюющих с «фуэросами», полемична и порой одностороння, но не узка: анализируя мелочи и частности, они неизменно вовлекают в процесс негации всемирную историю и всемирную человеческую мысль. Их позиция универсальна и фундаментально обоснована фактами, добытыми в результате долголетних исследований, изучений, наблюдений. Скептицизм герценовских героев разумный,

¹⁴ Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. С. 173.

современный, продуманный и всесторонний, говоря вообще. В каждом же отдельном случае он имеет существенные индивидуальные оттенки и личную подоснову. Трензинский менее всего живое лицо, он резонер, теоретик, идеолог; что же касается обстоятельств, породивших его философию, то они за пределами рассказа. Он всецело интересен лишь как выразитель определенной точки зрения на мир, адекватной реалистическим взглядам автора «Дилетантизма в науке» и «Писем об изучении природы». Трензинский появляется в конце повести, что безусловно преднамеренно. Его встреча с «молодым человеком» (а она имеет явную автобиографическую опору — беседа с химиком) относится к разряду тех знаменательных, чуть ли не провиденциальных встреч, которые определяют всю последующую жизнь. Повесть получает логическое завершение, прослежены все этапы формирования «молодого человека» и намечен дальнейший путь его духовного развития — к зрелости и реализму. Трензинскому чужда односторонность, хотя в полемических целях он опускает многообразие оттенков, переливов, переходов. При этом, однако, он не забывает и о целой, пестрой картине мира. Он вовсе не эмпирик и, отталкиваясь от конкретных фактов и личного опыта, не склонен верить в их абсолютную справедливость, ибо знает, как неисчерпаем мир: «В том-то и дело, что все живое так хитро спаяно из многого множества элементов, что оно почти всегда стороной или двумя ускользает от самых многообъемлющих теорий» (1, 314).

Ничего нет парадоксального в том, что «практик» Трензинский, поучающий «поэта» и «идеалиста», выше всех философов и систематиков ставит Шекспира. Его покоряет широта понимания и видения Шекспира, полное отсутствие формализма, острое ощущение того, что в XIX в. обычно называли живой жизнью: «Живая индивидуальность — вот порог, за который цепляет ваша философия, и Шекспир, бесспорно, лучше всех философов, от Анаксагора до Гегеля, понимал *своим путем* это необъятное море противоречий, борений, добродетелей, пороков, увлечений, прекрасного и гнусного, — море, заключенное в маленьком пространстве от диафрагмы до черепа и спаянное неразрывно в живой индивидуальности . . .» (1, 314). Слова Трензинского о Шекспире почти совершенно стирают грань между его особенным скептицизмом и реальным мировоззрением Герцена. Да он очень во многом в повести и есть сам Герцен, но переболевший уже романтизмом и идеализмом: в диалоге встретились две эпохи его жизни и — соответственно — два мировоззрения; авторское разъяснительное прямое слово не оставляет никаких сомнений, какое из них представляется Герцену действенным, истинным и современным.

Скептицизм Трензинского не ведет к пустоте, не погружает человека в отчаяние и ни в коей мере не покушается на его разум. Ум Трензинского — резкий и охлажденный, как ум любимого Герценом пушкинского героя. Слишком и специально охлажденный ввиду романтической экзальтации собеседника. Парадоксы и странные мнения Трензинского, смущающие поэтический, мечта-

тельный ум «молодого человека», — трезвые истины, странные лишь для тех, кто не привык к анализу, слепо верит в идолы и кумиры, оторван от живой жизни. Доктор Крупов из повести, вызвавшей восторги современников, который надолго вошел в их сознание (характерны упоминания герценовского героя и его теории в публицистике Достоевского 1860-х гг.), гораздо в меньшей степени alter ego автора, чем Трензинский и чудаки из «Капризов и раздумья». Это вполне и всесторонне объективированный герой со своей в общих чертах изложенной несложной биографией, прямо приведшей его к безумной теории. Если скептицизм Трензинского отчасти соотносится с философией Юма, чью отчаянно скептическую теорию познания хорошо корректирует гуманное и высоко нравственное начало, то теория Крупова скорее соотносится с философией истории Гоббса. Разумеется, в целом взгляды гуманного, болезненно воспринимающего всеобщее безумие, хаос человеческих отношений Крупова имеют мало общего с холодной, жестокой и реакционной в своих политических выводах философией Гоббса. Рассуждения Крупова эмоционально окрашены — они печальны и безнадежны: «черная сторона жизни» в повести, как и у Гоббса, не преобладает даже, а только одна и присутствует. Теория Крупова универсальна и изложена с совершенно гоббсовской мужественной последовательностью: «История доселе остается непонятною от ошибочной точки зрения. Историки, будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив, надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности. < . . . > Впрочем, в наш образованный век стыдно доказывать простую мысль, что история — автобиография сумасшедшего» (4, 264). Это свифтовский способ видения мира.¹⁵ В «Объяснительном прибавлении» к повести, написанном от лица героя, Герцен вскрывает полемическую окраску теории Крупова, прямо указывая на объекты полемики: романтизм, аристократизм, национализм. Очень прозрачно там же прозвучали и вызывающие слова, что герой средств лечения не представил более всего потому, что «далеко не все сказал». Ограничившись констатацией полемически-памфлетной сути повести и ясным намеком на радикальное средство лечения мира, Герцен затем возвращает рассказ в безумное русло, завершая его горькой и невеселой шуткой.

«Патологический» подход к явлениям действительности — метод и доктор Крупова в романе «Кто виноват?». Однако в романе он лишен мрачной, безумной консеквенции и предстает

¹⁵ Еще Алексей Н. Веселовский правомерно проводил параллель между герценовской повестью и 9-м отделом («A digression concerning of Madness in a Commonwealth») «Сказки о Бочке» (Веселовский А. Герцен-писатель: Очерк. М., 1909. С. 71).

в более умеренном, смягченном варианте. Крупов здесь стоит ближе не к Свифту и Гоббсу, а, пожалуй, к лермонтовскому Вернеру.¹⁶

Крупову в романе отведена роль одновременно резонера и Касандры. Медицинский материализм Крупова — воззрение трезвое и физиологическое: «...обливайтесь холодной водой да делайте больше движений — половина надзвездных мечтаний пройдет» (4, 131). Парадоксы Крупова, его резкие суждения раздражают не только Круциферского, что естественно, но и Бельтова, вовсе не настроенного романтически, тоже большого скептика и рефлектера. Бельтов обвиняет Крупова в докторальности, сухом морализировании, в том, что тот судит о мире и людях сверху. Его собственные мысли и обобщения имеют исповедальный характер, он изнутри, анатомируя свою собственную жизнь, пришел к концепции вечного скитальчества, предвосхитив судьбу Рудина. Вот отчего его так задевает остраненный и намеренно неличный ход рассуждений Крупова. В порыве раздражения он пытается добиться от Крупова исповеди: «Вам все это легко и спрашивать и осуждать. Видно, в вас сердце-то смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь в воспоминании» (4, 201). Крупов отклоняет этот своеобразный вызов на исповедь. О его прошлой жизни почти ничего в романе не сказано. Бельтов, дотронувшийся, не желая того, до самой больной струны Крупова, не прав, потому что сухой материалист Крупов в сущности несчастный и страдающий человек. Крупов в духе публицистики Герцена реабилитирует эгоизм. Но он не эгоцентрик. Бойся эгоцентризма. Об этом говорит и его реплика о детях («Дети большое счастье в жизни! <...> Право, не так грубеешь, не так впадаешь в ячность, глядя на эту молодую травку»), и неожиданная нежность, заменившая «натянутую жестокость» в последней беседе с Бельтовым.

Тем более несправедлив Круциферский, когда приписывает Крупову «какой-то сухой материальный взгляд на жизнь». Его врачебные советы иногда действительно утилитарны и узко профессиональны, напоминают способы лечения человечества в повести «Доктор Крупов». Однако мировоззрение Крупова в целом реально, широко, емко и не лишено своеобразной поэзии, проглядывающей в минуты раздражения и волнения: «Ох эти мне идеалисты. <...> Да кто же это им сказал, что вся медицина только и состоит из анатомии; сами придумали и тешатся; какая-то грубая материя... Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой, а знаю живую» (4, 132).

Крупов (наряду с автором повествователем и Бельтовым) продолжает линию прямой пропаганды реальных взглядов Герцена — публициста и философа, чем объясняются и оправдываются его функции резонера и учителя. Так, суждение Крупова о типич-

¹⁶ Расстановка идеологических типов, мужской «треугольник» (Печорин—Грушницкий—Вернер) в романе Лермонтова несомненно предшествуют герценовской триаде: Бельтов—Круциферский—Крупов.

ной болезни века — почти прямая цитата из дневника Герцена: «Неуменьше жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время» (4, 130). Мысль героя настолько дорога автору, что он специально подтверждает ее истинность: Любонька Круциферская с ее инстинктивно-женским, реалистическим чутьем соглашается с доктором. Тип доктора-скептика, благородного «патолога» и «анатома», мудрого гуманиста с неудавшейся личной судьбой и богатейшим опытом в области человеческих отношений, давшим оригинальную методику для толкования общественно-политических явлений, стал центральным в беллетристике Герцена. К нему обращается писатель в конце 1860-х гг., снова прибегая к отработанной, привычной остраниженной точке зрения. На этот раз для «патологического» анализа европейской жизни. Функции героя в повестях «Скуки ради» (1868—1869), «Доктор. Умиравшие и мертвые» (1869) значительно расширяются, ему передается роль главного рассказчика, имеющего в запасе множество самых разнообразных сюжетов; последние произведения Герцена воспринимаются как фрагменты большой книги, из которой он успел опубликовать лишь несколько глав. В отличие от своего «русского» коллеги из романа «Кто виноват?» доктор наделен биографией, позволяющей заглянуть в некоторые уголки его личной жизни. Его скальпель, беспощадный к другим, не минует и самого «анатома», который представляет на суд собеседника своего рода физиологическую исповедь бывшего романтика, иронией маскирующего личную драму. Исповедь — необходимый конструктивный элемент в последних повестях Герцена: она дополняет новыми и существенными чертами тип доктора-скептика в произведениях 1840-х гг., придает ему многосторонность.

Доктор в повести «Скуки ради» каламбурит в манере Крупова, объясняя причину своего «здоровья, свежести, сил, смеха», вторит его зловещему карканью и, развивая его семейно-демографические взгляды, доводит их до «экстремы»: «Я всегда считал людей, которые женятся без крайней надобности, героями или сумасшедшими. Нашли геройство — лечить чумных да под пулями перевязывать раны <...> ведь это подумать страшно, на веки вечные, хуже конскрипции — та все же имеет срок. <...> Охотников продолжать род человеческий всегда найдется много и без меня. Да и кто же мне поручил продолжать его, и нужно ли вообще, чтоб он продолжался и плодился, как пески морские, — все это дело темное, а беда семейного счастья очевидна» (20, 459). Вообще воззрения доктора в последней повести Герцена предельно пессимистичны и заставляют вспомнить самую черную теорию Крупова о повальном безумии. Причем автор и доктор в ней одинаково резко, памфлетно оценивают действительность, человека, историю. Они не антиподы, а авгуры — зрители, с полукивка и полуслова понимающие друг друга. Более того, парадоксы и странные мнения автора крайностью выводов и нескрываемым злым тоном превосходят иронические суждения героя, сохраняю-

щего добродушие и в некотором роде стоический оптимизм с пищеварительным оттенком. Автору добродушие несвойственно: тон раздраженный и больной, каскады сарказмов, злых шуток, обобщения, безысходно неумолимые, резко шаржированные, карикатурные портреты людей.

Медицинский материализм доктора еще универсальнее и глубже, чем у доктора Крупова. Он и на свою профессию смотрит чрезвычайно широко, трактуя ремесло врача в самом высшем смысле: «Настоящий врач, милостивый государь, должен быть и повар, и духовник, и судья. . .» (20, 461). Профессиональную точку зрения он применяет ко всем явлениям жизни: «Медицинская практика — великое дело. < . . > Если б перед революциями, вместо того чтоб собирать адвокатов и журналистов, делать консилиумы, не было бы столько промахов? Люди, видящие сотню человек в день — не одетых, а раздетых, — люди, изучающие сотню разных рук, ручек, ручонков и ручищ, — поверьте мне, знают лучше всех, как бьется общественный пульс. Публично, на банкетах и собраниях, в камерах и академиях, все — театральные греки и римляне, — что тут узнаешь? Посмотрите-ка на них с точки зрения врача . . . < . . > Доктору все раскрыто: чего больной недоскажет, то здоровые добавят; чего и здоровые умолчат — стены, мебель, лица дополнят» (20, 525).

Слова доктора — настоящее *profession de foi*, а не особенная точка зрения, заостренная на негативных сторонах. Это итог, резюме, последний диагноз, подведение черты. Этим возможности типа исчерпаны до конца. Характерно, что страстное изложение доктором основ своего мировоззрения, защита метода в последней повести Герцена не оттенены ничьей иронией или сомнением: «Доктор, дайте вашу руку — я пульс щупать не буду» (20, 526). Прерывает же Герцен скептически-реалистический речевой поток доктора потому, что новые обстоятельства стали вносить серьезные поправки в теоретические построения героя: «Я прерываю философствование моего доктора . . . или, лучше, не продолжаю его, потому что и тут — как почти во всем — обстоятельства нагнали нас и опередили. < . . > Явились новые силы и люди» (20, 555). Типичная для Герцена концовка без конца, согласная с его адогматичным мировоззрением и эстетическими принципами. Герцен не ставит окончательной точки, оставляя за собой право вернуться (и уже в который раз) к вечно обсуждаемому им на русском, западном и всемирно-историческом материале кругу проклятых вопросов. Для всего свой срок: есть время действовать и время «патологического» разбора, подведения итогов, обсуждения происшедшего. Изменившаяся политическая ситуация во Франции и Европе невольно требовала осмысления, очередной проверки основ мировоззрения и справедливости образа Запада, обусловленного горькими уроками 1848 г.

Повесть «Поврежденный» — новое и симптоматичное явление в беллетристике Герцена, позволяющее яснее увидеть, какими богатыми возможностями, далеко не исчерпанными в 1840-е гг., он обладал как художник.¹⁷ Во-первых, в повести резко, мощно возросло авторское присутствие. Автор, в сущности, главный герой, определяющий смысл и тональность произведения. На стремлении автора найти личные первопричины философии «светло-зеленого помещика-коммуниста» Евгения Николаевича построена повесть. Его оценка взглядов «поврежденного» — самая глубокая, точная и гуманная. Во-вторых, освещение философии и жизни героя разнообразно и сложно; постепенно из скрещения разных точек зрения вырисовывается «диагональ», близкая к истине, но, разумеется, не вся истина.

Тон повести задан духовной и личной драмой автора, под-сказан необыкновенно грустным, промежуточным положением скитальца, чужого, оторванного от родной почвы и не верующего более в жизнеспособность Запада. Глухо упомянуты и еще более страшные «бури» и «утраты», сделавшие «слова и суждения» «поврежденного» близкими и понятными «спустя некоторое время». Совмещение, накладывание временных перспектив дает как бы сам образ движения времени и, не посвящая читателя в подробности биографии автора (она контурно констатируется на этапы), вскрывает всю важность и серьезность для него встречи с «поврежденным»: «Человек этот попался мне на дороге, точно как эти мистические лица чернокнижников, пилигримов, пустынников являются в средневековых рассказах для того, чтобы приготовить героя к печальным событиям, к страшным ударам, вперед при-миряя с судьбой, вооружая терпением, укрепляя думами» (7, 363). Встреча — из того же рода знаменательных, о которых писал Герцен в ранних повестях. Но какая колоссальная разница. И речи нет о каком-то важном переломном мгновении, вводящем молодого человека в эпоху зрелости. Эта встреча просто зовет к примирению и терпению, освобождая от мизантропии и моно-мании. Она действует как природа Италии, которая не лечит раны сердца, а только снимает чрезмерное, невыносимое эмоциональное напряжение, проясняя и укрепляя мысль безличными ассоциациями, возвращая ее на привычную почву разумного скептицизма: «Безличная мысль и безличная природа одолевают мало-помалу человеком и влекут его безостановочно на свои вечные, неотврати-мые кладбища логики и стихийного бытия. . .» (7, 365). Этими словами заканчивается лирическое авторское вступление, которое

¹⁷ Повесть входила в число любимых произведений Толстого, который плакал, читая ее. Он собирался написать небольшое предисловие к отдельному изданию повести. «Толстой в зародыше в новелле Герцена „Поврежденный“», — записал в своем дневнике (август 1887 г.) Р. Роллан. Это, конечно, преувеличение. Но парадоксы героя повести, его горестное и страстное отрицание западной цивилизации, его диагноз болезни мира были, вне сомнения, весьма созвучны Толстому.

объясняет глубокие личные (а не одни лишь эстетические) причины, рождающие в авторе симпатию к парадоксам «поврежденного». А они составляют цельное и безнадежно-пессимистическое воззрение на человеческую природу, историю, просвещение, прогресс, цивилизацию, болезненную крайность которого так комментирует жизнерадостно-медицинский спутник «коммуниста»: «... говорит — такие вещи, ну, просто волос дыбом становится, все отвергает, все — оно уж эдак через край; я сам, знаете, не очень бабьим сказкам верю, однако ж все же есть что-то» (7, 367).

Что именно «есть», в повести не выясняется; зато чего «нет» — обсуждается подробно и запальчиво в беседах между лекарем, автором и Евгением Николаевичем. Лекарь — сниженный вариант доктора-скептика; «патолог» в узком, утилитарно-профессиональном смысле, все несчастья и беды сводящий к акушерско-физиологической стороне дела. Его реальная натура в действительности очень ограниченная, взгляд на мир оскорбительно прост, а скальпель не идет дальше поверхности (эпидермы) и даже, как бы играя, скользит по жизни. Лекарь в «Поврежденном» — тот же доктор Крупов, но не беспокоящийся ни о чем высшем, тем более о судьбах мироздания; «никогда не ломая себе головы ни над одним вопросом, который не был разрешен другими», он отлично знал «все разрешенные вопросы» (7, 367). Словом, как точно и зло характеризует его автор, он «принадлежал к числу тех светлых, практических умов, — умов подкожных, так сказать, которые дальше рассудочных категорий и общепринятых мнений не только не идут, но и не могут идти» (7, 373).

Не лекарь, а «светло-зеленый помещик» — подлинный собрат философствующих докторов Герцена, более, однако, беспощадный, даже безумный в своих выводах-приговорах: «земной шар или неудавшаяся планета, или большая», «История сгубит человека, вы что хотите говорите, а увидите — сгубит» (7, 370, 371). Он во всем видит «болезнь исторического развития», идущую из Европы, вполне серьезно призывая отказаться от цивилизации, «приблизиться к животным» и природе: «К природе . . . к природе на покой, — полно строить и перестраивать вавилонскую башню общественного устройства; оставить ее, да и конечно, полно домогаться невозможных вещей. < . . . > Пора домой на мягкое ложе, приготовленное природой, на свежий воздух, на дикую волю самоуправства, на могучую свободу безначалия» (7, 376—377).

Суждения «поврежденного», конечно, болезненные крайности, но им автор гораздо больше симпатизирует, чем стандартно-разумным возражениям лекаря. Особенно ему импонируют независимая отвага ума, отсутствие идолопоклонства, разительная последовательность мысли, видимо уже давно отстоявшейся, легкость, эстетическая непринужденность импровизации и, наконец, — в идеологическом аспекте — уничтожающая критика западной цивилизации. Автора влечет к нему какое-то странное личное чувство. Он пристально изучает лицо и жесты «поврежден-

ного», жадно впитывает его парадоксальные мнения, не забывая, впрочем, об их односторонности и надрывности.

Вообще Евгению Николаевичу больше место в художественном мире Достоевского, где так обычны герои-мономаны, сосредоточившиеся на безумной идее, непременно всечеловеческого масштаба, и где норма болезненно-парадоксальные диссонансы и психологическая взвинченность. Вовсе не исключено, что такой постоянный и внимательный читатель Герцена, как Достоевский, обратил особое внимание на фигуру «поврежденного» и воспользовался идеологическим и психологическим материалом повести, создавая образ Кириллова. Большое, надрывное в «поврежденном» герое Герцена — черта новая, отделяющая его воззрения от реального, разумного скептицизма Трензинского, доктора Крупова («Кто виноват?») и самого автора «Писем об изучении природы». «Поврежденный» гораздо ближе строем идей и тональностью книге «С того берега».

Многие мысли и парадоксы Евгения Николаевича по сути заостренная точка зрения Герцена-публициста кризисного периода. Но в целом философия героя — производное его личной жизни, следствие огромного потрясения, сокрушившего жизненную силу, превратившего бывшего романтика в озлобленно-скептика.

«Поврежденный» герой оказался по-своему дорог Герцену, и он вновь вывел его в книге «Концы и начала», тем самым лишний раз подчеркнув относительность границы, разделяющей беллетристику и публицистику. Вновь понадобился Герцену голос «поврежденного» для того, чтобы внести еще один резкий диссонанс в споры о «концах» и «началах», дополнить диспут нотой крайнего пессимизма, неверия в малейшую возможность для Запада возродиться, причем чересчур мрачная точка зрения героя отделяется от не столь решительного и «смелого» взгляда автора. Мнения «поврежденного» безотрадно, отталкивают автора отчаянной мизантропической философией истории. Он ему теоретически, правда, не возражает, признавая возможность таких рассуждений, как рассказ «поврежденного» о «труженическом существовании крота» с естественной «антиморалью» в конце: «Какова заплатная цена за пожизненную земляную работу? Каково соотношение между усилиями и достигаемым? Ха-ха-ха! Самое смешное-то в том, что, выстроивши свои отличные коридоры, переходы, стоявшие ему труда целой жизни, он не может их видеть, бедный крот!» (16, 191, 192). Ответ Герцена герою лежит не в теоретической, а в практической сфере — у него «лапы чешутся» делать «кротовую работу». В «Концах и началах» «поврежденный» уже почти лишен индивидуально-личных черт: важна его теория в применении к новой фазе развития Европы; она оттеняет позицию автора в споре с оппонентом-западником, поэтизирующим европейские «концы», — не только идеи, науку, но и формы. Дальнейшего развития тип «поврежденного» в творчестве Герцена не

получил, ему не суждено было занять место реалиста-доктора с присущим тому более строгим, трезвым и гуманным мирозерцанием.

Евгений Николаевич, симпатизируя автору как коллеге по скептическому взгляду на Европу, мягко упрекает его в непоследовательности: «...он (...) сбивается еще, а впрочем, на хорошей дороге» (16, 188). Вот эту-то «хорошую дорогу» в пустоту отчаяния и беспредельного пессимизма Герцен отвергает. И не потому, что мнения героя ему кажутся ложными, а потому, что они оскорбляют деятельное («кротовое») начало его реальной натуры. Он отвергает этот путь как свободно, независимо мыслящий человек, не желая соглашаться с бесперспективной, ведущей в тупик философией. Но в то же время отдельными чертами ему такая философия близка, в такой же степени как и «гложащий себя колоссальный эгоизм Байрона» (16, 144).

Герцену были понятны байронические мотивы, сила мощного протеста личности, но очевидна была и негативная сторона бунтарства: «У байроновских героев недостает объективного идеала, веры; мечта поэта, отвернувшись от бесплодной, отталкивающей среды, была сведена на лиризм психических явлений, на *внутрь вошедшие* порывы деятельности, на больные нервы, на те духовные пропасти, где сумасшествие и ум, порок и добродетель теряют свои пределы и становятся привидениями, угрызениями совести и вместе с тем болезненным упоением» (16, 144). Без объективного идеала и веры свободный человек слишком уж от всего свободен и недалек от признания добра и зла выдуманными понятиями. «Помещик-коммунист» Евгений Николаевич очень близко подошел к этому пределу, к скептическому итогу Секста Эмпирика, а следовательно, по Герцену, и к смертной черте: «...сухая, матовая бледность придавала его лицу что-то неживое; темные обводы около глаз, больше прежнего впавших, делали зловещим прежнее грустное выражение их» (16, 188). Вот от тлетворного дыхания смерти и уходит Герцен в «кротовую работу», и именно в тот год, когда так сильно поубавилась его вера в «русские начала», о чем он и сказал в предисловии к книге.

Нигилизму «поврежденного» Герцен противопоставляет реальный, разумный нигилизм, последовательный и адогматичный: «...это логика без стриктуры, это наука без догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не превращает *что-нибудь* в ничего, а раскрывает, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*, — оптический обман и что всякая истина, как бы она ни перечила фантастическим представлениям, — здоровее их и во всяком случае обязательна» (20, 349).

Вершина творчества Герцена — «Былое и думы», книга, создававшаяся на протяжении 15 лет и оразившая почти все этапы развития Герцена — художника, мыслителя, человека. Почти все крупные произведения Герцена на рубеже 1840—1850-х гг. в той или иной мере тяготеют к «Былому и думам» и частично даже входят в мемуар — тоном, жанром, идеями, автобиографическими деталями. В «Поврежденном» уже очевидна первая попытка коснуться больной личной темы — «семейной драмы», послужившей толчком для начала работы над «Былым и думами». Возможно, «френическое желание написать мемуар» помешало Герцену завершить повесть «Долг прежде всего» (1847). Он успел написать только «пролог новой повести» из пяти глав, которые читал в Париже Бакунину и Белинскому. На критика произвело сильное впечатление произведение Герцена. Повесть анонсировалась «Современником» на будущий 1848 г., но, по образному определению писателя, «сильнейший припадок ценсурной болезни» решил ее участь. «Эта осадная цензура, руководствуясь военным регламентом Петра I и греческим Номоканонем, — иронизировал Герцен, — запретила печатать что бы то ни было писанного мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или задушевная переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов» (6, 297).

Но даже и в более терпимые и либеральные времена повесть «Долг прежде всего» могла появиться в русском журнале только с очень значительными купюрами. Друзья Герцена в петербургских литературных кругах пришли в ужас, прочитав яркое и совершенно нецензурное описание французской революции 1789 г. в четвертой главе повести («Троюродные братья»). Никогда ранее в творчестве Герцена социальные мотивы не звучали так сильно и так художественно. В незавершенной повести Герцен энергичными и скупыми мазками создал первую в русской литературе, самую сжатую и одну из наиболее выразительных хроник дворянского рода, предвосхитив появление в будущем «Дворянского гнезда» Тургенева, «Обломова» Гончарова, «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина, а также, конечно, произведений Л. Н. Толстого, особенно страниц «Войны и мира», посвященных быту помещного дворянства XVIII в. «Ничего подобного нет в русской литературе», — говорил Толстой о герценовской хронике дворянского рода Столыгиных.¹⁸ Кстати, встреча Марьи Валерьяновны с Анатолом в первой главе повести «За воротами» (Толстой о ней — «превосходная, удивительная»)¹⁹ предваряет хрестоматийно знаменитое свидание Анны Карениной с сыном.

¹⁸ Лит. наследство. М., 1979. Т. 90, кн. 1. С. 354.

¹⁹ Там же. С. 355.

В повести «Долг прежде всего» Герцен достигает расцвета своего дарования. Энергичная, сжатая, освещенная умной, диалектичной и гуманной мыслью, как и его бесподобной легкой и грустной иронией, живопись Герцена в незавершенной повести 1847 г. — это уже во всех основных чертах стиль «Былого и дум». Галерею дворян, слуг, гувернеров в великом мемуаре Герцена предваряют портреты дядюшки Льва Степановича (с его «гастрическими припадками» и «аристократическими рассказами и воспоминаниями»); «буколико-эротического» помещика Степана Степановича (Степушки); всеильной супруги «хамской крови» Акулины Андреевны; Михайлы Степановича, скупца и самодура с «энциклопедическим» образованием, полученным от рекомендованного Вольтером «шевалье де Дрейяка»; Тита Трофимова, «барского фавера» и лазутчика; униженной и одновременно героической матери Анатоля Марьи Валерьяновны; моряка — управляющего именем. Небольшой «пролог» к будущему произведению об Анатоле Столыгине буквально перенасыщен людьми, наблюдениями, деталями, выписанными зрелой рукой большого мастера, призванного стать художником-летописцем своего и «минувшего» веков.

В «Письме автора к г. Вольфзону (вместо продолжения повести «Долг прежде всего»)» (1851) Герцен схематично изложил вариант дальнейшего развития сюжета повести. Но этот эпилог к повести, как верно пишет Е. Н. Дрыжакова, «не столько план продолжения „Долга прежде всего“, сколько новое художественное произведение. . .».²⁰ В упомянутом письме явственно ощутимы стилистические принципы «Былого и дум» и особый, характерный для герценовского мемуара метод трансформации автобиографического материала. Повесть «Долг прежде всего» была не закончена Герценом, во-первых, потому, что «Былое и думы» частично впитали предназначавшийся для продолжения повести автобиографический материал, а во-вторых, потому, что история Анатоля, его мытарств, духовных скитаний в эпилоге незавершенной повести — это в сущности конспект романа со множеством лиц, своими сюжетом, интригой, развязкой.

Но сознание романа совершенно не входило в планы Герцена. Несомненно он хорошо запомнил тактично высказанное еще в 1848 г. Белинским мнение, что в романе «Кто виноват?», при всех его больших достоинствах, Герцен все-таки «вышел из сферы своего таланта»: критик лучшим художественным произведением Искандера считал повесть «Доктор Крупов» (1847). Герцен вообще относился с некоторым недоверием и скепсисом к современному ему роману XIX в.²¹ Книги, вызвавшие особенное внимание Герцена, — мемуары, исповеди, лирическая поэзия (Г. Гейне, Д. Леопарди, Д.-Г. Байрон), «Горе от ума» и,

²⁰ Дрыжакова Е. Н. Герцен на пути к «Былому и думам» // Учен. зап. Лeningр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1958. Т. 32, ч. 2. С. 130.

²¹ Но именно в целом: романы О. Бальзака, Жорж Санд, В. Гюго и — особенно — Ч. Диккенса Герцен ценил весьма высоко.

кроме того, произведения, которые трудно подвести под обычные или четкие жанровые определения, — «Божественная комедия», «Фауст», «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Записки из Мертвого дома».

Не произвел сильного впечатления на Герцена и русский роман эпохи расцвета (1860-е гг.). Он иронизировал над пристрастием Огарева к чтению романов Достоевского. И советовал вместо этого, по его мнению, бесполезного занятия, перечитать «Что делать?» Чернышевского. К «Детству» Толстого Герцен отнесся куда благосклоннее, чем к «Войне и миру». О романах Гончарова (и самом писателе) отзывался откровенно враждебно. Не понравились сначала Герцену «Отцы и дети». Ему показалось, что Тургенев тенденциозно шаржировал тип нового человека и обедненно изобразил его антипода — «лишнего человека». Причины пересмотра Герценом оценки романа Тургенева позднее — не эстетические, а идейные, психологические и личные. Гораздо большее сочувствие Герцена вызывали тургеневские «Записки охотника», а также «Антон Горемыка» и другие произведения Григоровича о народной жизни.

«Евгений Онегин» и «Мертвые души» больше отвечали эстетическим критериям Герцена. Многочисленные свободные отступления, разнообразная «болтовня» по разным поводам, отсутствие строгого сюжета с неперменной развязкой, даже сама незавершенность, прерванность произведений Пушкина и Гоголя — качества, необыкновенно привлекательные в глазах Герцена. И в поэзии Байрона Герцену импонируют не только бесстрашие мысли, титанический дух отрицания, но и непочтительное отношение к жанровым канонам, шаблонам: «Ни Каин, ни Манфред, ни Дон-Жуан, ни Байрон не имеют никакого вывода, никакой развязки, никакого „нравоучения“. Может, с точки зрения драматического искусства это и не идет, но в этом-то и печать искренности и глубины разрыва» (10, 122).

Необыкновенно характерны резкие противопоставления Герценом в «Письмах к будущему другу» (1864—1866) романа и мемуаров: «Каждая эксцентрическая жизнь, к которой мы близко подходили, может дать больше отгадок и больше вопросов, чем любой герой романа, если он несуществующее лицо под чужим именем. Герои романов похожи на анатомические препараты из воска. Восковой слепок может быть выразительнее, нормальнее, *типичнее*; в нем может быть изваяно все, что знал анатом, но нет *того, чего он не знал*, нет дремлющих в естественном равнодушии, но готовых проснуться ответов, — ответов на такие вопросы, которые равно не приходили в голову ни прозектору, ни ваятелю. У слепка, как у статуи, все снаружи, ничего за душой, а в препарате засохла, остановилась, оцепенела сама жизнь, со всеми случайностями и тайнами» (18, 87).

Приведенные эстетические суждения прямо отражают литературные симпатии и антипатии Герцена: даже очень совершенному в эстетическом смысле роману он предпочитает безыскусствен-

ность мемуаров. Искусство романа в определенном смысле — «мертвое» искусство, к тому же все подлинное и документальное в романе искажено художественной фантазией писателя, втиснуто в жесткую структуру. «Записки» Ф. Ф. Вигеля — «посредственные», но они важны Герцену при всей тенденциозности и узости кругозора автора как личное свидетельство представителя определенного слоя людей, касты. Существенна тут непосредственность суждения: типизированный романистом некий обобщенный Вигель не нужен Герцену, мешает прямому контакту с реальным Вигелем. «Записки» Вигеля запечатлели «гуртовые факты». Записки других — эксцентрические. Но в том и другом случае это живые факты эпохи, личные мнения и исповеди. Из суммы таких исторических свидетельств воссоздается прошлое в многоликом, сыром виде, где искажения, узкий взгляд и ложь также имеют ценность: тенденциозность с головой выдает мемуариста (и тут чем простодушнее и ограниченнее он, тем даже лучше), вскрывает психологию и предрассудки его самого и прослойки, к которой он принадлежит. Роман же, по убеждению Герцена, обладает закрытой и строго художественной структурой. Авторская воля художника Герцена смущает, а сюжетная сторона мало интересует. Другое дело лирические исповеди поэтов. Байрон, Гейне, Леопарди, в его глазах, дают не менее точное, даже документальное, представление о духовном кризисе Запада, чем памфлеты и книги отчаявшихся, разочаровавшихся ученых Данилов. «Есть пьесы Леопарди, — пишет Герцен, предваряя полемику о творчестве поэта с утилитарным взглядом Мадзини («он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду»), — которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлексией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь» (10, 79).

Метод и жанр «Былого и дум» зарождались еще на рубеже 1830—1840-х гг. в «Записках одного молодого человека». А пришел Герцен к мемуару через лирико-исповедальные, со значительными автобиографическими вкраплениями книги «*Du développement des idées révolutionnaires en Russie (О развитии революционных идей в России)*» (1850—1851) и «С того берега». Но особенно следует выделить «Письма из Франции и Италии», непосредственно предваряющие «Былое и думы» жанром и «недогматическим изложением».

Герцен, приступая к «Письмам из Франции и Италии», не знал и не предполагал, что у него получится. Беспристрастный тон, взятый им с самого начала, впоследствии изменился, контрастность французских и итальянских впечатлений способствовала оформлению идейно-эмоционального ядра книги и композиционному скреплению разнородных заметок. Но произошло это не сразу, о чем свидетельствует лучше всего пестрое содержание книги и невыдержанность тона. Показательно, что, определяя жанр и формы повествования, Герцен подчеркивает, что его книга не является тем-то и тем-то (не отчет о путешествии, не результат

специального изучения Европы, не последнее слово о ней); предупреждает в первом же письме не искать в ней всем известного и тысячи раз описанного. Иронически перечисляются давнопрошедшие письма знаменитых путешественников (Фонвизин, Карамзин), недавние «деловые письма его превосходительства Н. И. Греча», «приходно-расходный дневник М. П. Погодина» и «гуртовые» письма («русского офицера, сухопутного офицера, морского офицера, обер-офицера и унтер-офицера»).

Полемический смысл краткого обзора мнений русских о Европе в принципиальном неприятии Герценом традиционных жанровых форм. Он оставляет за собой право писать так, как это покажут воочию увиденные им события и люди, и о том, что лично захватит его внимание, независимо от того, какой покажется его позиция — прозападнической или славянофильской. В результате родился новый оригинальный жанр «писем русского путешественника», деформировавший прежние каноны до неузнаваемости, а вместе с ним и новый взгляд на Европу, покоробивший своей резкостью западников, но не удовлетворивший и славянофилов. Все значительные произведения в жанре путевых заметок (не только по Европе), появившиеся после «Писем из Франции и Италии», испытали воздействие герценовского цикла. Нетрадиционные «Письма...» в некотором роде стали традицией: это до известной степени относятся и к таким шедеврам, как «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского, «За рубежом» Салтыкова-Щедрина, «Большая совесть» и «Выпрямила» Г. И. Успенского. А герценовская точка зрения на нравственное, идейное, политическое положение Запада, герценовские прогнозы и наблюдения вошли как классические в русскую литературу, философию, публицистику, причем диапазон толкований тезисов и парадоксов Герцена был необыкновенно широк.

В «Письмах из Франции и Италии» Герценом был впервые применен тот поэтический принцип, о котором он позднее рассказал в «Былом и думах»: «Я (<...> просто хочу передать из моего небольшого фотографического снаряда несколько картинок, взятых с того скромного угла, из которого я смотрел. В них, как всегда бывает в фотографиях, захватилось и осталось много случайного, неловкие складки, неловкие позы, слишком выступившие мелочи рядом с нерукотворными чертами событий и неподслащенными чертами лица...» (11, 256). Даже «слишком выступившие» мелочи Герцен не убирает, оставляет их в беспорядочном, хаотичном виде, в каком они тогда представлялись, понимая, что без них невольно исказится и общая картина, подправленная поздними аналогиями и думами. В «Письмах...» же он просто не успевает убрать эти мелочи, отделить главное от случайного. Мысль Герцена, анализирующая, парадоксальная, рождается где-то на скрещении прежних дум (книжных) с реальными, сиюминутными впечатлениями. В книге «С того берега» будет уже явный перевес «логической» исповеди, публицистической мысли

над беллетристическими «картинками», там представлено добытое несколькими годами мучительной переоценки знание. В «Письмах. . .» — движущийся, многоликий, противоречивый, хотя и целенаправленный, процесс добывания знания.

В «Былом и думах» Герцен, хронологически подойдя к событиям 1848 г., отделит «артистическим расстоянием», «искусственной перспективой» поздние воспоминания от летучих заметок в «Письмах из Франции и Италии»: «Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих „Записок“, — что же, вообще, письма, как не *записки* о коротком времени?» (10, 17). Это, конечно, так, но важно и другое: «Письма. . .» в жанровом отношении — прямые предшественники «Былого и дум», первый серьезный опыт художественной публицистики с сильным исповедальным, мемуарным началом.

Многочисленные авторские определения жанра «Былого и дум» как-то особенно полемичны и сознательно туманны. Герцен оправдывает внутренней личной необходимостью вольное сопряжение в одной книге разнородного материала, живописно, случайно и прихотливо расположенного и обретающего единство лишь «в совокупности». Но никакая совокупность не спасла бы книгу от распада на отдельные куски и фрагменты, если бы не было центра, к которому все они (или почти все) тяготеют в той или иной степени. Центр — исповедь, вокруг которой и сосредоточивается все. А поскольку исповедь не мыслилась Герценом как нечто только сугубо личное, а была слита с историей формирования и возмужания его поколения, то, естественно, воспоминания и думы, отобранные, восстановленные и остановленные волей или «капризом» автора, составили многоярусное с многочисленными внутренними переходами и внешними пристройками здание, каждым флигелем, каждой деталью которого, пусть и резко диссонирующими с общим профилем, дорожит архитектор: «„Былое и думы“ не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений, — мне бы не хотелось стереть его» (8, 9).

Конечно, воспоминания прошлого сильно деформированы в книге. Сравнительный анализ дневника Герцена 1840-х гг. и хронологически соответствующих мест в «Былом и думах» демонстрирует направление произведенных изменений.²² Естественно, что прошлое осмыслено с позиций позднего знания, прокомментировано и освещено думами. Но ведь и сами думы менялись. Движение дум (а оно растянулось на десятилетия), их причудливо-ассоциативный, противоречивый образ существования в книге делают ее, более чем что-либо другое, свободной и «некнижной».

Жанр книги меняется, а не только уясняется. Ведь авторские вступления и отступления также имеют свою творческую историю

²² См.: Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971. С. 274—275.

и тоже участвуют в общем движении, у которого, чем дальше, тем неопределеннее цель и, следовательно, нет конца. Герцен во вступлении к последним частям «Былого и дум» обосновывает совершенно неизбежно возникшие структурные перемены, отказывается от ранних определений жанра книги («записки», «исповедь»), настаивает на принципиальной «отрывочности» повествования, не желает даже как-то спаять и сцепить отдельные главы. Это уже полный отказ от всякого сюжетного, хронологического построения: «Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение — *тогдашняя* истина пропадает (. . .) я решил оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах: все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками» (10, 9).

Автобиографического в последних частях «Былого и дум» немного. Исключение — «Кружение сердца», т. е. как раз та трагическая исповедь, ради которой и был затеян труд. «Рассказ о семейной драме» подводит черту под личной исповедью Герцена, занавес резко опускается после V акта, эпилог же неинтересен. Впрочем, многое в драме остается неясным, в ней есть и пробылы. Скальпель Герцена-«анатома», беспощадного наблюдателя и проницательного психолога, который, по тонкому наблюдению Анненкова, «как будто родился с критическими наклонностями ума, с качествами обличителя и преследователя темных сторон существования»,²³ в личных, интимных вопросах не решается идти глубоко. «Рассказ о семейной драме» ближе других глав «Былого и дум» к беллетристике — и не только потому, что автобиографический материал тут особенно субъективно обработан, многое утаено и опущено. Исповедь имеет строго продуманную композицию, ошутим огромный труд, затраченный Герценом на эти страницы. Результат: художественное произведение с типизированными героями, полярно противопоставленными, вторгнутыми в роковой поединок. Фон драмы выдержан в сумрачных красках, в резких звуковых эффектах. Увертюра к драме — бессмысленная и дикая драка двух пьяных стариков, изображенная необыкновенно подробно, отталкивающе, надрывно: «. . . страшное эхо, раздавшееся в огромной зале от костяного звука ударившегося черепа, произвело во всех что-то истерическое» (10, 230). Кульминация — трагическая глава «Осеапо пох».

Связи же «Рассказа о семейной драме» с предыдущими эпохами жизни — по большей части идеологические, где личное становится материалом для обобщений, — довольно слабы. «Рассказ о семейной драме» делает понятным частые, «там-сям» вкрапленные или развернутые в отдельные главы размышления Герцена о любви, семье, женской эмансипации, воспитании. Понимание, как всегда у Герцена, приходит позже в виде отчета о происшед-

²³ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 219.

шем. В отчете боль пережитого снимается гуманным и широким взглядом, очищенным от коры эгоцентричных дум и минутных настроений в былом. Понять — это простить. Для Герцена — это еще и обобщить. Именно к «Былому и думам» более всего применимы слова Белинского о «главной силе» таланта Герцена, заключающейся «в мысли, глубоко прочувствованной, полно сознанный и развитой». ²⁴

«Трезвый взгляд на людские отношения гораздо труднее для женщины, чем для нас, в этом нет сомнения; они больше обмануты воспитанием, меньше знают жизнь и оттого чаще оступаются и ломают голову и сердце, чем освобождаются, всегда бунтуют и остаются в рабстве, стремятся к перевороту и пуще всего поддерживают существующее» (10, 210), — писал Герцен в теоретическом дополнении к главе о Прудоне — «Раздумье по поводу затронутых вопросов». Вызвано «раздумье» домостроевскими воззрениями Прудона, но с не меньшим основанием его можно было поместить и после «Рассказа о семейной драме». Воззрения Прудона — лишь один из поводов, вызвавших раздумье, и вряд ли главный. Слишком очевидна личная, выстраданная подоплека герценовских мыслей, переведенная в сферу всеобщего. «Раздумье по поводу затронутых вопросов» больше исповедь, чем «Рассказ о семейной драме», где целомудренно и сдержанно-глухо повествуется о внутренней психологической борьбе. Во всяком случае к «Раздумью...» больше подходит определение «рассказ из психической патологии», поскольку это итог «долгого, непрерывного разбора», «логическая» исповедь житейской драмы, осмысленной как драма века. Теоретическая, общая постановка проблемы позволяет не скрыть, а растворить безболезненно слишком личное.

Философское («Раздумье...») и артистическое («Рассказ...») «расстояния» дополняют друг друга, восстанавливая разорванные части исповеди, безусловно сохраняющие свое самостоятельное значение. «Раздумье...», пожалуй, самое умное из всего сказанного в XIX в. о женском вопросе, глубокий и гуманный этико-философский трактат. «Рассказ о семейной драме» — беллетристический шедевр в шедевре, не уступающий по художественным достоинствам лучшим произведениям таких мастеров психологической повести, как Тургенев, Достоевский, Толстой. Иметь возможность ознакомиться с рукописью «Рассказа...», Тургенев был потрясен художественной силой исповеди, мощью таланта Герцена: «Все эти дни я находился под впечатлением той (рукописной) части „Былого и дум“ Герцена, в которой он рассказывает историю своей жены, ее смерть и т. д. Все это написано слезами, кровью: это горит и жжет. Жаль, что напечатать это невозможно. Так писать умел он один из русских». ²⁵

²⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 10. С. 318.

²⁵ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л., 1966. Т. 11. С. 205.

Отзыв Тургенева в письме к Салтыкову-Щедрину удивительно напоминает авторское признание Герцена: «...писать записки, как я их пишу, — дело страшное, — но они только и могут провести черту по сердцу читающих (. . .) расположение чувствуется, оно оставляет след. Сто раз переписывал я главу (которой у вас нет) о размолвке, я смотрел на каждое слово, каждое просочилось сквозь кровь и слезы. (. . .) Вот (. . .) отгадка, почему и те, которые нападают на все писанное мною, в восхищении от „Былое и думы“, — пахнет живым мясом. Если б не было темной стороны, — светлая была бы бедна» (26, 146—147).

Поиски свободной формы — одновременно и поиски наиболее искреннего тона, верного сочетания красок, темной и светлой сторон. Это не анархический принцип, развязывающий автору руки во всех смыслах, а трудное, иногда страшное дело. Когда Герцен прочитал мемуары М. Мейзенбуг, он деликатно выразил свое неудовольствие их «идеализирующим характером». Сам же, оставаясь верным реальному методу, ни чернить, ни «золотить пилюли жизни» не собирался. Стремился к другому: передать всю «роскошь мироздания», увиденную «раскрытыми глазами» очевидца, все встречное-поперечное.

Роскошь мироздания в «Былом и думах» представлена контрастными картинами пейзажей — от солнечных, ярких итальянских до туманных, дождливых лондонских — и картинами народных гуляний. Полнокровное мироощущение было всегда сродни «эпикурейской», необыкновенно подвижной, открытой, живой натуре Герцена, признававшегося незадолго до смерти: «...я не перестал, несмотря на седые волосы, любить ни песни Миньоны, ни тихой поступи мулов с их бубенчиками и красными шнурками, ни теплые итальянские горы под паром вечерней или утренней зари» (20, 660). А рядом с солнечными и праздничными картинами — Петербург Николая I и Дубельта, Вятка с ее «немецко-монгольскими» нравами, залитый кровью блузников Париж, Лондон с «выгоревшим топливом цивилизации». Океан, поглотивший дорогих ему людей. Болезни, горе, разочарования, предательства, смерти.

Но, конечно, стержень всего — люди. Случайно, на миг мелькнувшие, как Токвиль в Париже и «лиссабонский» квартальный по дороге в ссылку, и те, о ком Герцен счел своим долгом рассказать подробно, так как их судьбы, мысли, жизни ярче всего воплотили величие и болезни века во всем бесконечном разнообразии «пластовых» и видовых (национальных, психологических) оттенков. Биографий в каноническом смысле в «Былом и думах» нет. Не существует и табельной иерархии. Нет и единого метода. Точнее, сколько в «Былом и думах» людей, столько и методов их изображения. Правила, регламентации отсутствуют. Портреты современников выписаны таким образом, каким они запечатлелись в памяти и сознании Герцена.

«Форменный тон биографа *ex officio*» всегда был ему противен, догматически застывший, окостеневший жанр жизнеописаний ве-

ликих раздражал. В них он с неудовольствием находил как раз то, что более всего не мог терпеть: канонизацию, идеализацию, чаще всего неумеренную, искусственную композицию, в которой внутренняя правда подменялась внешним правдоподобием, строгой хронологией и фактологией, неискренность и напыщенность тона. В 1840-е гг. Герцена неприятно поразила в биографии Гегеля, написанной Розенкранцем, неуклюжая идеализация человеческих качеств философа. Образы Гегеля и Гете²⁶ в дневнике, публицистике, повестях Герцена 1840-х гг. полемически заострены против канонизированных и идеализированных кумиров образованной толпы.

Следы прежней полемики чувствуются и в «Былом и думах». Герцен здесь мало занимается жизнеописаниями; биографические подробности ему нужны тогда, когда они, по его мнению, помогают выразить суть личности, и еще чаще тогда, когда они характеризуют поколение. Герцен не судит современников («уголовный» взгляд противоречит его широкому и гуманному воззрению), но всегда оценивает их, иногда весьма пристрастно, даже впадая в шарж (Гервег, В. П. Боткин), считая нечестным скрывать свои чувства, так как они тоже реальность, тоже истина — только лично его, собственная. Преобладают в мемуарах политические изгнанники — лагерь революционеров и «поврежденных», скитальцев, «бегунов». Этот стан противостоит другому — старому, официальному, государственному, обрисованному нередко хотя и карикатурно-иероглифически, но все-таки дифференцированно.

Дубельт и Тюфяев — фигуры, изображенные иронически, насмешливо, но в них все же есть нечто человеческое и широкое. Они не механические куклы, чье жизненное призвание сведено к исполнению небольшого числа функций. Николай I и Наполеон III лишены почти всяких индивидуальных признаков: они не типичны, а символичны. Это не лица и даже не карикатуры, а памфлетное изображение обезличивающей шагистики и обезличенного мещанства, аллегорическое воплощение утрированных черт бездушной системы, где национальное своеобразие почти стирается «равенством рабства»: Николай I представляет немецко-монгольскую петербургскую машину угнетения и подавления; Наполеон III — мещанскую цивилизацию с бонапартистским красноречивым французским колоритом.²⁷ Герценовские портреты Николая I и Наполеона III типологически близки к героям «Истории одного города»; они предваряют галерею шедринских градоначальников.

В какой-то степени к образам Николая I и Наполеона III близки получеловеческие лики мещан в повести «Скуки ради» и портреты некоторых «героев» современности. Таков, к примеру, Му-

²⁶ О полемичности образа Гете в творчестве Герцена 1840-х гг. см.: *Жирмунский В. Гете в русской литературе*. Л., 1937. С. 337—351.

²⁷ О символичности фигуры Наполеона III см.: *Чуковская Л. «Былое и думы» Герцена*. М., 1966. С. 115.

равьев-вешатель в заметке «Портрет Муравьева» (1864): «Портрет этот пусть сохранится для того, чтоб *дети* научились презирать *тех отцов*, которые в пьяном раболепии телеграфировали любовь и сочувствие этому бесшейному бульдогу, налитому водой, этой жабе с отвислыми щеками, с полузаплывшими глазами, этому калмыку с выражением плотоядной, пересыщенной злобы, достигнувшей какой-то растительной бесчувственности . . .» (18, 34).

Больше всего в «Былом и думах» людей, выломившихся из ряда, историческими событиями разбросанных по свету. Тут вожди и видные деятели итальянской, немецкой, французской, польской, венгерской, русской эмиграции — Гарибальди, Мадзини, Струве, Гауг, Луи Блан, Ворцель, Мицкевич, Бакунин. И русские «бегуны» — Печерин, Сазонов, Энгельсон, Кельсиев, Головин. Когда индивидуальное резко перевешивает, «роскошь мироздания» преизбыточно отражается в личности, Герцен создает фрески, рельефно запечатлевшие величие, гигантскую силу человеческого духа. Личность у Герцена не только является отражением типичных черт поколения, нации, но и сама интенсивно, деятельно оказывает влияние на общественное движение века. Таковы в «Былом и думах» образы великих борцов и реформаторов — Белинского, Оуэна, Гарибальди («идол масс, единственная, великая, народная личность нашего века, выработавшаяся с 1848 года»). Правда, и здесь Герцен остается верен своему методу, показывая наряду с главным, типичным и разные мелочи. Так, он рассказывает анекдот, случившийся с Белинским на вечере у князя В. Ф. Одоевского.

Белинский, Гарибальди, а также Наталья Герцен, Огарев, Витберг, Грановский — личности, которых не коснулась (или почти не коснулась) убийственная ирония Герцена. Это идеальный и идеализированный человеческий пласт в «Былом и думах»; анекдотические подробности, мелочи быта, приведенные Герценом, здесь освещены мягким, добрым, иногда сострадательным юмором и не служат целям «психиатрической патологии» и «микроскопической анатомии». В других случаях Герцен остается верен нарочитому акценту на мелочах, пристальному и дошному анализу: «Я нарочно помянул одни *мелочи* — микроскопическая анатомия легче дает понятие о разложении ткани, чем отрезанный ломоть трупа...» (11, 503).

«Микроскопическая анатомия» семейного быта Энгельсонов, «патологический» разбор их натур ведут к серьезным идейным и психологическим выводам — Энгельсоны представлены как «предельные» типы, ярко выразившие свойства и особенности своей формации. Герцен не останавливается на констатации общей объективной стороны трагедии поколения Энгельсонов (петрашевцев): «Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломившись, все же уцелели» (10, 344). Анализ Герцена идет

дальше, вглубь, выясняя, что и как уцелело, для чего Герцен прибегает к испытанным естественнонаучным принципам, к тому методу, отцами которого он считал Бэкона и Спинозу. «Понимание дела — вот и вывод, освобождение от лжи — вот и нравоучение», — еще раз повторяет Герцен свой девиз в знаменитом философском трактате «Роберт Оуэн», включенном в состав «Былого и дум». Этот метод, в основе которого лежит понимание и освобождение, он прямо соотносит с философией природы Бэкона: «Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, религиозный поклеп на нее: она не настолько умна, чтоб бороться, ей все равно: „По той мере, по которой человек ее знает, по той мере он может ею управлять“, — сказал Бэкон и был совершенно прав» (11, 246—247). Обращение к Бэкону в «Роберте Оуэне» — еще одно свидетельство, говорящее о постоянстве симпатий Герцена. Бэкон назван как учитель Герцена, философ жизни с гибким, многосторонним, трезвым мирозерцанием. Именно таким выступает Бэкон на страницах «Писем об изучении природы»: «Метода Бэкона чрезвычайно скромна: она проникнута уважением к предмету, она приступает к нему с тем, чтоб научиться, а не с тем, чтоб вынудить из предмета насильственное оправдание вперед заготовленной мысли; она стремится все привести к сознанию: „то, — говорит Бэкон, — что достойно существовать, — достойно быть известно“. Он умел найти действительно и истинное даже там, где мы обыкновенно видим суетную призрачность» (3, 261). Система выписок из Бэкона — это ряд широких и твердых правил и определений, великолепно характеризующий всеохватывающий реализм Герцена. Бэконовское высокое понимание науки («образ истины»), широкий, недогматичный, открытый любым неожиданностям и устремленный к познанию лика природы, мира, человека взгляд («magnum ignotum» — любимое герценовское выражение), пластичный и бесстрашный анализ очень дороги Герцену. Многосторонний взгляд Шекспира, Гете, Бэкона, Спинозы, отсутствие нравочений и сентенций, идеализации и стилизации действительности ближе всего философским и эстетическим положениям Герцена. Закономерно, что Герцен вспомнил Бэкона в «Роберте Оуэне». Не менее закономерно с его стороны было поставить в «Капризах и раздумье» строгую и реально-гуманную мысль Спинозы в центр своих этических раздумий: «Двести лет тому назад Спиноза доказывал, что всякий прошедший факт надобно не хвалить, не порицать, а разбирать как математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никак не растолкуешь» (2, 78).

Герцен приглядывается к суете и мельтешению жизни («мерцание едва уловимых частных и пропадающих форм»), анализируя *все* (лозунг его поколения и формации петрашевцев), приобщаясь к живым процессам, чтобы не сбиться на бесконечное кружение в «бесцветной алгебре жизни». Он не останавливается перед трупоразъятием и «грязной» работой: «Я (. . .) люблю, как черви в сыре, покопаться где поглубже да погнилее . . .» (15, 120).

Спускается с «горных вершин» на самое дно жизни: «Я прошу читателя не забывать, что в этой главе мы опускаемся с ним ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистым дном его (<...>). Печально уродливы, печально смешны некоторые из образов, которые я хочу вывести, но они все писаны с натуры — бесследно исчезнуть и они не должны» (11, 178).²⁸

Объективный, доскональный анализ, не скрывающий «темных сторон человеческого существования», применяет Герцен и к своим современникам, даже к тем из них, с кем лично и кровно был связан и воспоминания о которых болью и чувством какой-то собственной вины отзываются в сердце. Отношение к этим ушедшим «русским теням» Герцена сложное, далеко не одностороннее, а восстановление всей правды о них, без утайки и приукрашивания («Для патологических исследований брезгливость, этот романтизм чистоплотности, не идет» — 10, 363), он считает исторически необходимым делом, тем более что изменчивая мода и заступающее уже и его место молодое поколение с нигилистической безразборчивостью ставит клейма «устаревшие», «никчемные», не щадя никого и ничего в прошлом. «*Бегун* образованной России, — пишет Герцен о Н. И. Сазонове, — он принадлежал к тем праздным, лишним людям, которых когда-то поэтизировали без меры, а теперь побивают камнями без смысла. Мне больно за них. Я многих знал из них и любил за родную мне тоску их, которую они не могли пересилить и ушли — кто в могилу, кто в чужие края, кто в вино» (18, 87).

Утаить всю правду — означает сгладить и смазать картину, поступить нечестно по отношению к современникам и потомкам, так как судьбы Печерина, Сазонова, Энгельсона, Кельсиева — явления большого социального содержания, требующие объективного, по возможности справедливого и беспристрастного, разбора. А это главная, центральная, только постепенно самому Герцену уяснившаяся задача книги; ведь «Былое и думы», согласно классическому автопризнанию Герцена, — «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Главы, посвященные русским «бегунам» и скитальцам, хорошо демонстрируют, каким именно образом осуществляется в книге «отражение истории». Историзм «Былого и дум» — не скрупулезная регистрация внешних событий: Герцен не летописец и не хроникер. Сухих и безлично-объективных описаний у него нет. Герцен все осмысляет и оценивает. Но не догматично и не с точки зрения вечности. Его думы, в тот или иной момент остановленные, образуют глубокий, протекающий по сильно пересеченной местности поток, вернее, множе-

²⁸ Ср. это авторское «предупреждение» со следующей выпиской из Бэкона: «Что касается до ничтожности или даже гнусности некоторых предметов, то и их, наравне с драгоценнейшими и прекраснейшими, должно внести в область естественной истории, которая этим нимало не оскверняется: солнце равно освещает дворцы и помойные ямы, однако ж несколько тем не оскверняется. (<...>) Что достойно существования, то достойно и науки, которая есть только изображение сущего. Дурное существует точно так же, как и красивое.» (3, 299).

ство потоков, стремящихся к одному водоему — знанию. В «Былом и думах» нет последних решений и окончательного итога. И быть не может. Но существуют в большом количестве промежуточные приватные и «гуртовые» определения, формулы. Ни одно явление, разумеется, до конца не исчерпывается, суть многих из них неясна Герцену, но некоторые этапы собственного развития и развития своего поколения, так же как предшествующих формаций и новой, вступающей на историческую арену, он проследживает с тщательностью «анатома» — реального историка.

Герцен стремится выявить суть характеров Печерина, Сазонова, Энгельсона, Кельсиева, общие, объединяющие их национально-скитальческие черты, а также видовые и индивидуальные отличия. Анализ Герцена историчен, гуманен и педагогичен: он обращен и к собственной совести, и к ушедшим теням, и к новому поколению, которому необходимо знать о мученической, жертвенной внутренней борьбе сознательных «бегунов» русской жизни, об их подвиге: «Они жертвовали всем, до чего добиваются другие: общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, пример, к чему нудила семья, — из-за своих убеждений и остались верными им» (10, 318—319). Не для суда над поколениями русских скитальцев, а с целью понять смысл их трагедии и ошибок предпринимается Герценом анализ людей поколения Сазонова, утративших в какой-то момент контакт с истиной и продолжавших с безумной последовательностью гнуть все ту же линию: «Неустрасимым фронтом идем мы, шаг в шаг, *до чура*, и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только *с истины*; не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно обнаруживается в остановке перед крайностями. . . Это — *halte* меры, истины, красоты, это — вечно уравнивающее колебание организма» (10, 320).

Сознательно или бессознательно былое в книге непрерывно осмысливается думами, познается и кристаллизуется в процессе воссоздания. В зависимости от подхода, повода и точки зрения одним и тем же явлениям могут даваться не противоречащие друг другу, но все же весьма различные оценки; наиболее разительный пример — апофеоз своему поколению в первых частях «Былого и дум» и «патологическое» приложение в главе «Н. И. Сазонов». Такие колебания могут показаться недостатком и пошатнуть веру в историзм «Былого и дум». Однако дело тут в том, что обе точки зрения, обе оценки в одинаковой степени верны, справедливы, историчны и в то же время недостаточны, не улавливают и не могут уловить бесчисленного количества оттенков, мелочей, частных. К тому же это оценки, разделенные значительным временным промежутком, и то, что казалось когда-то главным и определяющим, совершенно резонно впоследствии могло утратить ореол бесспорной истины. С другой стороны, где гарантия, что и новая, последняя точка зрения покажется не столь уж широкой и верной спустя какой-то срок. Ведь в мире «все состоит из

переливов, колебаний, перекрещиваний, захватываний и перехватываний, а не из отломленных кусков. < . . . > Природа решительно ускользает от взводного ранжира, даже от ранжира по возрастам» (20, 347).

Больше всего боится Герцен сдать современников в «рекрутский прием». Типизируя и обобщая, понимая, как необходимы синтезирующие определения, он ни на минуту не забывает о неизбежной схематизации, невольном упрощении. Понятно, что в том случае, когда явление особенно сложно, противоречиво, может образоваться несколько схем и определений, в равной мере имеющих право на существование. Со стереотипными и ходячими вариациями серьезных явлений и крупных типов, пародиями на них, Герцен, разумеется, не церемонится. Хористы революции, авантюристы, надевшие маску страдающих русских скитальцев, изображены в прямой, часто памфлетно-гротесковой манере: таков Головин, тоже «бегун», но с беспардонными замашками героя романа Достоевского «Бесы» капитана Лебядкина.

Русские скитальцы в столкновении с западным миром — одна из самых трагических и серьезных сквозных тем в «Былом и думах», тесно связанная с антитезой «Восток — Запад» в творчестве Герцена. Многочисленные нити ведут и подводят в «Былом и думах» к одним и тем же параллелям, сопоставлениям, сравнениям, печальным вариациям глубоко личной мелодии: русский скиталец, заблудившийся в чужих краях со своей русской тоской и неутоленной жадью гармонии, сорвавшийся в вино, могилу или католицизм, как Печерин: «Разобщенным показался себе, сырым русский человек в сортированном и по горло занятом Западе, ему было слишком безродно. Когда веревка, на которой он был привязан, порвалась и судьба его, вдруг отрешенная от всякого внешнего направления, попала в его собственные руки, он не знал, что делать, не умел с ней управляться и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ, упал в иезуитский монастырь» (11, 392).

Герцен необыкновенно остро ощущал родство с русскими «бегунами» и скитальцами; их беды и тоска были очень вняты лично ему, часто чувствовавшему бесприютность и одиночество в благоустроенной деловой Европе. Он, конечно, не «сорвался с орбиты» и не изменил себе и своим идеям и идеалам, сумел найти такую позицию, такое дело, которое поставило его, эмигранта, в центр политических событий в России. Свое положение в Европе Герцен много раз определял как позицию чужого, постороннего, скитальца, скифа, варвара, туранца. Он настойчиво и часто зло, полемично писал об угасании западной цивилизации, спасаясь верой в «русский социализм». Его вера была не только плодом теоретических, логических размышлений; пожалуй, в значительно большей степени это сердечное чувство, инстинктивная потребность природы: «. . . сказать откровенно, надобно иметь сильную *зазнобу* или *сильное помешательство*, чтоб по доброй воле ринуться в этот водоворот, искупающий все неустройство свое пророчествуемыми радугами и великими образами, постоянно

вырезающимися из-за тумана, который постоянно не могут победить» (16, 133). «Зазноба» определила стержень книги, сообщив ей внутреннее единство: противопоставление западной и русской натур на разных национальных и человеческих уровнях. Бесспорно, западные арабески фрагментарнее картин русской жизни, воплощенных на страницах «Былого и дум» объемно, с частыми экскурсами в XVIII век, вещественно, обстоятельно. Главная причина — разные методы изображения. Россия в «Былом и думах» — это прошлое и даже давно прошедшее, реконструируемое, восстанавливаемое, о котором рассказано человеком крепко спянным с русским миром, «своим», а не отчужденным обстоятельстами скитальцем, посторонним.²⁹ Российское былое преломлено через магическую призму времени; Запад недавнего прошедшего и настоящего описан по свежим следам разочаровавшимся наблюдателем, автором «Писем из Франции и Италии», «С того берега» безжалостней и «фельетонней». Герцен «национально» обосновывает свою позицию беспристрастного зрителя: «... моя позиция наблюдателя определяется моей национальностью; я физиологически принадлежу к другому миру, я могу с большим равнодушием констатировать наличие страшного рака, сметающего Западную Европу» (23, 289).

Неверно, однако, было бы по отдельным суждениям и высказываниям Герцена делать выводы о тенденциозном искажении образа Запада в «Былом и думах». Важно понимать, что резкие герценовские обобщения, как правило сопоставительного характера, специально полемически заострены и оправданы особенным углом зрения: «Мелкий, подлый эгоизм в самом антигуманном значении среды, в которой вырастает француз и француженка, — отсюда нетрудно понять, что для них брак и что воспитание. Об наших широких, разметистых натурах нечего и думать. В крови у немца — золотуха, у француза — сифилис. Разумеется, есть исключения, есть целые сословия, к которым это не идет: но я говорю в антитетическом смысле» (23, 157).

Антитетическим смыслом пронизаны все думы Герцена о Западе, западном человеке и западной цивилизации. Герцен резко сближает разные национальные типы, обычаи, понятия, законы, нравственные устои, литературы — и в зависимости от очередной комбинации сопоставляемых элементов формулирует выводы — «сравнительную физиологию» мира в «Былом и думах». Резкость суждений Герцена — результат глубокого разочарования в западной цивилизации и западном человеке, который представлялся ему преимущественно в облике мещанина. Он отказался от оптимистического взгляда на Запад — «страну святых чудес», свойственного ему в русский период творчества, и постоянно

²⁹ «„В ваших словах, — говорил мне очень почтенный человек, — так и слышится *посторонний зритель*”».

А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я очень вынослив, но выбился, наконец, из сил. (. . .) и я, наконец, схватил скальпель; может, резнул слишком глубоко с непривычки» (11, 53).

говорил о Западе как о старике, не достигшем покоя, но утратившем в прежних бурях жизненную силу, чья героическая эпоха позади. Герцен охотно и преднамеренно, противопоставляя Запад и Восток, пользовался славянофильскими формулами и оценками, переводя их на светско-социалистический язык. «Империя фасадов» — знаменитое *mot* Кюстина о России, получившее необыкновенное распространение и нередко употреблявшееся самим Герценом, для него теперь негативная формула, не передающая сути. Ей он противопоставляет другую — «империя стропил», т. е. молодой жизнеспособный организм, отличающийся юным пластичизмом, инстинктивно пробивающий себе свою особую дорогу. Самоуспокоенной, мещанской, уравновешенной, узкой западной натуре Герцен противопоставляет скептическую, смятенную, широкую, безалаберную, сырую — русскую: почти все портреты соотечественников питают эту концепцию.

Однако не надо забывать, что Герцен, употребляя слова «Запад» и «западный человек», обычно имеет в виду некую суммарную мещанско-бонапартистскую (Франция) или филистерско-бюргерскую (Германия) «норму». Этой «норме» не соответствуют не только хаотическое, беспорядочное русское житье, но и консервативный в благородном и единственном смысле уклад Англии и близкий по многим стихийным и этнографическим признакам к русскому итальянский образ жизни, и польский героико-мистический характер, и в какой-то мере не совсем ясный Герцену американский быт.³⁰

Особенно строго и иронично реализован антитетический подход в тех главах «Былого и дум», в которых контрастно противостоят друг другу традиционно свободный и консервативный в своих свободных привычках англичанин (в отличие от рабски уверовавшего в английские свободные институты Каткова) и убежавший от деспотизма, но сохранивший все внутренние признаки несвободы, духовного рабства француз. Сходно по смыслу и духу и столкновение итальянского «федеративного» характера с беломундирным австрийским, тяготеющим к централизации и военной деспотии. На этой «встрече» контрастных национальных типов Герцен заинтересованный зритель, явно симпатизирующий итальянцу, духовно более свободному и эстетически более привлекательному. Однако Герцен, беспристрастный «патолог»,веряющий свои симпатии действительностью, пытающийся уловить исторические закономерности, не склонен придавать чрезвычайного значения своим субъективно-личным привязанностям и порой довольно-таки скептически смотрит на перспективы возрождения Италии, склоняясь к выводу, что и этому народу, кажется, придется смириться, усвоить мещанские нравы и философию. Не уверен он

³⁰ На представления Герцена о США огромное воздействие оказала книга А. Токвиля «О демократии в Америке», откуда, в частности, он и заимствует сопоставление Америки и России как молодых, жизнеспособных, перспективных государственных организмов.

и в немещанском будущем своего народа. Потенции и отсутствие мещанского духа не есть еще бесспорный, верный залог будущего, неоднократно повторял Герцен. Развитие может пойти в ту и в другую сторону. «Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало мещанских элементов; общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, которое может им дать мещанство. Но из этого никак не следует, что они достигнут этого высшего состояния или что они не свернут на буржуазную дорогу. <...> Возможностей много впереди: народы буржуазные могут взять совсем иной полет, народы самые поэтические — сделаться лавочниками», — писал убежденный реалист и трезвый диалектик Герцен в философско-публицистическом трактате «Роберт Оуэн» (11, 25).

Сравнительная физиология Герцена часто уводит его мысль в глубь веков: он детально разворачивает антиномию «рыцарь — мещанин», охотно пользуется литературными аналогиями (Расин и Шекспир) и наблюдениями, родившимися из личных впечатлений: веселый народный карнавал в Италии и мрачно-пьяное мордобитие, именуемое праздником, в Ницце. Но более всего, детальнее, микроскопичнее разворачивается сравнительная физиология на самом знакомом и близком Герцену эмиграционном человеческом материале; и тут множество нюансов и ступеней: от горных вершин до илистого дна. К каким бы далеким берегам ни прибывало беспокойную, изменчивую мысль Герцена, она всегда злободневна и всегда напрямую связана с современными политическими событиями, вносящими серьезные коррективы во в целом константный образ России.

На рубеже 1850—1860-х гг. надежды Герцена, связанные с Россией и особенным русским путем, были необыкновенно сильны. Позже они значительно померкли. Публицистика Герцена, вызванная польскими событиями, ярче всего выявила отличие его широкого, свободного, гуманного мировоззрения от узкого национализма и трусливого оппортунизма. Не пощадил Герцен даже дорогих ему людей: Самарина и Тургенева. Герцен нашел в себе смелость пойти против общественного мнения, оставшись почти в совершенном одиночестве, единственным трезвым среди своих опьяневших от каннибальского патриотизма соотечественников. «Зачем они русские?» — горестно вопрошает он в одной из статей тех лет. Национальное чувство и национальные симпатии, даже «зазноба» не заставили Герцена изменить своим гуманным демократическим убеждениям. Ему было очень трудно и больно идти на почти полный разрыв связей с Россией, но сделал он это с завидной последовательностью и необыкновенной энергией, ужаснувшись всему холопскому, дикому, немецко-монгольскому, хлынувшему вдруг таким зловонным потоком с его родины — «великого материка рабства». «Что же вы, анафемы, сделали из всех усилий наших? — гневно восклицает Герцен в «Плаче» (1863). — Все, что мы лепили по песчинке, смыли ваши помои, унесла ваша грязь; и через пятнадцать лет я снова, идя по улице, боюсь, чтоб

не узнали, что я русский. . .» (17, 69). Если до 1863 г. Герцен гораздо больший упор делал на те отличительные качества русской природы и русского духа, в которых он находил залогом для немецкого, оригинального, социалистического развития, применяя «патологический» анализ резче и последовательнее к Западу, то теперь он надолго сосредоточивается на исследовании, вивисекции негативных, рабских отечественных явлений: «Все скверное в русской природе, все искаженное рабством и помещицеством, служебной дерзостью и бесправием, палкой и шпионством, — все всплыло наружу, украшенное либеральными бубенчиками, — всплыло, совмещая в себе в каком-то чудовищном соединении Аракчеева и Пугачева, крепостника, подьячего, капитан-исправника, голь кабацкую, Хлестакова, Тредьяковского и Салтычиху . . .» (17, 215). Злодейства, совершаемые «тиграми-ослами», «маленькие гадости, капральские придирки», падение литературы, опозоренной циничной и развращающей деятельностью «Московских ведомостей» Каткова, разительное понижение нравственного уровня общества — это перезревшие плоды, взращенные на огромном «материке рабства». Тлетворное влияние коснулось всех — жертв и палачей, подстрекателей и безгласных исполнителей: «Разве каждый господский дом не представлял полную школу рабства, разврата и тиранства, отсутствие всякого уважения к седым волосам, всякого сожаления к детскому возрасту, к девичьему стыду; гарантированный правительством, поддерживаемый полицией, судом, войском, церковью произвол, безгранично идущий до встречи с властью, перед которой секущий, гордый помещик делался вдвое больше холопом, чем его несчастный раб» (18, 42). Вдоволь наговорившись о «зоологических признаках» русских в родных палестинах и чуждых, неверных странах, прекрасно доказав, насколько его вера в «русский социализм»³¹ чужда мессианизму («иудейский грех»), национальной нетерпимости, официальному патриотизму, и заплатив почти полной изоляцией за такую позицию, Герцен вновь обращается к антитезе «Восток — Запад», к полемике с европейскими статьями и книгами о России, оснований для которой было не меньше, чем в 1850-е гг. Повторяет старые тезисы и полемизирует Герцен как-то вяло и устало. А в личных письмах нередко дает волю своему скептицизму: «Ох, Никол(ай) Пл(атонович) — как бы нам не пришлось под конец жизни и этот идол (Rußland) побоку» (29, 419).

³¹ Об эволюции теории «русского социализма» у Герцена см.: Порох И. В. А. И. Герцен — основоположник теории «русского социализма» // Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969.

Конец 1860-х гг. для Герцена — время назревшего нового идеологического перелома. В цикле «К старому товарищу» (1868—1869) он полемизирует со своими ближайшими друзьями по революционному лагерю. Конечно, такая полемика возникла не сразу, а после очень долгих колебаний и попыток келейно уладить разногласия. Тем более она не сразу облеклась в столь суровую, резкую форму. Разрыв с Бакуниным давно назревал подспудно; конфликты с «молодой эмиграцией» и тщетные усилия образумить горячий пыл Огарева ускорили дело.

Герцен явно не торопился предать гласности серьезные идеологические споры «между старичками», что очень понятно. Бакунин и Огарев были ему особенно дороги — не только старинные друзья, самые близкие люди, но именно «товарищи» по общей борьбе, общему революционному делу. Герцен имел высшее право писать: «Высказывать это в том кругу, в котором мы живем, требует если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, как брать во всех вопросах самую крайнюю крайность» (20, 586). И хотя Герцен в начале первого письма осторожно говорит о «разных методах и практиках», в дальнейшем выясняется полная противоположность его диалектической постановки революционного вопроса анархо-авантюристическим теориям Бакунина. Но, конечно, Герцен преднамеренно несколько смягчает полемику, не желая полного разрыва с Бакуниным, отношения с которым в конце 1860-х гг. резко ухудшились. В цикле Герцен тем не менее камня на камне не оставляет от «революционных» теорий и лозунгов Бакунина.

Еще более, пожалуй, показательны письма Герцена, в которых он давал полную волю эмоциям и совершенно не придерживался «парламентских» выражений. Он был удивительно изобретателен и разнообразен, обрушивая в письмах к Огареву водопад нелестных иронических эпитетов и характеристик по поводу очередных речей и статей Бакунина и очевидно стремясь умерить ниспровергательский пыл старого друга. Давние товарищеские отношения делали допустимой такую откровенность, и ею Герцен воспользовался как острым и разящим оружием. Письма Герцена к Огареву отчасти предваряют цикл «К старому товарищу», но в еще большей степени эмоционально дублируют и дополняют его. Они необыкновенно резки по тону и обильно уснащены ироническими уподоблениями и солеными словечками. «Бакунина factum <...> я читал, — сообщает Герцен Огареву в письме от 11 (23) апреля 1869 г., тут же подвергая идеи factum'a тотальному разгрому. — Что он формой и тоном лучше твоего — в этом нет сомнения — но в чем польза от него, я не знаю. Разве ты думаешь, что теперь на череду в России „снятие государства“ и воцарение Степки Разина? Что-то сомнительно. <...> Слово „поганое государство“ — нелепость и опять-таки непризнание исторических моментов. Эдак и зооэмбриологические факты можно себе позволить

матюгать. <...> м(ать) — шука и сукин сын паук. Наконец, где же видна эта сила, этот пошиб 93 года, умноженного на Бабефа и Стеньку Разина, — в требовании студентов — дать им право на кассу, сходку и свой суд? Или вы многое знаете, чего я не знаю. С Польшей у Бак(унина) — совершенный разрыв, его программу ни один поляк не примет» (30, 92).

В письме от 11(23) сентября 1869 г. Герцен вновь упрекает «товарищей» в «незнании и непризнании истории», выступает против «ауторитарного, террористического образа действия» («...провижу <...> что дело пойдет ста путями, в ином месте круче, в другом мирнее — но нигде не пойдет „разнузданием дурных страстей“ — вырезыванием языков, резней из-за угла, ножами и митральядами» — 30,199), темпераментно высмеивает уравнилельные и утилитарные лозунги Бакунина: «Что Бак(унин) так старается стереть личность? Этим путем действительно можно дойти до того, что из человека выйдет мешок пищеварения — в полипнике, устроенном так, что все будут сыты. Или, может, это и будет *конечная форма* — история остановится — искусство отбросится как игрушка, наука — как аристократия ума — это точно, как Языков говорил, будет „елда-рада“» (30, 198).

Письмо раздраженное — Герцен явно устал от бесплодной полемики с теми, кто в ослеплении не желает ничего видеть и слышать. Сожалеет Герцен и о том, что до сих пор еще не обнаружил своих разногласий со «старичками». А завершает письмо вопросом к Огареву, на который настоятельно просит ответить: «Правда ли, что Бакунин в переписке и дружбе с Марксом и переводит его книгу на русский язык?» (30, 199). Через несколько дней Герцен с вполне понятной обидой пишет Огареву, что не понимает, почему Бакунин держал втайне от него «свои сношения» с Марксом, и добавляет: «Вся вражда моя с марксидами — из-за Бакунина» (30, 201).

Герцен преувеличивает: его отношения с Марксом и «марксидами» были враждебными не только из-за Бакунина.³² Но важно даже не то, что Герцен был оскорблен иезуитством, двуличным поведением «товарища». Герцен вынужден признать, что он в основных философских и политических вопросах гораздо больше солидарен не только с Марксом, но и со все еще во многом ненавистными ему «марксидами». И хотя Герцена покоробили «гнусные инсинуации» в статье М. Гесса «Коммунисты и коллективисты на Базельском конгрессе», он, по сути, разделяет все ее основные

³² Здесь каким-то неизбежным и роковым образом сошлись различные причины. Немалую роль сыграла и сложившаяся в немецких эмигрантских кругах репутация Герцена как «панслависта». «Только с Марксом и его кружком (с «марксидами», по его выражению) у него, как нарочно, были дурные отношения, — писал Г. В. Плеханов. — Это произошло вследствие целого ряда печальнейших недоразумений. Точно какая-то злая судьба препятствовала сближению с основателем научного социализма того русского публициста, который сам всеми своими силами стремился поставить социализм на научную основу» (Плеханов Г. В. Соч.: В 30 т. М., 1926. Т. 23. С. 443).

положения, что и подчеркивает в письме к Огареву от 21 сентября (3 октября) 1869 г.: «... Гесс говорит то, что я говорю, и, стало, по всем статьям, которые я цитировал в прежних письмах, и по этой — я констатирую, что есть не только патологическая разница от остановки мозга, но и разница логическая между вашей беспардонностью на словах — и откровенным скрутаторством моим и других. Разница в определении моментов, разница в определении средств и ... по-моему, это вовсе не шуточное дело — совершенная разница языка, глоссологии. Тебе, напр (имер), кажется хирургическая фраза — не беда, а мне — беда. Ты думаешь, что призыв к скверным страстям — отместка за скверну делающуюся, а я думаю, что это — самоубийство партии и что никогда, нигде не поставится на знамени эта фраза» (30, 207). Еще ближе критика и социально-политическая диагностика Герцена, стройно изложенные как в частных письмах, так и в публицистике, «Былом и думах» (пророческим, в частности, было предсказание печального и позорного конца так называемой нечаевской эпопеи — этой трясины, в которой увязли Бакунин и Огарев), к программным и полемическим статьям, брошюрам, манифестам, посланиям к русским деятелям освободительного движения (В. Засулич, Г. Лопатину) К. Маркса и Ф. Энгельса.³³

Герцен полемизирует преимущественно с Бакуниным, справедливо видя в нем могущественного, влиятельного и, следовательно, самого опасного противника, реальную силу, с которой невозможно не считаться, особенно потому, что радикальная русская молодежь «принимает au pied de la lettre его программы», а студенты уже «собираются составлять разбойничьи банды» (30, 134). Герцен прекрасно понимает, что Огарев лишь вторит Бакунину, увлекшему и подавившему его своей необыкновенной энергией («мастодонт», «локомотив, слишком натопленный и вне рельсов», «Этна Ниагаровна», «Атилла», «слон», «великие дрожжи» — нанизывает Герцен в письмах шуточные сравнения и определения). Герцен не теряет надежды образумить друга. Он пытается через Огарева наладить какой-то диалог с Бакуниным, контакты с которым у него почти прекратились. Но диалог со «старым студентом» Бакуниным не состоялся. Не удалось Герцену переубедить и Огарева, упрямо продолжавшего держать сторону Бакунина.

Правда, Огарев не во всем был согласен с Бакуниным, даже критиковал некоторые демагогические тезисы его брошюры «По-

³³ «То, что пишет Герцен в цикле „К старому товарищу“, поразительно совпадает с тем, что писал по тем же вопросам Маркс — и в полемике с К. Шаппером и ему подобными „леваками“, и в политико-экономических сочинениях, где настойчиво проповедовалась идея, что общество не может перескочить через необходимые ступени развития и в состоянии решать только такие задачи, которые история перед ним уже поставила, и в „Гражданской войне во Франции“, и в направленной против Бакунина брошюре „Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих“, и в письмах (как и в набросках к ним) к Вере Засулич, и в „Критике Готской программы“ и пр.» (Володин А. И. Герцен и Запад // Лит. наследство. М., 1985. Т. 96. С. 37).

становка революционного вопроса». Но все-таки в главном он поддерживал Бакунина, упрекая Герцена в неверии как в революцию, так и в «русский социализм»; оправдывая «терроризм» и «вспышки»,³⁴ он утверждал, что «чем хуже — тем лучше», с энтузиазмом цитируя: «Страсть разрушения есть творческая страсть».

Забыл, к сожалению, Огарев и собственные слова, обращенные в 1863 г. к Бакунину: «Вдумайся в приготовление людей до действительной революции — мирной или немирной — это уже зависит от силы реакции. Мы много уже наделали ошибок и зла, ты во главе их».³⁵ Утверждение В. А. Путинцева, что «участие Огарева» в нечаевской истории «носило случайный и эпизодический характер», неверно.³⁶ Гораздо более права Е. Л. Рудницкая, скрупулезно проследившая, как постепенно нарастали разногласия между Герценом и Огаревым, достигшие кульминации в конце 1860-х гг. И Рудницкая нисколько не преувеличивает, констатируя «серьезный срыв» и «явный регресс политической мысли Огарева».³⁷ А Герцен с горечью писал о рецидивах «жаргона 1863 года и Бакунина» и «эстетическом» регрессе: «Наш голос издали и из другого поколения опять-таки должен раздаться благовестом — широким, сильным, а не „благосветловским“ тоном. Действительно, ты подделался даже к их тону: „облопаться“. . . „верхобокое начальство“, „воровской ум“, „жидовские уста“ etc., etc.» (30, 86—87); «Отчего ты — поэт и музыкант — потерял чутье формы и меры? Зачем искусственное vulgag — в словах и выражениях? Что за битая вещь о Трепове и о том, что им гадко сходиться — оно же и вздор — им очень приятно вместе потолковать об атласных жопках и выгодных акциях. Нет, саго тію, — это не те звуки, которыми юный „Колокол“ потрясал молодежь» (30, 97). А ведь Герцен пишет еще очень деликатно, мягко, прося принять «в любовь, а не в гнев замечания». Пренебрежительное отношение к «слову», «натянутое противуположение» его «делу» неизбежно

³⁴ Так, он пытался убедить Герцена в том, что, «какие бы ни были вспышки, каждая вспышка станет новым запросом на пересоздание общественности. (. . .) Может, надо для достижения результата число вспышек, которого мы определить не в состоянии; но помешать мы им не можем, так как не можем помешать необходимости, опытом нами изученной в историческом ходе судеб. Что же нам остается делать? Помогать им по мере сил» (*Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 1956. Т. 2. С. 217*).

³⁵ Там же. С. 491.

³⁶ *Путинцев В. А. Н. П. Огарев: Жизнь, мировоззрение, творчество. М., 1963. С. 227.*

³⁷ *Рудницкая Е. Л. Н. П. Огарев в русском революционном движении. М., 1969. С. 386.* Кстати, нечаевская история нанесла сокрушительный и непоправимый удар именно Огареву. Бакунин и позднее будет неумоимо пропагандировать анархические идеи («Кнута-германская империя и социальная революция», «Государственность и анархия»); энергию С. Г. Нечаева не сломит и Петропавловская крепость. А в деятельности Огарева это, в сущности, последняя активная политическая акция. В 1870-е гг. Огарев почти совершенно отходит от политической деятельности, и в глазах Лаврова он «эмблема» русской революции, точнее, ее живое прошлое.

пагубно сказалось как на «деле», так и на «слове». ³⁸ Оставив в стороне теорию «русского социализма», Герцен обрушил на головы анархистов град реальных доводов, доказывая, какой неисчислимый вред могут принести авантюристические всеразрушительные лозунги, безудержное отрицание без всякой положительной программы, но зато с удивительным презрением к настоящему положению вещей. Демократическая революция невозможна без трезвого анализа причин и следствий, без глубокого переворота в сознании людей, без твердо поставленного идеала.

Цикл «К старому товарищу» в подлинном смысле произведение итоговое. И он обращен не к одним лишь товарищам по революционному делу, к большому возмущению Герцена с поразительным и преступным легкомыслием объявляющим, что время слова прошло. Герцен обращается к будущим поколениям, к потомкам, которые будут жить после великого социально-экономического переворота. Исключительное значение имеет его представление (а это равно и предупреждение) о будущем перевороте как об акте созидательном, богатом художественным смыслом, предполагающем бережное отношение к духовным и материальным («вещам») ценностям, которые созданы за многие тысячелетия человеческой истории, и, конечно, всестороннее и свободное развитие личности и общества: «Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобразное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании и только в пропитании» (20, 581).

«К старому товарищу» — эпилог, завещание Герцена, вершина его политической публицистики. А полемизирует Герцен-реалист все с тем же идеализмом, только с его новой и, как верно подсказало ему на этот раз политическое чутье, наиболее опасной в современной ситуации разновидностью. В публицистике Герцена нет другого политического трактата, в котором принципы его философии, сформулированные в «Письмах об изучении природы», нашли бы столь последовательное и точное применение. Но

³⁸ Позиция Герцена, вне сомнения, больно задевала Огарева. Он противился публикации последних произведений умершего друга, и к его голосу, видимо, прислушался сын Герцена. Однако провокационное послание Нечаева, содержащее ультимативные требования отказаться от печатания цикла «К старому товарищу», побудило А. А. Герцена действовать решительно. Грустное впечатление производят страницы дневника дочери писателя Н. А. Герцен, освещающие эти события. Удручает, что в грязной возне вокруг наследства Герцена принял участие и Огарев, пренебрежительно отзывавшийся об умершем друге, который якобы давно «держался в стороне» от революционного движения в России, «многого просто не знал и не мог судить о теперешнем положении русской молодежи и о том, что они делают» (Лит. наследство. Т. 96. С. 442). Поразила Н. А. Герцен и та легкость, с которой Огарев оправдывал иезуитские правила Нечаева (Там же. С. 443).

в то же время цикл «К старому товарищу» не был простым повторением прежних философских штудий. Реализм и историзм взглядов Герцена, пожалуй, с особой впечатляющей силой выразились в предупреждении «старым товарищам», чьи революционные теории, собственно, построены на песке: «Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с своей македонской фалангой работников, ищут слова и пониманья — и с недоверием смотрят на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию. И заметьте, проповедники не из народа, а из школы, из книги, из литературы. Старые студенты, жившие в отвлеченьях, они ушли от народа дальше, чем его заклятые враги» (20, 589). С этим реалистическим предупреждением адептам всеразрушительных авантюристических революционных теорий тесно связан саркастический вопрос Герцена: «Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?» (26, 585). А также другой вопрос, обращенный в прошлое, к трагическим июньским дням французской революции 1848 г.: «... что было бы, если б победа стала на сторону баррикад?» (20, 576).

В цикле «К старому товарищу» Герцен в ответ на упреки Бакунина и Огарева в перемене воззрений обвиняет их в забвении диалектического метода и антиисторизме, развертывает логически неотразимую критику анархистской теории государства. В сущности, это вдохновенный урок диалектики, преподнесенный революционным метафизикам и романтикам, урок, в котором точность аргументов безукоризненно сочетается с яркими историческими параллелями, неожиданными и острыми сопоставлениями: «Всякая попытка обойти, перескочить сразу — от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью — приведет к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям. Обойти процесс пониманья так же невозможно, как обойти вопрос о силе. <...> Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможно, — дело практического такта, дело революционной стратегии. Идя без оглядки вперед, можно затесаться как Наполеон в Москву, — и погибнуть, отступая от нее ... не доходя даже до Березины» (20, 583). «Власть разума и пониманья», «отвага знания» дают право Герцену не только разбить «старых товарищей» на теоретической почве, но и вынести суровый этический приговор их фантастическим проектам: «Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной» (20, 592).³⁹

Герцен в цикле «К старому товарищу» предал забвению ту

³⁹ См. также: «Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров. . . А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты рядом с дельными» (20, 582).

свою теорию «русского», или «народнического», социализма, о которой с иронией неоднократно отзывался К. Маркс, в сущности относивший Герцена и Бакунина к одной фаланге теоретиков. Огарев, между прочим, упрекал Герцена в эти годы в измене прежним идеалам, а сам сочетал веру в «русский социализм» с анархическими идеями Бакунина. Однако в том-то и дело, что, полемизируя с Бакуниным и Огаревым, Герцен совершенно закономерно порывал и с теорией, пропаганде которой он отдал столько сил и энергии в течение двадцати лет. Процесс логически неизбежный. И только на поверхностный взгляд кажется парадоксальным, что Герцен, которого по праву (наряду с Огаревым) называют идейным вдохновителем народнического движения, в последние годы жизни стал на путь преодоления собственных «народнических иллюзий», на голову в этом неуклонном, хотя и противоречивом, замедленном движении опередив новое поколение революционеров, зачислявших его или в разряд безнадежно устаревших мыслителей, или — в лучшем случае — в пантеон старых вождей.

6

Влияние слова Герцена на развитие русской общественной и литературной мысли XIX—начала XX в. было исключительно велико и многообразно. Его произведения непосредственно и мощно участвовали в формировании мировоззрения нескольких поколений читателей, начиная с 1840-х гг., когда Герцен и Белинский стояли во главе литературного и оппозиционного движения в России. На рубеже 1850—1860-х гг. популярность Герцена — мыслителя и пропагандиста достигла апогея. Свободное слово Герцена в этот во многих отношениях исключительный переломный период способствовало делу великого освобождения и возрождения замороженной Николаем I России. К статьям и заметкам Герцена нервно прислушивались в Зимнем дворце, а в гимназиях и университетах они воспринимались с необыкновенным интересом. Поток лился в Лондон письма соотечественников, ~~да~~ ~~и~~ ~~пр~~ ~~я~~ ~~н~~ ~~у~~ ~~в~~ ~~ш~~ ~~и~~ ~~х~~ в эпоху «вдруг» наступившей гласности. Потянулись и посетители — пестрой и многоликой толпой; иногда являлись просто с тем, чтобы проездом «отметиться» у знаменитости. «Кого и кого мы ни видали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтоб стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит . . . < . . > мы были в моде, и в каком-то гиде туристов я был отмечен между достопримечательностями Путняя», — вспоминал позднее Герцен отшумевшее время «цветения и преуспеяния» (11, 297).

Вспоминал не только Герцен, оставивший в «Былом и думах» яркие и пластичные портреты лондонских посетителей. Вспоминали современники, в сознании которых так называемая «эпоха великих реформ» и свободное слово Герцена слились в единое, нерасторжимое понятие. Герцен был символом новой, возрождаю-

щейся России и полномочным представителем русской революционно-демократической мысли в Европе. Он являлся реальной и авторитетной политической силой, с которой вынуждены были считаться все. «„Колокол“ — власть», — говорил мне в Лондоне, *horribile dictu*, Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу. . . И прежде всего повторяли то же Т<ургенев>, и А<ксаков>, и С<амарин>, и К<авелин>, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П.,⁴⁰ постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на „Колокол“, как будто он был начинен трюфлями. . .», — свидетельствует Герцен (11, 300). И за этим ироническим перечислением бывших друзей, союзников и просто на мгновение примкнувших к *модным* прогрессивным идеям соотечественников и соотечественниц чувствуется гордость человека, осуществившего почти невозможное, — свободным словом *вернувшегося* на родину, заставившего себя слушать и уважать: «Непривычное ухо русское примиралось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность» (11, 300).

Разумеется, столь стремительный взлет на общественном горизонте России политического эмигранта-демократа не мог быть продолжительным. В некотором смысле это было явление и парадоксальное, и модное, хотя и слишком экстравагантна была такая *мода* для общества, привыкшего к цивильным и военным мундирам. Мода прошла с закрытием либерального сезона и вступлением общества и литературы в новую, «фискальную» фазу развития. Многие из посетителей лондонского агитатора совершенно естественно и органично превратились в обскурантов, охранителей и гонителей вольной речи Герцена. Среди них и Катков, ставший, пожалуй, самым неутомимым врагом Искандера, с какой-то слепой яростью «разоблачавшим» герценовские издания в оберфискальных «Московских ведомостях».

Однако это произошло позднее и нисколько не меняет поразительного факта прямого, богатого и освежающего воздействия на внутренние русские дела герценовской пропаганды на протяжении нескольких лет. Факт, признанный не только литераторами и общественными деятелями радикального и либерального направлений, но и консерваторами, даже безупречными ретроgrадами. Так, «князь-точка», обскурант высокой пробы В. П. Мещерский в своих довольно бесцветных и весьма тенденциозных мемуарах свидетельствует: «. . . в военно-учебных заведениях, высших того времени, Герцена брошюры читались, сваливаясь с неба, и я помню, при встречах с юнкерами-сверстниками, разговор о том, что у них классы делятся на герценистов и антигерценистов». ⁴¹

⁴⁰ Боткин.

⁴¹ Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1897. Ч. I (1850—1865 гг.), С. 69.

Свидетельство Мещерского далеко не единственное. Оно стоит в бесконечном ряду других. Совокупность признаний современников дает представление о фантастической, всем ярко запомнившейся популярности Герцена.

Современников волновал феномен Герцена, беспрецедентная «власть» эмигранта и социалиста, перед запретной мыслью которого оказались бессильными пограничные кордоны и полицейские меры пресечения. Незадолго до смерти Герцена анонимный публицист «Биржевых ведомостей» именно как исключительное и загадочное явление расценивал его могущественное влияние на различные слои русского общества, в том числе и на административные: «Одно время в административных сферах просто боялись Герцена. Быть обличенным в „Колоколе“ почиталось ужасным несчастьем не только для „рядового“ читателя, но даже для губернаторов, директоров департаментов и других высших чинов. Происходили вещи необъяснимые в администрации: ненавидели г. Герцена, не уважали его — и его слушались. Известны случаи, что люди через одно недружелюбное слово, сказанное о них Герценом, утрачивали свою репутацию и теряли карьеру».⁴²

Герцен, однако, за эту «историческую» справку публициста «Биржевых ведомостей» благодарить явно не собирался, заподозрив автора в тенденциозном и умышленном искажении фактов, в создании «преувеличенной картины влияния лондонского станка». Его до глубины души возмутила развязная статья анонимного публициста, достойным образом «увенчавшая» затеянную газетой провокационную кампанию. Дело в том, что в русской и зарубежной прессе зимой и весной 1869 г. усиленно циркулировали слухи о намерении Герцена вернуться в Россию. Особенно усердствовали «Биржевые ведомости». В ответ на статью, помещенную в № 44 газеты от 14 февраля 1869 г., Герцен был вынужден послать письмо редактору, в котором заявлял, что «вообще никаких шагов, чтобы возвратиться в Россию, не предпринимал, несмотря на то что возвращение на родину для меня, как для всякого человека, находящегося в моем положении, было бы одним из счастливейших событий в жизни» (20, 517).

⁴² Биржевые вед. 1869. № 73. О том же идет речь и в некрологе Герцена: «Свободная печать Герцена в то время, когда печатное слово в России было скважно, несомненно приносила свою долю пользы, и, кто хотел бы против этого спорить, тому можно напомнить случаи, когда по вопиющим делам начинались следствия единственно по трезвону, поднятому о них в „Колоколе“» (Биржевые вед. 1870. № 27). Обе анонимные статьи в газете И. В. Стоярова атрибутирует Лескову (см.: Лесков и Герцен: (Неизвестные статьи Лескова о Герцене в газете «Биржевые ведомости», 1869—1870) // Лесков и русская литература. М., 1988. С. 165—181). В юбилейной спешке я признал справедливыми доводы исследовательницы (в статье «Вольная речь А. И. Герцена и русская литературная мысль XIX века» — Рус. лит. 1987. № 3). Они мне и сегодня представляются интересными; но многое и смущает, особенно стилистическая разница между первой статьей (1869. № 73) и некрологом (1870. № 27). Думаю, что есть основания предположить принадлежность некролога Лескову; сомнительно, однако, что он является автором всех «герценовских» статей газеты в 1869 г.

«Биржевые ведомости» поместили это письмо Герцена в № 71 газеты от 14 марта 1869 г., но сопроводили публикацию своим комментарием, недобросовестно и злонамеренно искажившим смысл слов автора. Возмущенный поступком газеты, Герцен счел необходимым обратиться с новым письмом (уже к редактору «Голоса»), весьма язвительным и резким: «Я не знаю, чем я мог заслужить такое внимание их («Биржевых ведомостей». — В. Т.): во мне нет ничего биржевого — я их никогда не читаю, кроме исключительных случаев, и, признаюсь, был бы доволен, если б мог как-нибудь охладить их интерес ко мне. Я не стал бы писать об этом, но не могу же я оставить читателей в мысли, что я „Биржевые ведомости” принимаю за государственный институт и ходатайствую через них о праве возвращения. Я вообще не ходатайствую ни о чем, нигде» (20, 556).

На этот раз воля Герцена была выполнена добросовестно: его письмо без всяких редакционных комментариев было напечатано в «Голосе» (1869. 5 апр. № 95). Не успел, однако, Герцен выслать в «Голос» свой протест, как «Биржевые ведомости» отличились еще одной необыкновенно грубой, развязной и провокационной статьей (№ 73), вызвавшей справедливый гнев писателя. Герцен писал Огареву 8 апреля: «Чудеса, да и только — через час после отправления письма и „Бирж(евых) ведомостей” я получил 73 № той же газеты, там статья колонн в 5 ругательств à ton adresse. Это уж за то, что я не возвращаюсь, — между прочим, они говорят, что моему сыну не было препятствий ехать в Россию и что доказательством тому, что оно сохранило мое имя. Далее я представлен каким-то безумным диктатором и шутком. Заметь, что я ничем не вызвал со стороны „Бирж(евых) в(едомостей)” этих статей. Вчера (по несчастью, до получения 73 №) я писал в редакцию „Голоса” несколько сухих строк с просьбой поместить. Придется писать длинный ответ» (30, 78—79).

Герцен «длинный ответ» написал и в нем дал резкую отповедь провокаторам. Особенное негодование Герцена вызвало карикатурное и злобное изложение публицистом «Биржевых ведомостей» некоторых фактов его жизни и глумливый тон статьи: «Рожденный в эпоху нашествия французов на Россию, г. Герцен созрел для действия в ту пору, когда слово в России было сковано и за какие-нибудь задирательные стишки или за шаловливую песенку людей посылали в ссылку как за государственное и криминальное преступление. Раз г. Герцен, подкутив с товарищами на какой-то пирушке, спел весьма глупую песенку, впоследствии напечатанную им в одной из книжек его „Полярной звезды“. За это пение г. Герцена в числе прочих взяли на съезжую, а потом послали в Вятку, где он служил у местного губернатора, был членом губернского общества, мечтал в огромном саду своей квартиры о своем будущем величии и не без успеха ухаживал за дамами, а потом назвал всю эту эпоху своей жизни эпохой „Тюрьмы и ссылки“ и, поставив в Лондоне печатный русский станок, со-

чинил обо всем этом иеремиаду, которая пробралась контрабандным путем в Россию и имела здесь свой успех».

Герцен с отвращением ознакомился с таким пересказом своей жизни, освещенным «сальным огарком передней», воздав должное намерениям, источникам информации и стилю «биржевого соловья» и «следопроизводителя»: «Каким же образом мой биограф, так пристально читая „Былое и думы“, что не забыл ни вятских дам, ни сад при квартире, он *игнорирует*, что я никогда, ни на какой пирушке, не пел, подгулявши, никакой песни. И что дело студентского праздника, устроенного подлым агентом неблагородного правительства Скареткой, — была полицейская ловушка, на которую мы не попались и все-таки были сосланы. Я протестовал против этой лжи в присутствии всей комиссии, судившей нас. Все это очень неважно, давно забыто — но не могло быть неизвестно человеку, принявшемуся рассказывать в карикатуре мою жизнь. На каком основании биограф или следопроизводитель поверил больше полицейской версии, чем моей, — не потому ли, что он с полицией дружнее, чем со мной?» (20, 558).

Герцен не опубликовал отповеди «биржевому соловью», хорошо понимая, что в русской печати это было невозможно, а в европейской не имело смысла и могло лишь вызвать очередные инсинуации «Биржевых ведомостей». ⁴³ К тому же его вполне удовлетворила публикация письма в «Голосе», а продолжение полемики с «Биржевыми ведомостями» невольно способствовало бы популяризации газеты, в чем Герцен, разумеется, не был заинтересован. Отношение же к домыслам газеты Герценом в сухих строках письма было выражено достаточно отчетливо. К тому же Герцена удовлетворила возможность прямо объясниться с русским читателем в одной из самых популярных газет, пусть даже и по такому частному поводу. «Насчет просьбы о помиловании — *никто не поверит* — да я же об этом и скажу. А что Россия читающая будет знать, что я страстно хочу возвратиться, но не возвращусь бесчестно — это мне выгодно», — разъяснял Герцен свою позицию в письме к Огареву (30, 86). Что же касается памфлетных статей в «Биржевых ведомостях», то сам факт появления их Герцен считал симптоматичным и в определенном («отрицательном») смысле полезным, так как они «совершенно противоположно действуют на публику» (30, 79).

Некролог Герцена, опубликованный «Биржевыми ведомостями», несомненно, разительно отличается от серии карикатурных статей 1869 г. И он, действительно, скорее всего принадлежит Лескову, отражая его отношение к литературной и политической деятельности Герцена, — отношение весьма противоречивое и сложное, но тем не менее далеко не враждебное.

У Лескова, этого нетипичного шестидесятника, отношения с революционно-демократическим лагерем сложились драматич-

⁴³ Сохранилась и газетная вырезка «карикатурной» статьи с пометами Герцена (Лит. наследство. М., 1955. Т. 62. С. 824—825).

но. Он, как и очень многие публицисты и литераторы, с удовлетворением воспринял конфликт между Герценом и «Современником» и охотно использовал в своих полемических заметках тезисы и определения из статей «Very dangerous!!!» (1859), «Лишние люди и желчевики» (1860). Но Лесков считал Герцена повинным в развращающем влиянии на молодое поколение. Ему представлялась наивной и кабинетной теория «русского социализма» Герцена, и уж само собой в русском расколе он не видел никакой потенциальной революционной силы. Одновременно Лесков не разделял негативного отношения к Герцену Каткова, хотя не мог и объективно оценить деятельность великого эмигранта. Чувствуется некоторая растерянность в его некрологе Герцена. Традиционность присущих этому жанру торжественных формул лишь оттеняет неспособность Лескова осмыслить такое большое, сложное историческое явление русской и европейской литературы, как деятельность Герцена: «Надо перемерить гарнец до зерна, проверить поприще до стадии. Кто же возьмется это сделать для только что умершего Герцена, человека во всяком случае необыкновенного, потому что он один силою своей воли и своих дарований (употребленных так или иначе) заставил говорить о себе и Россию и Европу, и говорить и много и долго . . . < . . . > Суд над Герценом нашими общественными людьми был произнесен тысячекратно, но едва ли то когда-нибудь был суд правильный. Герцена то безусловно хвалили, то безусловно порицали, а он не стоит ни того ни другого. Он был человек больших дарований и громадной неопытности; человек страстных симпатий и самых упрямых антипатий, он был сын мира, работающий вражде; фанатический верователь, размененный фальшивыми монетчиками на грошовое безверие. Худо и добро в нем мешались. Человек бо был, и все человеческое ему было не чуждо».⁴⁴

Статья Лескова полемически заострена против появившихся в русских газетах некрологов, в которых одобрительно упоминались статьи Каткова, положившие конец «умственному террору» Герцена, и в благонамеренно-верноподданническом духе осмыслялась эволюция Герцена после 1862 г.: «Для русского общества Герцен умер давно, с тех пор как в трудную для России минуту открыто стал на сторону наших противников».⁴⁵ Лескова справедливо возмутила такая жалкая, благонамеренная, трусливая газетная панихида по Герцену. Авторам некрологов не удалось, по его верному заключению, ни выяснить «личность покойного Искандера», ни рассеять «тучи осуждений, павших на его голову после долгого его господства над умами в России. . .».

Не под силу, впрочем, оказалось сделать это и Лескову. Не смог он удержаться от «суда» над Герценом и особенно над его

⁴⁴ Биржевые вед. 1870. № 27.

⁴⁵ Голос. 1870. № 18. Обзор некрологов Герцена, появившихся в русских газетах и журналах, см.: *Перкаль М. К.* Отклики русской печати на смерть А. И. Герцена // *Общественная мысль в России XIX в.* Л., 1986. С. 108—127.

ретивыми последователями в России (правда, сделал он это в тактичной, сдержанной форме). На скорую руку в самых общих чертах уравнивая «положительное» и «негативное», «худо» и «добро» в деятельности Герцена, Лесков смущенно замолкает. Несомненно длительный опыт плавания «против течений» наложил субъективно-личностный отпечаток на отношение Лескова к Герцену.⁴⁶ В том же 1870 г. и в той же газете печатается очерк-памфлет Лескова «Загадочный человек», в котором он зло иронизирует над словами Герцена из статьи «Lettre à N. Ogareff (Письмо к Н. Огареву)» (1868): «Что касается большей части наших самых дорогих убеждений, то уж мы сто раз высказывали их и повторяли; вокруг них образовалось неизменное ядро. Есть молодежь, так глубоко, так бесповоротно преданная социализму . . . что бояться нечего — идея не погибнет». Лесков всем содержанием очерка пытается доказать наивность и иллюзорность убеждения Герцена. Более того, он упрекает Герцена в неискренности и нежелании признать свое «поражение», свою «ошибку»: «Опубликованные посмертные записки Герцена показали, что у него недоставало смелости сознаться, что он ошибся и что „поколения бесповоротно социалистического“ на Руси нет, а Скотинины, Чичиковы и Ноздревы живы».⁴⁷ Суждение тенденциозное и несправедливое, но, конечно, неслучайное, важным составным элементом входящее в общее представление Лескова о «комическом времени». К сожалению, бесконечная тяжба Лескова с «нигилистами» помешала ему объективно и беспристрастно отнестись к деятельности учителя Артура Бенни. Здесь была черта, которую Лесков по очень многим причинам перейти не мог. Даже позднее, когда полемическая буря 1860-х гг. отошла в историческое прошлое (правда, недавнее) и радикально переменился сам Лесков, с энтузиазмом откликнувшийся на деятельность Толстого, — единственной, с точки зрения писателя, личности на общественно-литературном горизонте России и Европы, несущей слово возрождения и спасения. Ориентация Лескова на Толстого (весьма, разумеется, свободная) была жизненно необходима Лескову, помогала самоопределиться. И она как бы отодвигала в прошлое изнурительную и с годами становившуюся все более бессмысленной борьбу с последователями и учениками Герцена, к которому он и пытался одно время отнестись спокойно и беспристрастно, да не смог.

Толстой вывел Лескова из тупика, в котором долгое время пребывал автор статей о петербургских пожарах и злосчастного романа «Некуда», высоко ценимого, по свидетельству А. И. Фаресова, художником и мыслителем из Ясной Поляны. Герцен был неотделим от мрачного периода жизни, о котором Лескову было

⁴⁶ Однако творчество Герцена 1840-х гг. Лесков постоянно оценивал очень высоко, признавая гуманистическое и просветительское значение философских, художественных, публицистических произведений автора «Капризов и раздумья», «Кто виноват?», «Писем об изучении природы» в «глухую пору» николаевской реакции.

⁴⁷ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 3. С. 380.

тяжело вспоминать и тем более беспристрастно судить. Вот отчасти почему Лесков, ранее как публицист «Северной пчелы» и «Биржевых ведомостей» много и часто писавший о Герцене,⁴⁸ в 1880—1890-х гг. так редко упоминает легендарного Искандера. И напротив, Толстой, авторитет которого так много значил для Лескова, собственно только после смерти Герцена открывает в нем гениального мыслителя и художника.

Весьма вероятно, что в этом движении Толстого к Герцену видную роль сыграла монография Страхова, первоначально, в 1870 г., публиковавшаяся в почвенническом журнале «Заря» в виде отдельных статей. Толстой далеко не сразу оценил труд критика о Герцене, хотя, находясь в дружеских отношениях со Страховым, он регулярно читал книжки «Зари».⁴⁹ Страхова, должно быть, такое равнодушие задело, и он в письме к Толстому от 26 ноября 1873 г. настоятельно рекомендовал ему прочесть по многим причинам особенно дорогую ему работу о Герцене: «Статьи о Герцене удивляли своей верностью понимания тех, кто лично знал Герцена и любил его . . .».⁵⁰ Но Толстой отнесся с иронией к этой слишком откровенной саморекламе. Ни Герцен, ни статьи о нем в этот период положительно не интересовали Толстого, который вообще относился к журнально-газетной критике отрицательно, о чем свидетельствуют, в частности, и его письма Страхову. А с Герценом Толстой «раскланялся» еще в 1862 г., когда был учинен обыск в Ясной Поляне, парадоксальнейшим образом настроивший Толстого как против правительства, так и против подрывной пропаганды. С раздражением и не без эпатажа он писал А. А. Толстой: «. . . я имею злобу и отвращение, почти ненависть к тому милому правительству, которое обыскивает у меня литографские и типографские станки для перепечатывания прокламаций Герцена, кот (орые) я презираю, кот (орые) не имею терпения дочесть от скуки. Это факт — у меня раз лежали неделю все эти прелести, прокламации и „Колокол“, и я так и отдал, не прочтя. Мне это скучно, я все это знаю и презираю не для фразы, а от всей души».⁵¹ Гнев против правительственных «разбойников» усилил отвращение Толстого к политике вообще, а Герцен в его представлении был прежде всего политическим публицистом. Толстой высказывает желание (почти угрозу) покинуть страну, в которой он не защищен от грубого произвола, бежать «от этих разбойников с вымытыми душистым мылом щеками и руками». Однако и от Герцена он отрешивается: «К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, а я сам по себе. Я и прятаться не стану,

⁴⁸ См.: *Видуэцкая И. П.* Лесков о Герцене // Проблемы изучения Герцена. М., 1963. С. 300—320.

⁴⁹ В том числе, разумеется, и работы Страхова. На одну из них (статью «Женский вопрос») он откликнулся письмом-рецензией.

⁵⁰ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. М., 1914. С. 37.

⁵¹ *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1949. Т. 60. С. 429. Далее ссылки на это издание (М., 1928—1959) приводятся в тексте в такой форме: Т, 60, 429 (первая цифра обозначает том, вторая — страницу).

я громко объявляю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду» (Т, 60, 436).

Толстой, действительно, к Герцену не поедет. И его встречи с Герценом в Лондоне были отодвинуты в дальний ящик памяти. «Позабыл» Толстой и когда-то очень ему понравившуюся «етюду» «Роберт Оуэн». Все это (и другое) было изъято, отброшено и вновь воскресло, когда у Толстого возникла острая потребность в произведениях Герцена, постепенно открываемого им заново. Но в 1873 г. это время еще не пришло — и Толстой просто отмахнулся от советов Страхова, как от досадной ерунды, «политики», отвлекающей от настоящего дела. Не хотелось и ворошить старое, некогда доставившее Толстому большие неприятности. Ссылка же Страхова на авторитетные мнения могла лишь раздосадовать Толстого — тут он уже принципиально не пожелал уважить самолюбие критика еще одним одобрительным отзывом о его статьях.

Но Толстой ошибся. Монография Страхова принадлежит к наиболее талантливым и ярким работам критика. Страхов с полным правом мог гордиться и статьями о Герцене, и отзывами о них современников, среди которых прежде всего следует назвать Достоевского, живо откликнувшегося уже на первую статью, появившуюся в журнале «Заря». С главными идеями и почвеннической философией Страхова Достоевский был солидарен. Но Достоевский очень тактично указал и на самое уязвимое место в работе Страхова: противопоставление Герцена — политического публициста Герцену — литератору и философу. Герцен, считает Достоевский, явление цельное, неделимое.

Воздействие на Достоевского концепции Страхова, пожалуй, преувеличено в научной литературе.⁵² За вычетом некоторых общих почвеннических идей, взгляд Достоевского на творчество и личность Герцена во многом иной. Точка зрения Достоевского преимущественно сословно-антропологическая и эстетическая. Герцен, в представлении автора статьи «Старые люди», — «тип исторический», в котором ярко выразился «разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия»: «... он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно чрез разрыв с родной землей и с ее идеалами».⁵³ Во всем *поэт*, прежде всего «*gentilhomme russe et citoyen du monde*», «урожденный» эмигрант и вечный скиталец — необыкновенно сжатая, энергичная, состоящая из сплошных «формул» схема-концепция. Здесь есть точки соприкосновения со взглядом Страхова, но преобладает свое объяснение главной сущности деятельности Герцена, родившееся в полемике с основными тезисами коллеги по почвенническим

⁵² Особенно в статьях А. С. Долинина, а также в комментариях к роману «Подорожник» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 17. С. 288—290).

⁵³ Там же. Л., 1980. Т. 21. С. 9.

журналам. Схема здесь набросана Достоевским начерно, при-
близительно. В дальнейшем она будет диалектически развита
и уточнена: образ «высшего русского скитальца» в художествен-
ных и публицистических произведениях Достоевского несомненно
ориентирован на «исторический тип» Герцена.⁵⁴

В 1882 г. вышел первый том книги Страхова «Борьба с За-
падом в нашей литературе», куда он включил и статьи о Герцене.
Книгу критик прислал Толстому и наконец-то дождался оценки
своей работы: «Статьями о Герцене я б(ыл) восхищен, статьей
о Милле удовлетворен, но статьями о Коммуне и Ренане не удов-
летворен. Позитивисты говорят, что то, о чем люди думают и всегда
думали, — пустяки и не надо о том думать. Они не имеют права
этого говорить и выходят из затруднения, отрицая его. Это не-
правильно. Вы делаете то же, но хуже. Вы отрицаете не то, что
думают, — а то, что делают люди. Вы говорите — они делают
вздор. Задача в том, чтобы понять, что и зачем они это делают.

Этим мне не понравилась ваша книга. Простите не за правду,
а за правдивость» (Т, 63, 93).

В основном Толстой отнесся к книге Страхова критически, что
побудило последнего разъяснить природу своего негативного от-
ношения к нигилизму, позитивизму, Парижской коммуне. Допол-
нительные пояснения Страхова не только не удовлетворили Тол-
стого, но и заставили его в очень резкой форме высказать, почему
он считает точку зрения критика глубоко ошибочной: «Я говорю,
что отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее. Вы
повторяете, что отрицаете отрицание. Я повторяю, что отрицать
отрицание значит не понимать того, во имя чего происходит отри-
цание. Каким образом я оказался с вами вместе, не могу понять.

Вы находите безобразия, и я нахожу. Но вы находите его
в том, что люди отрицают безобразия, а я в том, что есть безобра-
зия» (Т, 63, 94—95).

Таким образом, Толстой подтвердил свое одобрение (до не-
которой черты) статьи «Женский вопрос» и «восхитился» во всей
книге Страхова только статьями о Герцене, что, на первый взгляд,
кажется непоследовательным. Ведь там, как и в других частях
книги, ясно заявлено отрицательное отношение критика к по-
зитивизму, либерализму, нигилизму, революции, не говоря уже
о «почвеннических» идеях Страхова, к которым Толстой был
настроен непримиримо.⁵⁵ Совокупность всех высказываний поз-
днего Толстого о Герцене — мыслителе, художнике, пропаганди-

⁵⁴ Большая и многосоставная тема «Достоевский и Герцен» давно привлекает
внимание ученых и публицистов. Из работ, посвященных ей, представляется наибо-
лее значительной статья С. Д. Лишинер «Герцен и Достоевский. Диалектика ду-
ховных скитаний» (Рус. лит. 1972. № 2. С. 37—62), в центре которой анализ кон-
цепций мира и человека у Достоевского и Герцена.

⁵⁵ С вызовом и хорошо зная, что это задевает Страхова, он писал ему в марте
1872 г.: «Народность славянофилов и народность настоящая две вещи столь же
разные, к(ак) эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу
все эти *хоровые начала и строи жизни, и общины, и братьев славян*, каких-то
выдуманных...» (Т, 62, 278).

сте убедительно свидетельствует, что он был «восхищен», собственно, не почвенническо-антинигилистической концепцией Страхова, а самим Герценом, произведения которого критик увлеченно и широко цитировал. Видимо, именно мысли Герцена, автора «Былого и дум», «Концов и начал», «С того берега», поразили Толстого и заставили пересмотреть некогда сложившееся мнение о нем как о тенденциозном политическом журналисте, издателе «скучного» «Колокола».

Страхову чрезвычайно дорого было то, что он называет «главным открытием» Герцена: «С неотразимой силою в нем вкоренилось убеждение, что Запад страдает смертельными болезнями, что его цивилизации грозит неминуемая гибель, что нет в нем живых начал, которые могли бы спасти ее». ⁵⁶ С «главным открытием» связан диагноз критика: «Герцен — один из поразительнейших примеров русской понятливости и дурного влияния Запада». ⁵⁷ Страхов так оценивает «пессимизм» и «отчаяние» Герцена: «Это первый наш западник, *отчаявшийся в Западе* и, следовательно, потерявший всякую руководящую нить, человек, обратившийся к Западу за мудростью, за нравственным идеалом и после долгих и усердных исканий убедившийся, что Запад ничего прочного дать ему не может». ⁵⁸

Подробно и с особенным акцентом пишет Страхов о «вере» Герцена в Россию, которая, убежден критик, «носит на себе отпечаток славянофильства». ⁵⁹ Под национальным углом зрения интерпретирует Страхов и «нигилизм» Герцена: «Это был нигилизм в самом чистом своем виде, в наилучшей и наиболее благороднейшей своей форме. Это было вольнодумство до того страшное, резкое, сознательное, последовательное, что оно (. . .) переходило в воззрения прямо противоположные, почти равнялось отречению от всякого вольнодумства». ⁶⁰ Нигилизм Герцена, по Страхову, «есть одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сер-

⁵⁶ *Страхов Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 45.

⁵⁷ Там же. С. 64.

⁵⁸ Там же. С. 83. В одном мире (Западе) разочаровался, а другого (России) не знал: отсюда естественный, по Страхову, «крах» Герцена. Да и как могло быть иначе, если «Герцен *никогда не имел никакой программы действий*, так как не имел никаких ясных целей, никаких твердых принципов, которыми могла бы определяться его деятельность. При его взглядах, при безнадежном отрицании всех начал, он не мог иметь даже никакого побуждения к деятельности, не мог найти в своей душе никаких положительных стремлений» (Там же. С. 84). Такое «признание» заслуг Герцена, пожалуй, мало отличается от откровенной брани в изданиях Каткова.

⁵⁹ Там же. С. 100. Здесь у Страхова было немало союзников, и не только среди современников. И. В. Порох в статье «А. И. Герцен — основоположник теории „русского социализма“» справедливо оспаривает попытки «некоторых советских исследователей (. . .) усмотреть в идеологии славянофилов элементы христианского или даже консервативного социализма. Русские социал-утописты, и в том числе Герцен, совершенно иначе смотрели на общину, чем славянофилы. Для Герцена община — эмбрион, зародыш будущего бессловного строя России. Община приобрела для него смысл лишь после того, как он внес в нее социалистическое содержание» (Идеи социализма в русской классической литературе. С. 153).

⁶⁰ *Страхов Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. С. 113.

дца». ⁶¹ Закономерен и итог, в котором явственно ощутимо торжество почвеннических идей: «*Отчаявшийся западник превратился в нигилистического славянофила, а во многих отношениях оказался истинно русским человеком*». ⁶²

Почвеннический энтузиазм Страхова не мог заинтересовать Толстого, равнодушного к спорам «западников» и «славянофилов». Толстого привлекли особое, независимое положение Герцена в борьбе идей века, недогматическая форма изложения его мыслей. Страхову было в Герцене дорого *отрицание европейских начал* (они же и *концы*). Толстой смотрел глубже, не обнаруживая в творчестве Герцена пессимизма и нигилистического отречения ни от своего, ни от европейского. Толстому показалось отчасти справедливым и любопытным, судя по всему, следующее рассуждение Страхова: «... Герцен имел величайший успех, и вместе с тем никто не разделял его мнений, никто не обдумывал его взглядов. Лучшая его книга „С того берега“ прошла бесследно для умов, хотя была затаскана и истрепана руками бесчисленных почитателей». ⁶³ Толстой, правда, решительно не согласился с благонамеренным объяснением, которое Страхов дал столь удивительному невниманию русских читателей к «чудесам остроумия и глубокомыслия» в произведениях Герцена.

Толстой не просто вносит существенные поправки в объяснения и рассуждения Страхова. Он безоговорочно отбрасывает ложную мысль критика: «Можно смело сказать, что до сих пор мысли Герцена, его философские и исторические взгляды — совершенно неизвестны нашим читателям, и в этом виноваты не правительственные запрещения, а виноват сам Герцен, виновато странное настроение нашей публики». ⁶⁴ С точки зрения Толстого, обвинять в таком ненормальном положении публику и тем более Герцена в высшей степени нелепо. Никакой вины Герцена он вообще не видит. Вина, настойчиво и многократно повторял Толстой, лежит на тех правящих «разбойниках», которые изъяли слово Герцена из русской жизни, тем самым нанеся ей огромный и невозполнимый урон. Так, Толстой писал 9 февраля 1888 г. В. Г. Черткову: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный, если не выше, то, уж наверно, равный нашим писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. (<...> Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита, и убийств, и вилл, и всех расходов, усилий тайной полиции, и всего того ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь. И хороший, искренний человек. (<...> Оттого, что человек этот говорит о правительстве правду, говорит,

⁶¹ Там же. С. 122.

⁶² Там же. С. 137.

⁶³ Там же. С. 48.

⁶⁴ Там же.

что то, что есть, не есть то, что должно быть, опыт и слова этого человека старательно скрывают от тех, к(оторые) идут за ним? Чудно и жалко» (Т, 86, 121—122).⁶⁵

Совершенно очевидно, что осмысление Толстым деятельности Герцена тенденциозно и односторонне. Он, как и почвенник Страхов, превращает Герцена в своего идейного союзника. Но в отличие от Страхова Толстой с несомненной симпатией относится к критическому началу в творчестве Герцена. Не забыл Толстой и некогда сильно разгневавший его эпизод полицейского произвола в Ясной Поляне. Но теперь эта двадцатипятилетней давности история предстала в ином освещении — как одна из ярких иллюстраций преследования свободного слова, любого инакомыслия. Очевиднее стала видна близорукость тех, кто идею произвола и гонения сделал главным принципом внутренней государственной политики. Статьи Страхова пробудили интерес Толстого к Герцену. Но восхищение ими постепенно и неизбежно переросло в полемику с почвенническими и благонамеренными идеями критика. Н. Н. Ге и В. В. Стасов, люди из ближайшего окружения Толстого, заразили его своим восторженным отношением к Герцену.⁶⁶ И в приближении Толстого к Герцену их мнения и оценки сыграли несравненно бóльшую роль, чем статьи Страхова, дававшие весьма узкую и тенденциозную схему. Чрезвычайно показательно, что на рубеже веков Толстому представлялось ценным и пропагандистское искусство Герцена. Если в 1882 г. Толстой с раздражением отмахнулся от «прокламаций» «Колокола», то в 1899 г. он так инструктировал Черткова, выпускавшего в Лондоне «Листки свободного слова»: «Нужно быстро и бойко, по-герценовски, по-журнальному, писать о современных событиях. А вы добросовестно исследуете их, как свойственно исследовать вечные вопросы» (Т, 88, 179). Метаморфоза логически неизбежная и все же поразительная. Толстой, советующий писать быстро, по-журналистски оперативно, приводящий в образец стиль «прокламаций» (т. е. злободневных заметок и реплик) Герцена, — это уже не Толстой, удаляющийся в литературно-семейную жизнь Ясной Поляны, а учитель и пропагандист, политический деятель, озабоченный эффективным воздействием своего слова на массы современных читателей.

Толстой, бесспорно, свободно использовал то, что было близко ему в произведениях Герцена. И когда требовалось в интересах пропаганды учения внести необходимые изменения или экспрессивные уточнения в цитируемые тексты Герцена, Толстой, нимало не смущаясь произвольностью такой операции, осуществлял

⁶⁵ И через небольшой промежуток времени о том же в письме к Н. Н. Ге: «Все последнее время читал и читаю Герцена. <...> Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган» (Т, 64, 151).

⁶⁶ Подробнее об этом см. в книге С. А. Розановой «Толстой и Герцен» (М., 1972. С. 130—152).

ее. Толстой постоянно осовременивает мысли Герцена, применяя их к состоянию дел в России и мире на рубеже веков. В отличие от Достоевского, сосредоточившегося на выяснении исторического значения деятельности и личности Герцена, Толстой обнажает злободневность и подчеркивает пророческое звучание мыслей создателя «Былого и дум», «С того берега», цикла «К старому товарищу». В глазах Толстого, Герцен великий мыслитель и художник, стоявший выше узкопартийных споров «западников» и «славянофилов», проницательный диагност болезней века, отчетливее других своих современников указавший на необходимость кардинального обновления России, Европы, всего мира: «... невозможность продолжения жизни на прежних основах и необходимость установления каких-то новых форм жизни» (Т, 28, 285).

Исключительный интерес позднего Толстого к произведениям Герцена⁶⁷ носил во многом личный характер, отразил идеологические убеждения и эстетический вкус Толстого — мыслителя, художника, вероучителя, пропагандиста. Но он был и одним из ярчайших проявлений постепенного и все нарастающего, достигшего кульминации в начале XX в. постижения истинного значения творчества и деятельности Герцена, которого буквально открывали заново. Горький опирался уже на сложившуюся и окрепшую традицию, когда писал: «В Герцене заключен весь Михайловский, Герцен дал все основные посылки народничества — на протяжении целых 50 лет русское общество не выдумало ни одной мысли, незнакомой этому человеку... Он представляет собой целую область, страну, изумительно богатую мыслями...». ⁶⁸

⁶⁷ Это обстоятельство не прошло мимо внимания авторов первых научных монографий о Герцене. Алексей Н. Веселовский сопоставлял «Записки одного молодого человека» с «Детством» (*Веселовский А. Герцен-писатель: Очерк. С. 34—35*). «Смелый скептицизм Герцена не превзойден ни одним русским писателем, только Лев Толстой идет рядом с ним, подрывая самые глубокие основы традиции и отживающего социального строя», — писал В. Е. Чешихин-Ветринский в книге «А. И. Герцен» (СПб., 1908. С. 217). Обе книги были внимательно прочитаны Толстым. Многие современники, принадлежавшие к окружению Толстого, охотно сопоставляли его с Герценом. Особенно часто это делал В. В. Стасов в письмах к брату, Толстому, Т. Л. Толстой. Похоже, что такое ставшее традицией сближение с Герценом несколько беспокоило и тревожило Толстого. Чертку он писал 23 декабря 1901 г.: «Ваш листок „Свободное слово“ мне очень понравился. Боюсь, что такое впечатление (...) он производит на меня, кот(орому) все, что он содержит, особенно близко. Интересно, какое он производит впечатление на людей, чуждых нам. Сколько я замечал, всегда делают сравнение с „Колоколом“ Герцена и не могут привыкнуть к тому, что основы другие» (Т, 88, 252—253). Весьма красноречивое признание.

⁶⁸ Горький М. История русской литературы. М., 1939. С. 205—207. С этими словами Горького существенно перекликаются выводы Е. В. Аничкова: «Все славные лозунги русского революционного движения до самой „Народной воли“ провозглашены Герценом (...). Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же и „Земля и воля“ и „хождение в народ“ (...). Провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мнутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения...» (*Аничков Е. В. Две струи русской общественной мысли: Герцен и Чернышевский в 1862 г. // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1930. Вып. 1. С. 234—235*).

Популярность Герцена в России и при жизни была велика, а одно время (и это запомнилось всем), когда его называли «политическим вождем» страны, исключительно велика. И все же подлинное открытие страны «Герцен» состоялось после его смерти, чему немало способствовал знаменитый «Сборник посмертных статей Александра Ивановича Герцена», на который сразу же и очень живо откликнулись Страхов, Лесков, Достоевский и многие другие. Статьи Страхова ради справедливости здесь следует особенно выделить. Именно они стали в силу ряда причин отправной точкой на длинном и трудном пути узнавания, открытия Герцена, объектом пристального внимания Достоевского, Толстого, Г. И. Успенского («Власть земли»). Мотивы осуждения революционной и пропагандистской деятельности Герцена в статьях Страхова самые неинтересные и шаблонные.⁶⁹ Само это осуждение в немалой степени было благонамеренным маневром. По сути же Страхов предлагал современному читателю взглянуть на литературную деятельность Герцена не сквозь памфлетно-карикатурную призму статей «Московских ведомостей» Каткова, а с иной, гораздо более высокой точки зрения. Независимо от намерений критика его статьи пропагандировали запрещенные произведения Герцена (даже тенденциозно подобранные обширные цитаты прочитывались как бы помимо тенденции). Сочувственно воспринималась современниками и попытка Страхова понять «нигилизм» Герцена «как одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца».⁷⁰ И еще более важным было признание Страховым огромного влияния Герцена на развитие русской общественно-литературной мысли: «Перечитывая Герцена, можно с величайшим изумлением убедиться, что множество мыслей, впоследствии вошедших в оборот в русской литературе, были высказаны в первый раз им. (. . .) Находились люди чуткие и умные, для которых намеки и беглые заметки Герцена не пропадали даром, которые усваивали себе эти часто блистательные про-

⁶⁹ Отрицательно к этой деятельности относился и Достоевский, с удовольствием отмечавший колебания и сомнения лондонского пропагандиста и упрекавший Герцена в преступном легкомыслии, с которым тот посылал в 1863 г. воззвание к русским революционерам, «не веря полякам и зная, что они его обманули. . .» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 9). «Политические заблуждения» Герцена мягко осуждал и Гончаров в статье «Милльон терзаний», одновременно, впрочем, цenia разящий смех Герцена, преемника Чацкого и декабристов: «. . .вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого» (*Гончаров И. А.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. С. 33). Своеобразно воспринял Гончаров и публикацию посмертных произведений Герцена, позволивших провести резкую грань между ним и новыми Репетиловыми: «И Герцен страдал от „милльона терзаний“, может быть всего более от терзаний Репетиловых его же лагеря, которым у него при жизни недостало духа сказать: „Ври, да знай же меру!“ Но он не унес этого слова в могилу, сознавшись по смерти в „ложном стыде“, помешавшем сказать его» (там же).

⁷⁰ *Страхов Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. С. 122.

блески и потом развили их и присоединили к запасу своих мыслей». ⁷¹

Страхование, должно быть, относится к «чутким и умным» литераторам почвенников Ап. Григорьева, Достоевского, Н. Я. Данилевского, а также Тургенева. И он, конечно, прав: мысли Герцена, действительно, оказали самое разнообразное воздействие на творчество виднейших русских прозаиков, поэтов, публицистов, философов. Масштаб этого могучего, хотя и подспудного, влияния Герцена на общественно-литературную мысль России по-настоящему был оценен лишь после смерти писателя. Поразительно, что даже Тургенев, которого столь многое связывало с Герценом, ⁷² только позднее по-настоящему осознал, что значит Герцен для него и для русской литературы: «... остроумнее — и умнее (две вещи разные, не всегда совместимые) — у нас писателя не было. И сколько искренности и теплоты при всем фейерверочном блеске! Никто у нас его не заменил — да и мы и не идем по той дороге». ⁷³

«Я ни у кого уже потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей...» — вспоминал Толстой о лондонских встречах с Герценом, и эти слова почти буквально совпадают с мнением Тургенева. ⁷⁴ В. П. Боткин был восхищен и покорен мощью и глубиной книги Герцена «С того берега», удивительным и редким искусством, с которым тот осветил в ней сложнейшие философские и исторические вопросы: «Это превосходно! Под этим бы Дидро подписал свое имя. (<...> Никогда еще глубочайшие проблемы жизни и истории не были поставлены с такою неумолимою яркостью и упорством, и никогда еще содержание, доступное только самой отвлеченной диалектике, не принимало таких простых, общепонятных форм...». ⁷⁵ Вообще о неповторимом сочетании ума и остроумия, глубины и блеска мыслей Герцена — писателя и собеседника современники вспоминали с впечатляющим и трогательным единодушием. Ищущая диалектика, эмоциональный порыв, энциклопедический диапазон сравнений, эстетическое изящество мысли Герцена буквально гипнотизировали, завораживали, заражали слушателей и читателей. Порой

⁷¹ Там же. С. 125.

⁷² Философско-идеологические споры Герцена и Тургенева, растянувшиеся на два десятилетия, несомненно одна из самых значительных страниц русской классической литературы. «Дым» и «Довольно», «Концы и начала» и статьи обоих писателей по поводу «Отцов и детей» — это лишь наиболее зримые и весомые плоды диалога двух крупнейших представителей русской литературы в Европе. Равным образом и переписка Тургенева и Герцена, по верному наблюдению Л. С. Радека, «представляет, по существу, непрерывный драматический диалог-поединок по важнейшим вопросам общественного развития, философии, искусства, назначения человека» (Радек Л. С. Герцен и Тургенев: Литературно-эстетическая полемика. Кишинев, 1984. С. 113).

⁷³ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Л., 1967. Т. 12, кн. 2. С. 117.

⁷⁴ Сергеев П. Толстой и его современники. М., 1911. С. 13.

⁷⁵ Лит. наследство. Т. 62. С. 45.

этот фейерверочный блеск даже казался чрезмерным, слишком ярким, — утомлял и слепил. «Способность к поминутным неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во-первых, тонкой наблюдательностью, а во-вторых, и весьма значительным капиталом энциклопедических сведений, была развита у Г(ерцена) в необычайной степени, — так развита, что под конец даже утомляла слушателя», — писал Анненков.⁷⁶

Напряженный, исключительно динамичный, ассоциативно насыщенный, патетико-иронический, насквозь метафоричный, эмоционально окрашенный стиль Герцена, прирожденного оратора и политического вождя, философа и «поэта», воспринимался как праздничное и незабываемое событие, подаренное судьбою и оставившее неизгладимый след в памяти. «Ах, какой это был человек, несравненный и невообразимый, — если даже оставить на секунду в стороне воспоминание о его гениальности, — чарующий и привлекающий, как сон какой-то блаженный», — восторженно вспоминал перед смертью В. В. Стасов о своих встречах с Герценом.⁷⁷ Неповторимое своеобразие речи Герцена запомнилось и Шелгунову: «В разговоре он был такой же, как и в статьях, с той же вечно наготове шпилькой и такой же умный. Герцен быстро переходил от одного предмета к другому, электризовал мысль собеседника, не давая ей покоя, поднимал ее, заставлял идти вперед. Разговор его был самый разнообразный, как блестящий калейдоскоп, — и современные вопросы, и освобождение крестьян, и будущие русские реформы, и эпизодически какой-нибудь остроумный анекдот, и Виктор Гюго, и Гете, и философия, и история, и политика. Герцену можно было бы сказать: „С вами ходить точно по краю пропасти; у непривычного могла закружиться голова“». ⁷⁸ Герцена часто сравнивали с великими французскими энциклопедистами — Дидро и Вольтером, называли «русским Вольтером». Г. Н. Вырубов писал, что «нигде, ни в какой стране после Вольтера не было человека, который (...) одним своим пером имел бы такое необычайное влияние, каким было влияние Герцена на русскую публику. . .». ⁷⁹

С этими суждениями и оценками русских современников Герцена гармонируют и высказывания многих выдающихся философов, историков, писателей, политических деятелей Западной Европы, в том числе и таких «властителей дум» века, как В. Гюго, Т. Карлейль, Ж. Мишле. Гюго назвал первый том «Былого и дум» в переводе И. Делаво «прекрасной книгой», «летописью чести, веры, высокого ума и добродетели». ⁸⁰ Характерна запись от 8 июня в дневнике Эрминии Кине, жены выдающегося французского историка и философа Э. Кине: «Александр Герцен прочел

⁷⁶ Анненков П. Литературные воспоминания. С. 218.

⁷⁷ Сборник Государственного Толстовского музея. Л., 1937. С. 281.

⁷⁸ Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956. С. 255.

⁷⁹ Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания: (Герцен, Бакунин, Лавров) // Вестн. Европы. 1913. № 1. С. 62.

⁸⁰ Лит. наследство. М., 1937. Т. 31—32. С. 830.

нам вечером (. . .) отрывок из своих мемуаров, подлинный шедевр! Это способно вызвать рыдания. Есть нечто гениальное в этом стиле, столь оригинальном, исполненном блеска, чудодейственно остроумном, одушевленном. Какие восхитительные портреты Гарибальди, Маццини нарисовал он, изображая одного из них на борту своего корабля в 1859 г., закутанного в плащ моряка, проявляющего свой гений и свой героизм восхитительным образом: плавающая Революция не нашла себе пристанища в Европе, но Америку она отвергла, поскольку изгнание — это забвение родины. (. . .) А с каким высоким комизмом высмеивает он бестолковых немцев — Струве среди прочих. Не устаешь слушать эти пламенные страницы; хотелось бы заставить его читать еще и еще. Никто, кроме Герцена, уже не обладает подобным остроумием; об остроумии Герцена впоследствии будут говорить так, как говорят об остроумии Вольтера: веселость, насмешка, лукавство, проникновенность, острая наблюдательность, — в нем все, все». ⁸¹ Еще больше впечатляла французская речь Герцена, живая, остроумная, блестящая, пленительно архаичная. Ж. Кларти вспоминал: «Герцен любил рассказывать и рассказывал с несравненным остроумием, убежденно и в то же время подтрунивая, с гортанным смешком, с своеобразным юмором. (. . .) Ни один собеседник не умел так блестяще неожиданной подробностью, ни один не обладал столь острым, изящным, язвительным умом. Он говорил на том великолепном французском языке прошлого столетия, который мы потребуем обратно у иностранцев, когда он будет позабыт нами». ⁸²

Вот лишь некоторые и удивительно однотипные свидетельства современников, которым посчастливилось не только читать, но и слушать Герцена. Он был гениальным собеседником, в совершенстве владевшим искусством диалога, и великим писателем, словесное мастерство которого восхищало Тургенева и Толстого (последний ставил его рядом с Пушкиным). Лингвистическая и стилистическая дерзость Герцена, мало считавшегося с канонами и пуристскими предписаниями, — явление новаторское, чрезвычайное в русской литературе. ⁸³

Бесконечно разнообразны, остры, неожиданны парадоксы, каламбуры, сопоставления, афоризмы Герцена. И почти никогда они не являются у автора самоцелью, внешней блестящей игрой насмешливого ума. Герцен верен своему призванию «патолога»,

⁸¹ Лит. наследство. Т. 96. С. 360. Как невозполнимую утрату не только для России, но и для Европы восприняли супруги Кине смерть Герцена, о чем красноречиво свидетельствует запись в дневнике Эрминии от 23 января 1870 г.: «Это истинное горе для Эдгара, который к нему стал привязываться. Что за сверкающий ум! Когда говорят о *французском* вдохновении, надо цитировать этого русского. Эдгар говорит: „Какая полная жизнь! В мизинце его было больше силы, больше жизненности, нежели во всей нашей левой оппозиции. . .”» (там же).

⁸² Ланский Л. Неизвестные воспоминания о Герцене // Новый мир. 1959. № 6. С. 275—277.

⁸³ «Его ум — ум исключительный по силе, как его язык исключителен по красоте и блеску» (Горький М. История русской литературы. С. 206).

смело входящего за кулисы и в самые закрытые помещения, свободно относящегося к любым авторитетам. Он с удивительной смелостью и неожиданностью сближает, например, некоторые утилитарно-казарменные декреты Г. Бабефа с указами Петра I и Аракчеева и даже вспоминает по этому поводу поклонение Иверской Божьей матери, а в языке Базарова обнаруживает специфические обороты, внешне родственные интонациям начальника департамента или делопроизводителя.

Герцен стремился, разрушая трафаретные, окостеневшие ассоциации и связи, высвободить латентную силу слова. Поставив его в связь со словом другого, часто очень далекого ряда, он достигал яркого эстетического эффекта. «Секущее православие», «перемена психического голоса», «нравственный самум», «патриотическая моровая язва», «опыты идолопоклонства», «наркотизм утопий», «диалектический таран», «навуходоносоровский материализм», «добрые кварталные прав человеческих и Петра I свободы, равенства, братства» — эти и многие другие необычные фразеологические сочетания, емкие и точные формулы составляют непреходящий, отличительный признак его умной, иронической и неповторимо образной речи.

Естественно, что определения, сарказмы, остроты Герцена действовали безотказно: прочно войдя в сознание современников, они перешли от них к следующим поколениям. Так, Толстой любил и часто цитировал герценовское изречение-пророчество: «Чингисхан с телеграфами, пароходами, железными дорогами». Оно заняло почетное место в его публицистике. Еще чаще к герценовским определениям и остротам обращался Достоевский: «мясник Рубенс» попал в «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Колумб без Америки» — в романы «Идиот» и «Бесы», «равенство рабства» вошло в «Бесы» и позднюю публицистику.

Влияние стиля Герцена не ограничивается публицистикой 1860-х гг. и народнической литературой. Оно идет значительно дальше, входит в плоть и дух стиля Плеханова, Луначарского и других марксистских философов и публицистов. Прав был Ю. Н. Тынянов, высказавший предположение, что «на полемический стиль Ленина, несомненно, влиял стиль Герцена, в особенности намеренно вульгаризованный стиль его маленьких статей в „Колоколе“ — с резкими формулами и каламбурными названиями статей».⁸⁴ Герцен неутомимо приучал русского человека к вольной, не регламентированной различными запретами, указами, гласными и негласными предписаниями речи. «Открытая, вольная речь — великое дело; без вольной речи нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние. Скрывается только слабое, боящееся, незрелое. „Молчание — знак согласия“, — оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение человека, сознанную безвыходность», — неустанно повторял Герцен, считая вольную речь первым услови-

⁸⁴ Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. С. 247.

ем действительно демократического общества (12, 62). Вся его деятельность за рубежом (да и в России 1840-х гг., где, правда, Герцен не мог говорить столь открыто) была грандиозным опытом обучения русского общества вольной речи. «Где не погибло слово, там и дело еще не погибло»; «Открытое слово — торжественное признание, переход в действие» — девиз и глубокое убеждение Герцена (6, 13; 12, 62).⁸⁵ Более того, спасительная, поддерживавшая в самые мрачные времена вера.

Молчание — признак слабости, подавленности, печальный плод рабства. Но еще хуже злоупотребление словом, предательство слова. Катков, в глазах Герцена, стал символом страшного нравственного падения. И это было падение человека, упорбившего во зло слово, предавшего исповедальные, свободолобные традиции русской литературы. С гневом и презрением писал Герцен о поразившей Россию эпидемии «каннибальского патриотизма»: «Мы не можем привыкнуть к этой страшной, кровавой, безобразной, бесчеловечной, наглой на язык России, к этой литературе фискалов, к этим мясникам в генеральских эполетах, к этим квартальным на университетских кафедрах, к этим робеспьеровским трикотезам Зимнего дворца, старым, седым, беззубым девкам и бабам, к этим Катковым в юбке и Аскоченским в кринолинах, с их просвирками, вынутыми за здоровье Михаила Николаевича, безобразными образами, посланными ему в благословение, — к этим волчицам без молока, без Ромула и Рема, которые перенесли ревность диких самок в любовь к отечеству» (18, 241).

Герцен постоянно призывал своих соотечественников отрешиться от привычек холопского, лакейского словоизвержения, освободить от крепостного рабства не только крестьян, но и речь: «Пусть язык наш смоеет прежде следы подобострастия, рабства, подлых оборотов, вахмистрской и барской наглости — и тогда уже начнет поучать ближних» (15, 210). Следы и приметы рабства и барства, деспотизма и холопства, самодурства и административного бездушия Герцен обнаруживает не только в официальных документах (резюльциях, прошениях, указах, приказах, циркулярах, рапортах, донесениях, предписаниях, предведомлениях и т. д. — бесконечная ведомственно-бюрократическая жанровая цепь) и верноподданнических адресах (непреренно единодушных), но даже в манерах, речах, произведениях современных нигилистов, разрушителей и ниспровергателей, стоящих по другую сторону баррикад и парадоксальным образом стилистически совпадающих с охранителями и консерваторами. «Нет ли в этом

⁸⁵ Свобода слова — свобода слуха («... для того чтобы свобода слова была делом искренним и возможным, надобно, чтоб ее поддерживала свобода слуха...» — 14, 62) — свобода лица («Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе» — 6, 14) — великая триада, фундамент творчества и всей деятельности Герцена.

пристрастии к однообразию, — риторически вопрошал Герцен в статье «Еще раз Базаров» (1868), — того же раздражительного духа, который сделал у нас из канцелярской формы сущность духа и из военных эволюций — шагистику? Из этой стороны русского характера развилась статская и военная аракчеевщина. Всякое личное, индивидуальное проявление, отступление — считалось непокорством и возбуждало преследования и бесконечные придирки. Базаров не оставляет никого в покое, всех задирает свысока. Каждое слово его — выговор высшего низшему» (20, 344).

Сложный и многотрудный процесс становления нового мировоззрения (разрушение обветшалых понятий, борьба с дуализмом и догматизмом) неизбежно делал насущной задачу преобразования языка и стиля, обновления словаря, приближения литературной речи к разговорной. Язык Герцена в высшей степени явление адогматичное, текучее, живое. «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело», — писал Тургенев Анненкову.⁸⁶ Нарушение грамматических форм, усложненный, «тяжелый» синтаксис, многослойный, полисемантический, метафорический строй образов, сплав ораторско-романтического начала с научной речью (поэтически преображенные термины из философии, астрономии, медицины, геологии, математики, естествознания), высокое искусство диалога — неотъемлемые черты умного и острогоумного стиля Герцена.

Языковое и стилистическое новаторство Герцена (вольная речь свободного человека) неразрывно связано с новаторством жанровым и идеологическим. «Отвага знания» органично слита с «отвагой» стилистической, повествовательной, жанровой. Не только «Былое и думы», «С того берега», но и все творчество Герцена, по сути, есть непрерывающийся и напряженный исповедально-философский диалог о «концах» и «началах», нечто близкое «к разговору» и письму, форма которого «самая широкая, она свободна, как женская блуза, нигде не шнурует и нигде не жмет» (18, 64).

Слово Герцена было обращено к свободному человеку. Оно изнутри «диалогично» и предполагало активное соучастие читателя в диспуте. «Грех мой весь в том, что я избегал догматического изложения и, может, слишком полагался на читателей; это привело многих в искушение и дало моим *практическим* противникам орудия против меня — разных запалов и неодинаковой чистоты», — писал Герцен в «Концах и началах» (16, 195). «Отвага знания» нераздельна с недогматическим изложением мысли и в идеале предполагает «отвагу» понимания. А ее часто нет — пророков побивают камнями, и вот уже совсем недавно «модный» издатель и публицист обнаруживает, что его голос — это голос вопиющего в пустыне, которую нескоро еще обживут люди.

⁸⁶ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л., 1964. Т. 8. С. 299.

Для литератора и особенно политического публициста непонимание, вражда, равнодушие публики — большая трагедия, тем более для эмигранта, которому жизненно необходима связь с родиной. Герцен тяжело переживал отчуждение российской публики, отступившейся от него после недолгой либеральной весны. Но и в эти трудные годы он предпочел горькую правду полулжи и молчанию, уповая на конечное торжество истины, на *будущих* читателей. Один из своих циклов Герцен красноречиво назвал «Письма к будущему другу», с грустью и иронией пояснив: «Автор этих писем был в большом затруднении и только недавно вышел из него. <...> По несчастью, у него не оказалось в наличии ни одного отсутствующего друга, по крайней мере такого, который желал бы что-нибудь знать, ни такого, которому бы хотелось что-нибудь писать. <...> автор вспомнил *предварение человека*, открытое императорским почтамтом в России. <...> Если можно путешествовать по подорожной с *будущим*, отчего же с ним нельзя переписываться» (18, 64).

Герцен грустно шутит. Но это не только и не просто шутка, а и гордое сознание собственной правоты, уверенность в том, что его злободневное⁸⁷ слово, пробив глухую стену непонимания, найдет будущего друга-читателя. Эта устремленность в будущее, дерзкий и далекий полет мысли великого диалектика и художника определили многообразное и непреходящее значение слова Герцена. Эстафета вольной речи Герцена была подхвачена народниками, а позднее и социал-демократами. В живом содружестве с независимой речью Герцена звучало слово позднего Толстого, автора статьи «Не могу молчать», трактата «Единое на потребу», романа «Воскресение», повести «Хаджи-Мурат».⁸⁸ Логично и закономерно, что именно Толстому принадлежат пророческие слова, записанные 12 октября 1905 г. в дневнике под впечатлением от очередного прочтения книги Герцена «С того берега»: «Следовало бы написать о нем — чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их» (55, 165).

⁸⁷ Непосредственный, живой отклик на самые последние события — характернейшее свойство Герцена-писателя, так, в частности, объяснявшего изменение замысла и композиции «Концов и начал»: «Строй мыслей изменился: события не давали ни покоя, ни досуга — они принялись за свои комментарии и за свои выводы» (16, 129).

⁸⁸ «Во всей русской и мировой литературе не найдется другого такого художника слова и мыслителя, который бы столь властно и на протяжении не одного десятилетия владел бы умом и сердцем Льва Толстого», — справедливо заключает С. А. Розанова (Толстой и Герцен. С. 146).

Глава II

«БЫЛОЕ И ДУМЫ» ГЕРЦЕНА И РУССКАЯ АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

1

Первые три части «Былого и дум» были написаны в начале 1850-х гг. Несколько затянулась работа над четвертой, хронологически доведенной Герценом до 1848 г. Эта часть была завершена в 1857 г. А параллельно, синхронно в самой России появились произведения, ставшие в совокупности событием чрезвычайного масштаба и подготовившие расцвет русского романа 1860—1870-х гг. Это трилогии С. Т. Аксакова и Толстого, а также «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина и (позднее) «Записки из Мертвого дома» Достоевского — своего рода знаменья новой либеральной эпохи. «Губернские очерки», не являясь мемуарами, отчасти соприкасаются с очерками провинциальных нравов во второй части «Былого и дум». Достоевский, постоянный и очень страстный оппонент Салтыкова, создавая портрет Сатирического старца (наброски к будущим выпускам прерванного смертью «Дневника писателя» 1881 г.), увидел в «Губернских очерках» некоторое подобие «Тюрьмы и ссылки». ¹ Мнение не столь уж беспочвенное: анатомия провинциальной жизни, развернутая Щедриным, исключительно близка наблюдениям, портретным зарисовкам и обобщениям Герцена. ² Своими критическими тенденциями «Губернские очерки» непосредственно примыкают к воспоминаниям о «вятском плене» Герцена, выступая как бы в функции «спутника» «Тюрьмы и ссылки», но, разумеется, сохраняя полную эстетическую и идеологическую самостоятельность. «Губернские очерки» — это творческое продолжение не только определенных тенденций литературы гоголевского направ-

¹ Достоевский, естественно, не прошел мимо автобиографически-исповедального пласта «Губернских очерков», в том числе и воспоминаний о собраниях «петрашевцев».

² Аналогии между книгой очерков Щедрина, который «незаметным образом может сделаться вторым Искандером», и деятельностью Герцена в донесениях агентов III Отделения, а также предостерегающие высказывания в этом духе реакционно настроенных политических деятелей (В. Н. Панин и др.) были широко распространены.

ления, но и яркая веха нового этапа общественно-литературного развития России. Чернышевский с полным основанием относил «Губернские очерки» к числу «исторических фактов русской жизни»,³ видел в книге Щедрина и «прекрасное» художественное произведение, и политический документ огромного значения. «Губернские очерки» бесспорно принадлежали к той литературе, которая представлялась автору «Былого и дум» особенно желательной и необходимой для России современной и будущей: «... в настоящее время нет такой страны, в которой мемуары были бы полезней, чем в России. Мы — благодаря цензуре — очень мало привыкли к гласности. Она пугает, удивляет и оскорбляет нас. Пора, наконец, имперским комедиантам из петербургской полиции узнать, что рано или поздно, но об их действиях, тайну которых так хорошо хранят тюрьмы, кандалы и могилы, станет всем известно и их позорные деяния будут разоблачены пред всем миром» (8, 406).

Этой программе Герцена, сформулированной в предисловии к английскому изданию «Тюрьмы и ссылки» («*My exile*») 1855 г., отвечали и «Губернские очерки» и — в еще большей степени — «Записки из Мертвого дома». Герцен, конечно, хорошо понимал, что книга Достоевского — редкий, исключительный дар судьбы: гениальный писатель попадает на каторгу и не просто «выживает», но возвращается в литературу, да еще в такую счастливую полосу жизни, когда имеет возможность опубликовать легально, в русских периодических изданиях книгу о Мертвом доме. Высочайшим образом оценивая книгу-подвиг Достоевского, Герцен считал не менее важным для дела прогресса публикацию самых различных мемуаров, репортажей из городов и сел, из Зимнего дворца и «медвежьих углов», из тюрем и чиновничьих учреждений, — мемуаров, пусть и не блещущих художественными достоинствами, но ценных правдивыми свидетельствами очевидцев. Чем больше будет предано гласности таких записок, воспоминаний, дневников, документов, тем успешнее пойдет дело радикального обновления русского общества.

Прямые общественно-литературные декларации и манифесты Герцена 1850—1860-х гг., во многом перекликающиеся с главными принципами и критериями «реальной критики» Добролюбова, эстетики Чернышевского и Салтыкова-Щедрина, определили характер художественной, публицистической и издательской деятельности «лондонского пропагандиста». Прологом к ней было творчество Герцена 1840-х гг.: «Записки молодого человека» (1840), «Капризы и раздумье» (1843—1847), «Кто виноват?» (1847). Уже тогда Герцен настаивал на максимальном приближении литературы к «живой жизни», исповеди, биографии, документальным свидетельствам. «... меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц, — признается автор романа «Кто виноват?». — Кажется, будто жизнь людей обыкновен-

³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1948. Т. 4. С. 302.

ных однообразна, — это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей . . . <...> Если б можно было, я составил бы биографический словарь, по азбучному порядку, всех, например, бреющих бороду сначала; для краткости можно бы выпустить жизнеописания ученых, литераторов, художников, отличившихся воинов, государственных людей, вообще людей, занятых общими интересами: их жизнь однообразна, скучна; успехи, таланты, гонения, рукоплескания, кабинетная жизнь вне дома, смерть на полдороге, бедность в старости, — ничего своего, а все принадлежащее эпохе. Вот поэтому-то я нисколько не избегаю биографических отступлений: они раскрывают всю роскошь мироздания. Желаящий может пропускать эти эпизоды, но с тем вместе он пропустит и повесть» (4, 87).

Мысль Герцена, заявленная со свойственным ему парадоксально-ироническим оттенком, в сущности, серьезна и содержит требование радикальной демократизации литературы, которая должна стать исповедью и документальным полотном, раскрывать всю «роскошь мироздания», а не воспевать только героев, «замечательных людей» в звездные мгновения их жизни. И та же мысль, но четче выраженная, звучит в предисловии к английскому изданию «Тюрьмы и ссылки»: «Для того чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком или выдавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать. <...> „Право на те или иные слова“ — это устаревшее выражение, относящееся к эпохе деградации интеллектуальной жизни, ко времени поэтов-лауреатов, докторов в шапочках, привилегированных философов, патентованных ученых мужей и других фарисеев академического мира. В те времена писательское искусство считалось таинством, доступным пониманию немногих избранных. <...> Мы понимаем писательское искусство как такое дело, которым может заняться любой человек. Для этого не надо быть профессионалом, так как это самая обычная работа» (8, 405—406).

В «Кто виноват?» Герцен преобразует изнутри жанр романа. Биографии обычных людей, отступления от сюжетной канвы — сердцевина произведения и вызов предписанным условностям, неперемнным требованиям, предъявляемым к жанру, без соблюдения которых, впрочем, Герцен здесь не может обойтись. Но поэтому-то он написал всего лишь один роман и неоднократно признавался в любви к «вводным местам», скобкам, отступлениям: «Вводные места — мое счастье и несчастье. Один француз, литератор времен Реставрации, классик и пурист, не раз говаривал мне, продолжительно и академически нюхая табак (так, как скоро перестанут нюхать): „Notre ami abuse de la parenthèse avec intempérance!“. Я за отступления и за скобки всего больше люблю форму писем — и именно писем к друзьям, — можно не стесняясь писать что в голову придет» (16, 158). Герцен — принципиальный

противник «пуризма», любой нормативности, в том числе «классической». Он посмеивается над академическими и официозными принципами, «предписаниями», предпочитая ничем не стесненную, свободно-интимную, близкую к разговору и переписке с друзьями форму изложения мысли. В романе «Кто виноват?» эти тенденции, разумеется, не так ярко выражены, как в «Концах и началах» (1862—1863), «С того берега» (1847—1855) и — особенно — в «Былом и думах» (1852—1868) — книге, которая ни в какие типологические схемы не укладывается. Отличие «Былого и дум» от «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо и «Поэзии и правды» И.-В. Гете слишком очевидно.⁴ Для Герцена эти и другие знаменитые исповеди и воспоминания не более чем великие образцы мемуарной литературы, конечно хорошо ему знакомые, но, похоже, мало вдохновлявшие. Несколько ближе по духу и тональности Герцену были «Путевые картины» Г. Гейне, оказавшие влияние на раннюю автобиографическую прозу писателя, но к началу 1850-х гг. это был уже пройденный этап. «Былое и думы» — больше, чем воспоминания, исповедь, путевые картины; все это и одновременно многое другое (философская статья, фельетон, очерк нравов) органично вошло в книгу. Герцен не стремился создать новый жанр и вообще мало беспокоился о том, к какому жанру и типу отнесут его воспоминания. «Былое и думы» писались на протяжении почти двадцати лет, и, очевидно, над ними Герцен продолжал бы работать и дальше, как обычно не стесняя себя жанровыми или другими ограничениями и правилами. Приступая к работе над воспоминаниями, Герцен не предполагал, во что вырастет книга. Многочисленные предисловия и послесловия, в которых он разъясняет себе и читателям «поэтику», художественную структуру «Былого и дум», представляют собой уже обобщения, аналитические размышления, некие промежуточные итоги. Характерна неуверенность и оговорочная приблизительность, свойственная этим эстетическим «фрагментам» и декларациям Герцена, менее всего стремящегося к строгой жанровой закреплённости. «Это не столько *записки*, сколько *исповедь*, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из *Былого*, там-сям остановленные мысли из *Дум*. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей *единство есть*, по крайней мере мне так кажется», — писал Герцен в июле 1860 г., отвечая на

⁴ Справедливы выводы Л. Я. Гинзбург: «Герцен несомненно много вынес из опыта мемуарной литературы, но столь же несомненно, что ни одно из знаменитых мемуарных произведений не послужило ему образцом. Бесплезно перечислять отдельные произведения мемуарной литературы и доказывать то, что и без того ясно, — что „Былое и думы“ не похожи на „Мемуары“ Сен-Симона о дворе Людовика XIV, или на „Мои темницы“ Пеллико, или на „Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанную им самим“. (. . .) Мемуаристы, ставившие перед собой задачу раскрытия тайников душевной жизни, бесстрашного самоанализа, обычно ссылались на Руссо, отправлялись от Руссо, спорили с Руссо, наконец. Герцен минует эту проблематику, ибо „Былое и думы“ не столько психологическое самораскрытие, сколько историческое самоопределение» (Гинзбург Л. «Былое и думы» Герцена. Л., 1957. С. 76, 77).

упреки друзей и лишь частично с ними соглашаясь (8, 9). Герцен настаивает на *единстве* первых частей. В дальнейшем структура «Былого и дум» претерпела серьезные изменения. Они были настолько значительны, что Герцен решил даже, издавая свои сочинения, отделить первые части (1—4) от пятой, составив промежуточный том из ранних автобиографических опытов и статей: «Два первые тома „Былого и дум“ составляют такой „отрезанный ломоть“, что мне пришло в голову между ними и последующими частями поставить небольшую кладовую для старого добра, с которым по *ту* сторону *берега* нечего делать; она может служить вроде *pièces justificatives* или обвинительных актов» (9, 267).

В «кладовую» тома 3 (вышел в 1862 г.) вошли «Записки одного молодого человека», «Капризы и раздумье», некоторые небольшие произведения 1830—1840-х гг. Они решительно выпадали из структуры «Былого и дум». Это не «пристройки», «надстройки», «флигеля», а своеобразная прослойка и, кроме того, антракт, интермедия, подчеркивающая отличие первой («русской») половины книги от второй (по преимуществу «зарубежной»). И особая, даже главная, функция в томе 3 принадлежит «Запискам одного молодого человека»: «... как чертежи сравнительной анатомии или лафатеровские профили, они показывают наглядно изменения, вносимые в физиогномию мысли и слова двадцатью такими годами, которые я прожил между записками *молодого* человека, набросанными в 1838 г. в Владимире-на-Клязьме, и думами *пожилого* человека, помеченными в Лондоне на Темзе» (9, 267).

Что касается пятой и — тем более — последующих частей «Былого и дум», то Герцен в предисловии 1866 г. (к части 5) подчеркивает их принципиальную *случайность*, отрывочность, фрагментарность, не настаивая на *внешнем единстве*, пожертвованном во имя «*тогдашней* истины», разумеется субъективной и личной: «„Былое и думы“ — не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге. Вот почему я решил оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах: все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками» (10, 9). В дальнейшем отрывочность, «рапсодийность» еще более усиливаются, достигая апогея в части 8, первую главу которой Герцен назвал вызывающе и характерно: «Без связи». В последних частях резко ослабевает связь между главами, все очевиднее превращающимися в мозаичную композицию разнородных отрывков и фрагментов и «*подстрочных* к ним рассуждений». Исключительно возрастает импрессионистичность повествования, которое автор уже и не стремится сделать последовательным. А параллельно ослабевает собственно «мемуарное» начало. «Былое» теперь уже не давнее, через большой промежуток времени заново осмысляемое и поданное в оправе сегодняшних «дум», а совсем недавно прошедшее и даже только что увиденное или прочитанное, по тем или иным

причинам заинтересовавшее и взволновавшее Герцена. Часть 8 — это, по сути, новые «письма из Западной Европы» на двадцать лет постаревшего автора «Писем из Франции и Италии» (1847—1852), перебиваемые вдруг всплывающими воспоминаниями из «былого». Здесь уже «былое» комментирует и оттеняет последние впечатления и «думы» Герцена. Процесс логически закономерный и неизбежный. Для воспоминаний необходима временная перспектива. Когда же она, подобно шагреновой коже, сокращается, то меняются формы повествования и композиция. «Былое» не исчезает, конечно, и не может исчезнуть, но функционально становится «случайным», зависимым от злободневных «дум». Или, говоря иначе, «Былое и думы» постепенно перестают быть «мемуарами», превращаясь в дневник русского писателя и революционера, живущего в Западной Европе, — «зрителя», «постороннего», «северного Гамлета».

«Рассказ о семейной драме», полностью опубликованный спустя много лет после смерти Герцена,⁵ — заключительная часть исповеди, ставшей фокусом частей 1—5 книги. К исповеди тяготеют многие линии и элементы повествования, что дало основание определять «Былое и думы» как своеобразный роман, в котором есть герои, сюжет, интрига, пролог, конфликтные ситуации, кульминация и эпилог. Известно, что исповедь и была задумана Герценом как рассказ о семейной драме, «надгробный памятник» жене. Необходимо было восстановить истину во всей ее полноте, очистить прошлое от паутины клеветы и сплетен. Исповедь должна была стать и судом, литературной мезью. Герцен так обозначает главный узел будущей исповеди в письме к московским друзьям: «Страшная история, убившая Н(аташу), раскрыла мне все преступное безобразие, бродящее не в вражьем стану, а в нашем. На моей душе еще лежит необходимость этой исповеди, и я ее сделаю. Две русские натуры — аих prises с западным растлением» (25, 110). В других письмах, зачастую почти статьях, Герцен мотивы столкновения двух миров, Запада и России, двух моралей (ветхозаветной и социалистической), двух полярных мирозерцаний формулирует с тезисной отчетливостью. Пожалуй, особенно характерно письмо к Прудону, где личной драме придан универсальный смысл, а фигура Гервега предстает неким собранием всех пороков и болезней старого мира, и потому он во имя нового, будущего общества подлежит публичной казни: «Новое общество должно обладать всей пылкостью молодости, а если бы оно не чувствовало в себе ни достаточной чистоты, ни достаточной нравственности, ни достаточной силы, чтобы желать и мочь защитить своих людей против негодяев из собственной среды, оно было бы обречено на смерть в зачаточном состоянии, остаться, ничего не свершив, лишь отвлеченной надеждой, утопической мечтой» (24, 332).

⁵ См. об этом статью: *Житомирская С. В.* Судьба архива Герцена и Огарева // Лит. наследство. М., 1985. Т. 96. С. 549—643.

Суд, настаивает Герцен, необходим самому новому обществу, которое таким актом очищается, утверждает высоту принципов демократической и социалистической морали. Столь универсальная точка зрения определила философско-педагогический аспект исповеди, ее особенную тональность и открытую, эмоциональную, инвективную направленность. А личное в исповеди тем самым или ослаблено, или присутствует в ином качестве, входя составной частью в более общую тему: противопоставление и столкновение двух миров (Запада и России), осмысленное взглядом высшего скитальца, «скифа», «туранца» и одновременно революционно-демократического деятеля, свободным словом возвратившегося на Родину и им же утвердившего свою исключительную репутацию полномочного представителя свободной России в Европе. Понятно, что в «Былом и думах» так много места уделено и проблеме освобождения женщин, организации гуманных и равноправных отношений в семейной жизни. Личная исповедь Герцена теснейшим образом сопряжена с размышлениями по поводу этих социально-педагогических вопросов.

Закономерно, что, прежде чем приступить к исповеди, Герцен отдает должное «новой вере» сен-симонистов, романтиков социализма. «Освобождение женщины» и «искупление плоти» — вот «великие слова», сказанные ими и «закрывающие в себе целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно нравственный и потому нравственно чистый» (8, 162). Ни намека пока на бесчисленные трудности и сложности: «патологический» анализ сознательно устраняется. И никаких конкретных иллюстраций, каким образом на практике, в действительности претворяются тезисы «освобождения женщины» и «искупления плоти» в среде тех, кто избрал новую мораль. Герцену здесь важно подчеркнуть характер противоборства двух миров: нового, лишь зарождающегося, совсем еще юного, сильно верой, энтузиазмом, и старого, все еще могущественного, «закрепленного, перешитого и упроченного мешанством» (8, 162).

Главная героиня исповеди Natalie (как безымянная «юная утешительница») впервые появляется в главе XII «Тюрьмы и ссылки». Выделяется день знаменательной встречи — 9 апреля 1835 г. И тут же смещаются времена: на шиллеровскую эпоху наслаиваются поздние горестные воспоминания. Забегание вперед; напоминание о трагическом финале исповеди, которая еще даже и не началась. Диссонанс, сообщающий повествованию особенный, элегически-надрывный характер: «Зачем же воспоминание об этом дне и обо всех светлых днях моего былого напоминает так много страшного? . . . Могилу, венки из темно-красных роз, двух детей, которых я держал за руки, — факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое море под горой, речь, которую я не понимал и которая резала мое сердце. . .

Все прошло!» (8, 218).

И эти *memoria mori*, эти трагические перебои будут постоянно вторгаться в повествование. Больно и страшно перечитывать

старые письма, на которых «запеклась кровь событий». Герцен не спешит перейти к идиллически-поэтической, счастливой поре жизни. Память восстанавливает все в странном, полупризрачном виде, неожиданно выдвигая на первый план детали и черточки, которые когда-то почти и не останавливали внимания. Как «романтическое» зловещее предупреждение, указующий перст судьбы осмысливается встреча с юродивой девочкой, порождая определенным эмоциональным образом окрашенные риторические вопросы мемуариста: «Зачем это существо попало мне именно в этот день, именно при въезде в Москву? Я вспомнил „Безумную“ Козлова: и ее он встретил под Москвой» (8, 366). Жизнь неожиданно оборачивается романтическим стихотворением, превращается в нечто грозное, фатальное, предопределенное свыше. Думы входят в рассказ, эмоционально обрамляя «идиллию»: «Чувство полного обладания своей судьбой усыпляет нас . . . а темные силы, а черные люди влекут, не говоря ни слова, на край пропасти» (8, 378).

Думы — длительные и мучительные размышления, бесконечные возвращения к одним и тем же фактам, событиям, лицам — дорогим и ненавистным. Они сгусток житейской мудрости, философско-лирическое резюме, и в то же время они очень личные, интимные. Таково, в частности, знаменитое отступление-рассуждение в самой поэтической главе книги «13 июня 1839 года» (еще одна курсивом выделенная знаменательная, счастливая дата), начинающееся с выразительного многоточия, — остановленное мгновение, перерыв в рассказе, разительная перемена тона («голоса»): «Как человеческая грудь богата на ощущение счастья, на радость, лишь бы люди умели им отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость — весь этот сор, который к полудню жизни наносит суета суетств и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их и невесть сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрошенная, с обычной щедростью своей, — и пить, и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго потчевать и предлагать не любит» (8, 380).

Замечательное рассуждение, но отнюдь не единственное в этой главе. Мощно подхватывается ранее лишь в общих чертах намеченный мотив «искупления плоти». Апофеоз материнства выделим от горячей и остроумной критики «дуализма», этой раковой опухоли современного человечества. Выстраивается длинный ряд прихотливо соединенных иллюстраций из европейской жизни, политики, искусства. Сближаются, обнаруживая трогательное родство, крайности. От отчаянной молитвы Гретхен мысль Герцена обращается к вульгарным падшим созданиям, «летучим мышам», шныряющим по Лондону. Он, опровергая доводы вообра-

жаемого оппонента, приводит трогательную историю одной девушки, принадлежащей «к почетному гражданству разврата», завершая ее парадоксально-добродушной шуткой Ж. де Нерваля. А затем вновь высочайшие образцы мирового искусства (А. Ван Дейк, Микеланджело, Рафаэль) и блестящий, изумительный по глубине и поэтичности мысли гимн земному началу, внесенному в религию Марией, Богородицей, победившей и вытеснившей «холодную Афродиту». Это не фон для создания идеального образа Natalie, а воистину «надгробный памятник» ей, созданный рукой гениального резчика.

Беспорно, что, повествуя о событиях семейной жизни, Герцен сдерживает перо. Не только потому, что больно и страшно ворошить прошлое. Герцен суеверно боится, что патетики и лиризма не поймут и с холодной усмешкой или равнодушно отнесутся к апофеозу «женщины-ребенка». Он, давая в приложении отрывки из своих писем к Natalie, не решается предать гласности ее послания: «...какой-то страх останавливает меня, и я не решил вопрос, следует ли еще дальше разоблачить жизнь и не встретят ли строки, дорогие мне, холодную улыбку?» (8, 389). Да и свои письма к невесте сопровождает комментарием, почти извиняясь перед читателем за то, что знакомит его с такими сугубо личными документами: «Может, они не покажутся лишними для людей, любящих следить за восходами личных судеб; может, они прочтут их с тем нервным любопытством, с которым мы смотрим в микроскоп на живое развитие организма» (8, 389). Дело обычное: книга поступает на суд читателя, личное передается публичной огласке. И все же чувствуется, как ежится Герцен при мысли о любопытствующем читателе с микроскопом.

Гораздо свободнее и увереннее он освещает «матримониальные» дела друзей — Огарева, Кетчера, Боткина, Энгельсона. Все эти истории неудачных, драматических и комических опытов устройства семейной жизни на новых, гуманных и равноправных началах прямо или косвенно связаны с рассказом о собственной семейной жизни и, следовательно, необходимо и органично входят в исповедь. Вспоминая, как они (он, Кетчер и другие) обрушились на Огарева («мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи!»), дав волю «оскорбленному самолюбию» и «обидчивости», Герцен сожалеет о той молодой, безжалостной, самоуверенной жестокости, и за этим сожалением, конечно, стоит опыт пожилого человека, потерпевшего катастрофу. Сожаление пришло гораздо позже («тогда я был далек от этого!»); оно явилось как плод долгих размышлений и утраченных иллюзий. Герцен «генерализует» мысль, обобщает, формулирует законы, т. е. выступает в роли «анатома», аналитика, растворяя «я» в «мы», но, вне всякого сомнения, тут и его личная исповедь, точнее, еще один фрагмент из нее.⁶ И то, что далее пишет Герцен о М. Л. Огаревой, есть

⁶ «Жесток человек, и одни долгие испытания укрощают его; жесток, в своем неведении, ребенок, жесток юноша, гордый своей чистотой, жесток поп, гордый

совокупность многолетних дум, постепенно открывавшаяся ему истина. В рассуждениях, афоризмах и максимах, образующих «логическую» исповедь Герцена, анализ отношений, сложившихся в семье Огаревых, сопряжен с размышлениями над другими, при всем своем разнообразии однотипными ситуациями, демонстрирующими, какая пропасть разделяет слово истины и суровую прозу действительной жизни. Конфликтные ситуации неизбежны, практика сопротивляется головному, рациональному знанию.⁷ Во временной перспективе некогда вызывавшее негодование и осуждение впоследствии поведение Огарева представляется не слабостью, а мудростью сердца и души: «Огарев это понял еще тогда; потому-то его все (и я в том числе) упрекали в излишней кротости» (9, 16).

К проблемам новой морали и нового семейного быта обращается Герцен и в очерке-портрете «Н. Х. Кетчер». Чрезвычайно подробно освещаются этапы романа Кетчера с «сиротой» Серафимой. Угол зрения, правда, несколько меняется, что обусловлено специфическим, индивидуальным обликом этого союза. Но выводы и сентенции во многом аналогичны, только еще резче сформулированы, с безжалостным обнажением парадоксально-негативных результатов «эксперимента»: «Мы — революционеры, социалисты, защитники женского освобождения — сделали из наивного, преданного, простодушного существа *московскую мещанку!*» (9, 242). «Освобождение» Серафимы обернулось порабощением и отпадением Кетчера от кружка революционеров и социалистов.⁸ На фоне живо описанных трагикомических ситуаций в семье Кетчера, осложненных неуклюжим вмешательством друзей, особенно рельефно вырисовывается нравственное и духовное превосходство Natalie. Она оказалась единственной женщиной, легко и естественно вошедшей в круг друзей Герцена и сохранившей при этом свое лицо: «Панибратство, пансионская фамильярность были чужды Natalie, в ней во всем преобладал элемент покойной глубины и великого эстетического чувства» (9, 243). «Элемент», поставивший Natalie выше мещанских ссор, сплетен и пересудов. Неудачное воспитание «сироты» и падение Кетчера,

своей святостью, и доктринер, гордый своей наукой, — все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягким вслед за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными падениями, вслед за испугом, который обдаёт человека холодом, когда он один, без свидетелей начинает догадываться, какой он слабый и дрянной человек. Сердце становится кротче; обтирает пот ужаса, стыда, боясь свидетеля, оно ищет *себе оправданий* — и находит их *другому*. Роль судьи, палача с той минуты поселяет в нем отвращение» (9, 14).

⁷ «Много я думал об этом. Сперва, разумеется, винил одну сторону, потом стал понимать, что и этот странный, уродливый факт имеет объяснение и что в нем, собственно, нет противуречия. Иметь влияние на симпатический круг гораздо легче, чем иметь влияние на *одну* женщину. Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать *одного* ребенка» (9, 15).

⁸ Закономерный, психологически неизбежный финал: «Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься» (9, 238).

диссонанс в семье Огаревых и Энгельсонов разными сторонами соприкасаются с исповедью Герцена, имеют очень важное идеолого-композиционное значение. Без них исповедь была бы бедна и неясна.⁹

Диссонанс в семье Огаревых непосредственно предваряет новгородские неурядицы в личной жизни Герцена. Цитируя дневниковые записи тех лет, Герцен реконструирует психологический климат тяжелого времени. Записи призваны восстановить тогдашнюю правду. Прошлое зримо входит в настоящее, сохраняя все оттенки красок, неизбежно блекнущих с годами: «*Правда* того времени так, как она тогда понималась, без искусственной перспективы, которую дает даль, без охлаждения временем, без исправленного освещения лучами, проходящими через ряды других событий, сохранилась в записной книге того времени» (9, 93). Впрочем, надо сказать, что Герцен избирательно и целенаправленно цитирует записную книгу (и довольно-таки свободно, — некоторых записей там вообще нет). Из *правды того времени* восстанавливается только самое необходимое, и в соответствии с уже сложившейся психологической схемой несколько снижен образ Герцена и, напротив, в идеализированном свете представлен экзальтированно-нервический характер Natalie. Герцен осторожно и в высшей степени тактично очерчивает психологические надрывы жены, болезненное, близкое к истерике (не минутной и бурной, а тихой и хронической, что гораздо хуже) настроение. Свою роль здесь сыграли смерть младенца, давняя привычка к слезам и печали. Но главное, пожалуй, психический склад, «натура»: «Она долго останавливалась на мучительных мыслях, легко пропуская все светлое и радостное» (9, 92). Впрочем, объяснения принадлежат поздней эпохе. Тогда Герцен верил словам и невнимательно «вчитывался» в чувства, почему и упустил время, дал болезни развиваться, и был ошеломлен, обнаружив, что гармоническое равновесие и взаимопонимание, сродство душ во многом существовало в воображении: «Я был похож на человека, которого вдруг разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чем он совсем проснулся, что-то страшное: он уже испуган, дрожит, но еще не понимает, в чем дело. Я был так вполне покоен, так уверен в нашей полной, глубокой любви, что и не говорил об этом, это было великое *подразумеваемое* всей жизни нашей; покойное сознание, беспредельная уверенность, исключая сомнения, даже неуверенность в себе — составляли основную стихию моего личного счастья» (9, 95—96). Но у Наташи как раз не было такого покойного сознания и беспредельной уверенности, исключаящих сомнение. Эмоциональный разлад был неизбежен, страстные уверения мужа лишь на миг восстанавливали покой, «черные при-

⁹ Неудачная попытка В. П. Боткина устроить семейный быт и перевоспитать женщину из другой среды — шутка, бурлескно оттеняющая семейные драмы и трагикомедии. Соответственно «эпизоду» дан Герценом добродушно-иронический подзаголовок: «Арманс и Базель — философ из учтивости, христианин из вежливости и Жак Ж. Санд, делающийся Жаком-фаталистом» (9, 255).

зраки» возвращались вновь, «совершенно ничем не вызванные, и, когда они проходили, я вперед боялся их возвращения» (9, 96). Так было в Новгороде, так продолжалось и в Москве, где благодатную почву для «черных призраков» дало одно мимолетное и весьма невинное увлечение Герцена. Никакого падения, по убеждению Герцена, не было, но с точки зрения жены поступок мужа ужасен, безнравствен. Она, судя по всему, отнеслась к «измене» мужа самым ветхозаветным образом, еще раз подтвердив, какая пропасть разделяет теорию эмансипации и реальную жизнь, как сильны в женщине привычки и органически-физиологическое начало. В теории Герцену все было очевидно и понятно, вот только отношения с Natalie он изолировал от общих и вечных законов, за что и заплатил сполна угрызениями совести, утратой «покоя»: «Зачем я не подумал о последствиях и не остановился — не перед самим поступком, а перед тем *отражением*, которое он должен был вызвать в существе, так неразмыслимо тесно связанном со мной? Разве я не знал аскетическую точку зрения, с которой женщина, самая развитая и давно покончившая с христианством, смотрит на *измену*, не делая никаких различий, не принимая никаких облегчающих причин?» (9, 97—98).

Герцен не решился включить рассказ о своем «падении» в книгу, оставив лишь туманные намеки на какие-то важные обстоятельства. Устранил факты, ограничившись их аналитическим истолкованием, суггестированным до четких и обобщенных формул, выводов. Восторги улеглись, романтизм и идеализм уступили место реализму: процесс нелегкий и болезненный, но принесший освобождение, необходимую разрядку. Конечно, померкли идеалы, муж лишился «самодержавной власти» и упал с идеальной высоты, но исчезла в результате и надрывность, неестественная экзальтированность и напряженность. Немного грустная, но совершенно необходимая переоценка ценностей, спасшая союз. После нее «начинается та изящная, возмужалая и деятельная полоса нашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъезда» (9, 111).¹⁰

В части 5 «Былого и дум» надолго исчезают уzkоличные, семейные мотивы, почти всецело растворяясь в записках «русского скитальца», свидетеля мрачных событий, перевернувших судьбы народов и людей. 1848 год стал страшной вехой, разделившей жизнь на две половины: «С половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки — ошибки лиц, ошибки целых народов» (10, 26).

¹⁰ Обстоятельства личной жизни получили и прямое отражение в литературе, легли в основу одного из публицистических шедевров Герцена, на что прямо и следует отсылка в воспоминаниях: «Моя статья „По поводу одной драмы“ была заключительным словом прожитой болезни» (там же).

Конечно, живы в памяти и трагические семейные события, но в рассказе о всеевропейских катаклизмах и катастрофах неловко, неуместно уделять быту, личным драмам большое место. Но изредка и неожиданно в летописном рассказе всплывают туманные напоминания об одной из важнейших целей книги, от которой столь далеко отошел мемуарист. Так, надрывно-элегическим, не очень ясным намеком завершается великолепное описание швейцарских гор: «Каким натянутым ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести и тишины из двух путников, потерянных на этой выси и считавших друг друга близкими друзьями, один обдуывал черную измену? . .

Да, жизнь иногда имеет свои мелодраматические выходы, свои *cours de théâtre*, очень натянутые» (10, 115).

Намек не просто туманный, а и зловещий, горестно-иронический: жизнь, отлившаяся в форму плохой литературы, натянуто-мелодраматического представления. Освистать бы эту пьесу, уничтожить в рецензии, да невозможно, так как она реальность, жизнь. Иного рода попутное признание, нарушающее хронологическую последовательность рассказа, — гордое кредо атеиста: «Три года тому назад я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу. Эта жизнь была все мое достояние. Мгла стлалась около меня, я дичал в тупом отчаянии, но не тешил себя надеждами, не предал своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свидании за гробом» (10, 123). Наконец, обращаясь к друзьям молодости, Герцен прямо пишет о важных, но пока изъятых главах и о других, которые должны и будут написаны: «Когда-нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ мой останется непонятым, усеченным, может, ненужным, во всяком случае будет не тем, чем я хотел, но все это после, гораздо после! . .» (10, 131). «Рассказ о семейной драме», эта одновременно основная и кульминационная часть исповеди, в полном виде был опубликован «гораздо после» смерти Герцена. Современникам были известны отрывки из нее, а также теоретическое послесловие — статья «Раздумье по поводу затронутых вопросов», необходимым элементом вошедшая в состав книги.

Статья эта не просто очередная полемика, повторение высказанных уже в «Капризах и раздумье» излюбленных мыслей Герцена, а их высший синтез и последнее слово писателя о проклятом круге тесно сопряженных проблем: женская эмансипация, «искупление плоти», семья. Статья подготовлена и внутренним образом связана с предшествующей ей главой, содержащей портрет П.-Ж. Прудона — человека, к которому Герцен испытывал особую симпатию («поэт-диалектик», «великий иконоборец»). При всем уважении к Прудону (он был одним из тех выдающихся европейских мыслителей и революционеров, к которым Герцен обращался за помощью в трудную минуту), писатель, не колеблясь, осудил его взгляд на семейную жизнь и женщину как ре-

акционный и клерикально-домостроевский. Герцен метко назвал идеал Прудона в опечалившей его книге «О справедливости в церкви и революции» «каторжной семьей».¹¹

Именно дикие идеи книги Прудона и послужили непосредственным толчком к написанию статьи. Герцен размышляет над двумя крайними воззрениями. Одно — высказанное Прудоном: семья, «в которой для общественной цели лица гибнут, кроме одного». Тут особенно и опровергать нечего: можно лишь сожалеть о прискорбных заблуждениях «поэта-диалектика». Другое — новомодное: так называемый нигилистический свободный союз, где все позволено и разрешено, «брак и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былого и независимость лиц» (10, 202). Но оба воззрения «экстремны», оба уязвимы, теоретичны и страшно далеки от «истины», «диагонали», хотя Герцен, человек нового мирозерцания, больше сочувствует учению, проповедующему равенство и свободу отношений, суверенность лиц.

Отменить «ревность», отказаться от страстей, считает Герцен, невозможно и не нужно, так как это было бы равносильно отказу от индивидуального и превращению личности в «общечеловека». Но, безусловно, необходимо гуманизировать отношения, сделать их более человеческими, не подавляя свободу лица и не потакая темным, «звериным» инстинктам: «Радикально уничтожить ревность — значит уничтожить любовь к лицу. <...> Но именно только личное, индивидуальное и нравится, оно-то и дает колорит, *topos*, страстность всей нашей жизни. Наш лиризм — личный, наше счастье и несчастье — личное счастье и несчастье. <...> Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб они лились человечески... и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника» (10, 204—205).

Герцену, разумеется, отчетливо видна антигуманная сущность патриархального и буржуазного; «контрактового», браков. Однако парадоксальнейшим образом и новый свободный союз превращается в «рабство любви», т. е. в конечном счете вместо эмансипации, равенства — вновь ловушка, кабала, «квадратура круга»: «... стирается всякий разумный контроль, всякая ответственность, всякое самообуздание. Покорение человека неотразимым и не подчиненным ему силам — дело совершенно противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся, разными путями, все социальные учения» (10, 208). Революци-

¹¹ «Семья, первая ячейка общества, первые ясли справедливости, осуждена на вечную, безвыходную работу; она должна служить жертвенником очищения от личного, в ней должны быть вытравлены страсти. <...> В этой семье брак будет нерасторгаем, но зато холодный, как лед; брак, собственно, победа над любовью: чем меньше любви между женой-кухаркой и мужем-работником, тем лучше» (10, 198).

онная риторика оказывается сродни религиозным догматам (только здесь другой догмат — «психиатрический, физиологический») и деспотически-юридической узде. И, пожалуй, это новое рабство, претендующее на абсолютную свободу, представляется Герцену еще более опасным, чем старый, крепкий традициями, откровенный «контрактный» брак. Герцен несколько не желает смягчить оговорками и дипломатическими фразами свой приговор адептам свободной любви, «психиатрического догмата»: «Я отрицаю то царственное место, которое дают любви в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением» (10, 209).

Логические доводы и убийственные сопоставления Герцена неотразимы: они и сегодня звучат не менее актуально, чем в середине XIX в., что, в сущности, нимало не удивительно: заколдованный, проклятый круг проблем остался прежним, и трезвый, реалистический анализ рациональных и иррациональных аспектов великой эмансипации несколько не утратил своего значения для человечества, приближающегося к концу XX в., пережившего революцию и войны, каких не знал «железный» XIX в. Особую силу взгляду Герцена придает его гуманистический подтекст. Он на стороне слабых, зависимых, поработанных. Им отдано все сочувствие мыслителя: «Да, женщину в этом вопросе мне всего больше жаль: ее безвозвратно точит и губит всепожирающий Молох любви. Она больше верует в него, больше страдает. Она больше сосредоточена на одном половом отношении, больше загнана в любовь . . . Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него. <...> Трезвый взгляд на людские отношения гораздо труднее для женщины, чем для нас, в этом нет сомнения; они больше обмануты воспитанием, меньше знают жизнь и оттого чаще оступаются и ломают голову и сердце, чем освобождаются, всегда бунтуют и остаются в рабстве, стремятся к перевороту и пуще всего поддерживают существующее» (10, 209—210).

Ожидать здесь быстрого прогресса, уповать всецело на силу разума может только догматик. «Каторжная семья» и «рабство любви» — ловушки, которых избежать удастся очень немногим, да и то заплатив страшную цену. «Логическая» исповедь, теоретические размышления по поводу обрываются (или, вернее, достигают пика) на очень личной ноте: «Выпутаться женщине из этого хаоса — геройский подвиг, его совершают одни редкие, исключительные натуры; остальные женщины мучатся и если не сходят с ума, то только благодаря легкомыслию, с которым мы все живем до грозных столкновений и ударов, не мудрствуя лукаво и бессмысленно переходя с дня на день от случайности к случайности и от противоречия к противоречию.

Какую ширину, какое человечески сильное и человечески прекрасное развитие надобно иметь женщине, чтоб перешагнуть все палисады, все частоколы, в которых она поймана!

Я видел одну борьбу и одну победу. . .» (10, 211—212).

О «борьбе» и «победе» речь идет в «Рассказе о семейной драме». В статье — лишь намек и итог: переброшен мост к собственно исповеди. Статья не просто соприкасается с исповедью, но прямо переходит в нее. Это не полемическое приложение к исповеди, а равноправная с нею часть. Тоже исповедь, но переведенная в другой, теоретико-логический регистр, где личные мотивы, интегрированные в философско-социологические мысли, создают особую эмоционально-напряженную тональность.

«Рассказ о семейной драме», помещенный в составе части 5 «Былого и дум», этот шедевр в шедевре, создавался медленно и мучительно. Цели мемуариста с годами менялись. Книга росла, выламываясь из жанровых и хронологических рамок. Тем не менее в ней сохраняется не только внутреннее, но до известной черты и внешнее единство. В повествовании, свободном и многогранном, ясно прочерчиваются лейтмотивы. Есть герои, сюжет и время от времени всплывающие напоминания о главной цели книги, трагическом финале, драматических обстоятельствах, о которых автор еще не может рассказать, но непременно когда-нибудь расскажет. «Рассказ о семейной драме» ознаменовал окончательный отказ Герцена даже от условной хронологической последовательности повествования. Это последняя точка исповеди. В дальнейшем Герцен к узколичным темам будет обращаться крайне редко. Жизнь его, как частного человека, в пространстве книги обрывается со смертью главной героини — Natalie.

Первые главы «Рассказа о семейной драме» возвращают к зловещим июньским событиям 1848 г., кровавым парижским дням, к прощанию Герцена с «великим городом». Эти события пагубно, отравляюще вошли в личную жизнь, по-разному, но одинаково болезненно отразившись на душевном состоянии Герцена и Natalie. Того «выхода» из кризиса и мрака, который вылился у Герцена в слове отчаяния, иронии, проклятия прогнившему миру («ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид, в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодование, выступающие через край. . .» — 10, 226), у Наташи не было. В хаосе взорванных дней, опрокинутого быта, переставшего фактически им быть, во взвинченном и безалаберном ритме «послегрозовых» дней произошел надлом в душе жены. И на этот раз Герцен пропустил диссонанс, начало болезни, имевшей трагические последствия: «Утром дети, вечером наши раздраженные, злые споры — споры прозекторов с плохими лекарями. Она страдала — а я вместо врачеванья подавал горькую чашу скептицизма и иронии. Если б за ее больной душой я вполночь так ухаживал, как ходил потом за ее больным телом . . . я не допустил бы побегам от разьедающего корня проникнуть во все стороны. Я сам их укрепил и вырастил, не изведая, может ли она вынести их, сладить с ними» (10, 226).

Ретроспективные размышления и сожаления. Вспоминая былое и перечитывая дневниковые записи жены, Герцен испытывает боль и печаль, винит себя в глухоте и непонимании. Отсюда и эти

неизбежные «если б», в сущности совершенно нереальные. Не мог Герцен помешать превращению своего дома в приют для скитальцев, хотя постоянное стихийное вторжение чужих людей разъединяло супругов. Не мог Герцен бежать и из неодолимо притягивавшего его к себе страшного Парижа. Тем более не мог он вернуться в Россию. Не было случайностей — все сплелось в нерасторжимую цепь причин и следствий. «Если б» и «зачем»¹² фантастичны, невероятны; бессмысленное перечисление несбывшихся, несостоявшихся слов и дел. Без них, однако, невозможна исповедь. В риторических вопросах и запоздалых самообвинениях, постоянных возвращениях к былым мгновениям жизни находят исход скорбь, тоска, горе.

Частые перерывы в рассказе, какая-то судорожная «рапсодийность» с графической точностью передают смятенность духа мемуариста, которому тяжело касаться незаживающих ран. Трудно назвать и имя человека, принесшего столько бед и несчастий. Гораздо увереннее чувствует себя Герцен в плоскости «логической» исповеди. Многие в «Рассказе. . .» — прямое развитие мотивов книги «С того берега», горестная повесть о том, как сомнение «из общих идей <...> пробиралось в жизнь», а беды и страдания не укрепляли, а истощали душевную энергию, унося с иллюзиями теплоту, сердечность отношений: «Несчастье — самая плохая школа! Конечно, человек, много испытывший, выносливее, но ведь это оттого, что душа его памяти ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее, потому что свыкается с страшными мыслями, наконец, он боится несчастий, т. е. боится снова пережить ряд щемящих страданий, ряд замираний сердца, которых память не разносит с тучами» (10, 236—237).

И лишь воссоздав картину общих и личных страданий, душный климат Парижа после июньских дней, завершившихся фарсом, воцарением «Наполеона маленького» («Осиротевшая передняя наконец нашла своего барина!»), сообщив о зловещих *психических приметах*, предвещающих какое-то грозное несчастье, Герцен вводит в рассказ ненавистную личность и, не успев толком познакомить с ней читателя, тут же устраняет ее из плоскости повествования: «В это-то напряженное, тяжелое время испытаний является в нашем кругу личность, внесшая собою иной ряд несчастий, сгубивший в *частном* быте еще больше, чем черные Июньские дни — в *общем*. Личность эта быстро подошла к нам, втесняет себя, не давая образумиться. . .» (10, 236).

Далее многооточие и *общий* быт. Вновь перерыв — и воспоминание о романе, поразившем в юности не художественными достоинствами, а интересной попыткой автора показать «встречу

¹² «Зачем не уехал и я? Многие было бы спасены, и мне не пришлось бы принести столько человеческих жертв и столько самого себя на заклятие богу жестокому и беспощадному» (10, 229).

двух миров у семейного очага». Роман осмысливается как своеобразное пророчество, пролог собственной судьбы: «...мне не приходило в мысль, что и я попаду в такое же столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колея истории» (10, 238). Семейная драма становится *исторической*, отражением общих тенденций и столкновений. «Случаю» здесь места нет: *частный* быт является производным *общего* быта, а последний — производным всемирного конфликта. Именно личная трагедия дает высшее право Герцену сделать неутешительный вывод-прогноз: «Много еще разовьется ненависти и прольется крови из-за этих двух разных возрастов и воспитаний» (10, 239). Она же объясняет и до известной степени оправдывает слишком резкое, эмоционально окрашенное противопоставление России и Запада как двух «цивилизаций»: «Наша цивилизация наковня, разврат груб, у нас из-под пудры колет щетина и из-под белил виден загар, у нас есть лукавство диких, разврат животных, уклончивость рабов, у нас везде являются кулаки и деньги — но мы далеко отстали от наследственной, летучей тонкости западного растления. У нас умственное развитие служит чистилищем и порукой. Исключения редки. Образование у нас до последнего времени составляло предел, который много гнусного и порочного не переходило» (10, 238—239).

Мысли, здесь высказанные, вовсе не представляют собой исключения в творчестве Герцена. Это еще одна вариация на протяжении многих лет темпераментно отстаиваемого Герценом-публицистом положения, вошедшего в его теорию «русского социализма». Противопоставление Запада и России помогает понять историческую суть семейной драмы и отчасти умеряет эмоционально-субъективную направленность рассказа: «Было время, я строго и страстно судил человека, разбившего мою жизнь, было время, когда я искренно желал *убить* этого человека. . . С тех пор прошло семь лет; настоящий сын нашего века, я износил желание мести и охладил страстное воззрение долгим, беспрерывным разбором. В эти *семь лет* я узнал и свой собственный предел, и предел многих — и вместо ножа — у меня в руках скальпель и вместо брани и проклятий — принимаюсь за рассказ из психической патологии» (10, 239).

Однако «скальпель» дрожит в руках повествователя, превращаясь в обоюдоострый нож. Желание мести не «износилось», а утончилось и ужесточилось с годами. Портреты Гервегов выдержаны в остропамфлетном, переходящем в карикатуру стиле. Не щадит Герцен и себя. Не утаивает «жестоких» слов, вырвавшихся в разгар кризиса, когда тоненькая перегородка отделяла его от преступления: «Я был слишком раздражен, чтобы человечески понимать смысл слов, я чувствовал что-то судорожное в груди и голове и был, может, способен не только к жестоким словам, но к кровавым действиям. (...) Я чувствовал себя раздавленным; дикие порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия пьянили меня. Какой процесс, какая виселица могли устрасить — жизнь

свою я уже не ставил ни в грош, — это одно из первых условий для дел страшных и безумных» (10, 261). Остановил его «вид бесконечного страдания, немой боли». Порыв страстей уступил место жалости, раскаянию и уже потом удивлению, каким же образом он, человек, проповедующий новую мораль, социалист и демократ, поборник эмансипации женщин и «исккупления плоти», превратился в ветхозаветного супруга, в Рауля Синюю Бороду, готового требовать немедленной сатисфакции, мстить, карать, убивать.

Щадит Герцен только жену. С особенным, отрадным, хотя и грустным, чувством вспоминает он короткий период счастья, которым после «кружения сердца», горячки и бреда «торжественно заключилась личная жизнь». Время возвращения к семейному очагу, реставрации быта. У исповеди целый ряд дополнений и миниатюрный эпилог с завершающей фразой — последней в этом удивительном литературном надгробии жене: «Бедная страдалица — и сколько я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве!» (10, 314).

Современникам были известны отдельные главы и фрагменты «Рассказа о семейной драме» (в том числе и трагическая глава «Осеано пох» — художественная вершина творчества Герцена). Только небольшой круг родственников и друзей имел счастливую и редкую возможность прочесть полный текст главной исповеди писателя. В их числе и Тургенев, который был буквально потрясен психологической силой изобразительности Герцена, художественной и человеческой правдой. «Былое и думы» (а не только «Рассказ о семейной драме») поистине книга, в которой автор стремился к предельно искреннему, правдивому рассказу о времени и о себе, к восстановлению и установлению доподлинной картины века. Реакция Тургенева на исповедь находится в полном согласии с установками мемуариста, писавшего о своем труде М. К. Рейхель: «Да — писать записки, как я их пишу, — дело страшное, — но они только и могут провести черту по сердцу читающих, потому что их так страшно писать, — расположение чувствуется, оно оставляет след. <...> Я год обдумывал — начать или не начинать труд такой интимный и такой страстный... что, начавши, трудно было остановиться. Весь вопрос состоял: „Исповедуешь ли ты перед своей совестью, что ты чувствуешь в себе силу и твердость сказать всю истину?“ Из этого не следует, что все в моих Записках — само по себе *истина* — но истина для меня, я мог *ошибиться*, но уже не мог говорить правды. Вот <...> почему и те, которые нападают на все писанное мною, в восхищении от „Былое и думы“, — пахнет живым мясом» (26, 146—147).

Сопоставление «Былого и дум» и автобиографических произведений С. Т. Аксакова и Толстого имеет давнюю традицию, подкрепленную отчасти и отзывами Герцена о «Семейной хронике», «Детстве», «Отрочестве», «Юности». Тургенев, который вообще был склонен к широким литературным параллелям и однажды несказанно удивил Салтыкова-Щедрина, сравнив его со Свифтом, пожалуй, первый обнаружил нечто общее между воспоминаниями Герцена и Аксакова. Он писал Герцену по поводу очередных глав «Былого и дум»: «Решительно оказывается, что собственное твое призвание — писать такого рода хроники. Это в своем роде стоит Аксакова». ¹³ Сопоставление не показалось Герцену убедительным, а жанровое определение своего труда как «хроники» он решительно отверг: «Я не думаю, чтоб ты был прав, что мое призвание — писать такие хроники, — а просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы, не стесняясь, en abusant de la ragenthèse. Это просто ближайшее писание к разговору — тут и факты, и слезы, и хохот, и теория, и я, как Косидьер наизнанку, делаю из беспорядка порядок единством двух-трех вожжей очень длинных, как у здешних handbot'кабов» (26, 60). Гораздо более справедливым показалась Герцену другой эпистолярный отзыв Тургенева: «Странное дело! В России я уговаривал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь — тебя. И это не так противоположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары — правдивая картина русской жизни, только на двух ее концах — и с двух разных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна — она и широка — и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу». ¹⁴

Такое сделанное в общей форме диалектическое сопоставление, с указанием огромной разницы между хрониками Аксакова и книгой воспоминаний Герцена, разумеется, возражений вызвать не могло. Справедливость его очевидна. Справедливо, впрочем, и другое: в «Былом и думах» Герцен менее всего стремился к хронике, летописному, неторопливому рассказу о людях и событиях прошлого. Автобиографические произведения Аксакова в этом и во многих других отношениях прямая противоположность «запискам» Герцена.

Герцен оценил правдивость и поэтичность «Семейной хроники». Попросил И. Делаво написать о книге Аксакова. ¹⁵ Но, пропагандируя «Семейную хронику» и высоко оценивая ее как талантливое и правдивое произведение о недавнем прошлом глупинской, провинциальной России, Герцен одновременно высказал ряд замечаний, которые не могут быть всецело объяснены заботой

¹³ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Л., 1961. Т. 3. С. 49.

¹⁴ Там же. С. 10—11.

¹⁵ Статья была напечатана в «Revue de Deux Mondes» (1857. 15 juin), но письмо Герцена к Делаво, к сожалению, не сохранилось.

о восприятии книги европейским читателем. Он скептически отнесся к намерению М. Мейзенбург перевести хронику: «Я не советую вам браться за перевод воспоминаний Аксакова, они слишком обширны, из них следовало бы сделать небольшую книжку, а это нелегко» (26, 17). Герцен считал, что хроника «очень национальное произведение» и даже, пожалуй, экзотическое: «. . . в „Хронике“ Аксакова излагается история одного из его дедов, который переселился из Симбирской губернии в Оренбург. Это была тогда совсем дикая сторона, и это история американского settler'a с грубым и патриархальным, чисто славянским характером; между прочим, в ней очень интересны женские образы и описания первого соприкосновения полоевропейской цивилизации с полудикими натурами. В одном русском журнале напечатан новый том. Сказать правду, это сочинение слишком длинно для рядового читателя. Выберите лучше ряд отрывков, а пропуски вкратце перескажите» (26, 55, 90).¹⁶

«Семейная хроника» отвечала тезису Герцена о необходимости осветить тайны столичной и провинциальной русской жизни в далеком и недавнем прошлом — задача, выдвигавшая на передний план мемуарную и документальную литературу. «Бесстрастный передаватель изустных преданий», как рекомендовал себя автор «Семейной хроники», нелюбопытен и правдиво, не опуская многих жестоких и мрачных подробностей, знакомил читателей с жизнью и характерами обыкновенных людей. Его книга из ряда биографий именно такого рода, о которых полушутя, полусерьезно писал Герцен еще в романе «Кто виноват?», отдавая им предпочтение перед «житиями» великих. С декларацией Герцена перекликается прощальное слово автора «Семейной хроники», обращенное к героям книги: «Прощайте, мои светлые и темные образы. <...> Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и неизвестности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь, в свою очередь, будем любопытны и поучительны для потомков. Вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все лица, и так же стоите воспоминания». ¹⁷

Судя по всему, Герцен в произведениях Аксакова был заинтересован картиной нравов, летописью «медвежьего угла», отдаленно напомнившей ему романы Ф. Купера, а не тонким изображением детской и семейной психологии, изумительной пейзажной живописью. Он увидел в хронике чрезвычайно любопытный документ о далеком прошлом, хотя и несколько старомодный, архаичный.

¹⁶ Предостережения Герцена оказались пророческими. Рецензент «Allgemeine Zeitung» оценил талант Аксакова скромно, увидев в нем писателя второго ряда в отличие от Пушкина, Гоголя, Тургенева и Герцена.

¹⁷ Аксаков С. Т. Избр. соч. М., 1982. С. 217—218.

Другое дело трилогия Толстого, не говоря уже о «Записках из Мертвого дома» Достоевского: это были произведения, отразившие новые веяния и тенденции в русской литературе, а возможно, и обозначившие собою новый ее этап.

Трилогия Толстого во многом лишь условно автобиографична. Писатель был раздражен произвольной переменной заглавия редакцией «Современника», подчеркнувшей как раз автобиографичность «Детства» («История моего детства»). Гнев автора понятен: ему навязывались совсем другие цели. Трилогия несколько не более автобиографична, чем «Утро помещика», «Казачи», и, пожалуй, менее автобиографична, чем «Анна Каренина». Позднее Толстой с чрезмерной суровостью отозвался о трилогии, осудив «нечистоту» жанра, «литературность» и «неискренность». Сделал он это в «Воспоминаниях», к которым приступил уже в старости. И хотя слова Толстого о своем литературном первенце отразили его максималистски-ригористическую точку зрения после «переворота», хотя они были порождены иной эпохой, определенным образом идеологически и эстетически окрашены, они важны как прямое указание автора на жанровую природу и особенный тип «автобиографизма» трилогии: «Для того чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание (...) и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения и находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern'a (его «Sentimental Journey») и Töpfer'a («Bibliothèque de mon oncle»)».¹⁸

Суждение Толстого сурово и во многом несправедливо. Безмерно преувеличил Толстой и влияние Л. Стерна и Р. Тепфера.¹⁹ В литературе о молодом Толстом (достаточно назвать книги Б. М. Эйхенбаума, Е. Н. Купреяновой, Б. И. Бурсова, Я. С. Биллинка) глубоко исследованы художественный метод и стиль писателя. Он сразу же вошел в русскую и мировую литературу со своим новым словом. Поражает как раз индивидуальность, художественная самостоятельность, даже дерзость, начинающего писателя; естественно, что Р. Роллана удивила автооценка Толстым трилогии, и он увидел в этом великодушный жест гения, упомянувшего в числе своих учителей полузабытого швейцарского прозаика. Трилогия Толстого не воспоминания, а художественное произведение, в котором есть герои, сюжет, вымысел. Это не

¹⁸ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 14. С. 381.

¹⁹ Еще Б. М. Эйхенбаум справедливо писал: «... тот факт, что Л. Н. Толстой воспользовался приемами Стерна и Тепфера, Руссо и Диккенса, не объясняет нам самого Толстого, силы и значения созданных им произведений» (Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пб., 1922. С. 91). Ср. также: «По существу же своему стиль Толстого принципиально отличается от стиля и Стерна и Тепфера» (Там же. С. 163).

история детства, отрочества и юности Толстого (хотя она и включает немало автобиографических и мемуарных подробностей), а книга о трех «эпохах», или «возрастах», человеческой жизни. Повествование широко распахнуто в мир, органично вбирает в себя наряду с историей Николеньки Иртеньева, его друзей и близких, принадлежащих к высшему, «комильфотному» обществу, множество других историй и биографий, преломленных в сознании героя-автора. Трилогия во всех смыслах стройное, концептуальное, художественно завершенное произведение, но с открытым финалом, содержащим авторское обещание продолжить «воспоминания»: «Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности». ²⁰

Продолжения не последовало. Более того: Толстой в дальнейшем уже не давал такого рода обещаний, возможно помня о неприятном инциденте с редакцией «Современника». Не таком, кстати, невинном — переименование произведения исказило замысел и концепцию книги, дезориентировало читателей, в том числе и Достоевского, видимо воспринявшего повесть как воспоминания: отсюда и мысль, что, исчерпав автобиографический материал, Н. Т. более ничего не напишет. Между тем Толстой потому-то и завершил трилогию, что это не воспоминания. Помимо того, что довольно странно было бы молодому писателю начинать со своей автобиографии (это удел людей пожилых и много повидавших), можно с полной уверенностью утверждать, что он и не совладал бы с воспоминаниями, так как они обязывали к рассказу о реальных лицах и событиях в хронологической последовательности и строгом соответствии с фактами. Во всяком случае известные нам попытки Толстого написать автобиографию и воспоминания потерпели неудачу. «Моя жизнь» 1878 г. не мемуары, а проспект воспоминаний, определение целей, тона и стержня книги. Толстой прервал автобиографию в самом начале, написав лишь введение и — схематично — изложив свою философию жизни, и это парадоксальным образом придало отрывку вид своеобразной идейно-психологической завершенности: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них». ²¹

Философия оправдывает или, точнее, объясняет «неудачу», отказ от замысла. Поистине, пройдя земную жизнь до половины, Толстой столкнулся с «непостижимостью». Очевидно, что и в дан-

²⁰ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1978. Т. 1. С. 340.

²¹ Там же. М., 1982. Т. 10. С. 500.

ном пункте философия Толстого прямо противоположна философии Герцена, которого мало интересовали эмбриональные и ранние стадии человеческой жизни. Детство в «Былом и думах» занимает сравнительно небольшое, скромное место. Герцен подробно характеризует среду, в которой протекали его ранние годы, создает несравненные, блистательные портреты людей старого времени. Но собственно детский взгляд, детские чувства, детское восприятие мира почти не выделяются и не акцентируются. Это именно воспоминания, т. е. рассказ и думы взрослого и умудренного человека о былом. Далек Герцен и от поэтизации детства, отчетливо прозвучавшей в книгах Толстого и Аксакова, где переход к отрочеству является настоящей драмой, переворотом, навязанным взрослыми переходом в другой мир, изгнанием из рая.²² У Герцена другая концепция и иерархия «возрастов» человеческой жизни, чем у Аксакова и особенно у Толстого.

В детстве Герцена мало света, теплоты, интенсивной жизни чувств, радости первооткрытия мира, т. е. всего того, что с такой поэтической силой запечатлено в «Детстве» и «Детских годах Багрова-внука» (характерно, что это произведение Аксакова Толстой ставил неизмеримо выше «Семейной хроники», а автору «Былого и дум», напротив, меньше нравились «Детские годы. . .»). Все симпатии Герцена отданы юности и молодости — эпохе наивысшего физического и духовного расцвета личности. Иное отношение у Герцена и к «падениям», «ошибкам», увлечениям юности: они естественны, неизбежны, соответствуют определенному возрасту человека, когда так трогательно и замысловато переплетаются в его душе эгоизм и возвышенные, романтические идеалы. «Часто теперь я спрашиваю себя: когда я был лучше и правее — тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? — и не могу себе дать положительного ответа», — растерянно вопрошает себя герой-повествователь «Юности».²³ Такой альтернативы для Герцена не существует, и, кроме того, ему чужд этический ригоризм и аскетизм Толстого, уже в первых произведениях которого проглядывает автор «Исповеди», «Смерти Ивана Ильича», «Хозяина и работника», «Воскресения». Герцен с элегической грустью вспоминает юность, сожалея лишь о том, что в пестром и бурном потоке стремительно мчавшихся дней не мог в полной мере оценить драгоценные минуты счастья. Вообще в «Былом и думах» прославляется умение жить в настоящем (иногда с оттенком гедонизма). Да и не склонен Герцен с чрезмерным усердием землемера ставить межевые столбы, резко отделяющие один «возраст» жизни от другого.

²² Отрочество — самая мрачная пора в трилогии Толстого, но, пожалуй, оно еще мрачнее в «Воспоминаниях» Аксакова, где круче переход от домашней жизни к существованию в казенном учебном заведении: распад отношений, чуть было не завершившийся катастрофой.

²³ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 1. С. 208.

Через огромный промежуток времени, на закате жизни, Толстой вернулся к работе над воспоминаниями, внеся радикальные перемены, противопоставив свое начинание всем прежним «автобиографическим» опытам и еще более подчеркнув стремление к самой точной и настоящей правде («правденской правде», как определял идеальную цель исповеди герой «Кроткой» у Достоевского): «...если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей».²⁴ Это близко, хотя и не во всем, намерениям и чувствам Герцена-мемуариста (тому не стыдно, а страшно и больно). Но принципиально отлично отношение Толстого и Герцена к ранним автобиографическим опытам. Герцен не отказывается от «Записок одного молодого человека». Они ему дороги как *тогдашняя* правда уже *исторического* времени, сохранить которую следует в прежнем виде, восстановив, по возможности, устраненные или искаженные цензурой места. «Записки» не противостоят «Былому и думам», они сосуществуют в потоке времени как литературные памятники различных «эпох» и «возрастов». С максималистской точки зрения Толстого — моралиста и педагога, автобиографическая трилогия — факт, достойный сожаления. Новые воспоминания, по ясно заявленному намерению автора, должны противостоять этим повестям, быть лучше, «полезнее другим людям». Однако Толстой и на этот раз столкнулся с непреодолимыми трудностями — не этическими, правда, а эстетическими. Воспоминания грозили превратиться в бесконечные поиски утраченного времени. Он так и остался в плоскости особенно дорогого ему детства: «Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства».²⁵ И в конце концов, когда душевная потребность в работе над мемуарами ослабла, бросил труд, признав, что выбрал непосильную ношу: «Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану и потому, что этому не будет конца, и потому, что мне они дороги и важны, а передавать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею».²⁶

Самое удивительное в позднем (через полвека) отзыве Толстого о трилогии — слова о «неискренности». Современники, в том числе Достоевский и Герцен, как раз более всего в книгах начинающего писателя отмечали искренность, смелость психологического анализа и своего рода стилистическую дерзость. Отзывы Герцена скупы, но чрезвычайно характерны: «Из новых произведений меня поразила своей пластической искренностью повесть графа Толстого „Мое детство“...» (12, 316); «Из всего литературного самое замечательное — то, что язык вдесятеро свобод-

²⁴ Там же. Т. 14. С. 380.

²⁵ Там же. С. 413.

²⁶ Там же. С. 432.

нее. Есть новый очень талантливый автор — граф Толстой» (25, 339).

В первой же повести Толстого Герцен увидел обнадеживающий признак начавшегося обновления русской литературы и общества, своего рода знамение времени. Повесть, в глазах Герцена, хотя и не мемуары в полном смысле, но произведение откровенно личное, исповедальное, — литературный документ эпохи, отмеченный печатью искренности (духом правды), психологическим бесстрашием. В, казалось бы, камерном произведении Герцен обнаружил яркое художественное отражение прогрессивных тенденций времени, услышал голос пробудившейся от вынужденной и длительной спячки русской литературы, освобождающейся от догматов, лакейских привычек, «лингвистического» рабства. Герцен не был одинок в такой высокой оценке произведений Толстого. Со словами Герцена о правдивости и смелости языка новой русской литературы вообще и автора «Детства» в частности явственно перекликаются суждения Чернышевского в статье о Толстом: «Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех замечательных своих произведениях, без исключения, есть благородное проявление чистейшего нравственного чувства». ²⁷ «Пластическая искренность, свободный язык» (Герцен), «диалектика души», «чистота нравственного чувства» (Чернышевский) — ведущие черты таланта Толстого; в этих емких формулах определено то особое положение, которое занял в русской литературе автор трилогии, «Набега», «Рубки леса», «Севастопольских рассказов», «Утра помещика».

Необыкновенную силу художественного анализа Толстого тонко почувствовал А. Григорьев. Он писал, в частности: «Анализ в своей беспощадности заставляет душу признаваться самой себе в том, в чем не всякая душа себе признается, в том, в чем стыдно себе самому признаться. Мудрено ли, что при огромном таланте анализ изощрился до того, что в „Метели“ способен влезть в существо воробья, который „притворился, что клюнул“; в „Военных рассказах“ разворачивает целую ткань пустых представлений, промелькнувших перед человеком в минуту смерти, до поражающей, несомненной правды». ²⁸ С энтузиазмом и благодарностью Григорьев воспользовался психологическими открытиями Толстого. В автобиографической книге «Мои литературные и нравственные скитания», обращаясь к эпохе своего детства, он прямо отталкивается от беспощадного анализа Толстого. «Если я теперь могу в этом признаться, — пишет Григорьев, прерывая рассказ о своих детских тайных мечтах, грезах, «романах», — то ведь,

²⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1947. Т. 3. С. 427.

²⁸ Григорьев А. Литературная критика. М., 1967. С. 538—539.

право, я — как и все, вероятно, — обязан этим Толстому, обязан новой эпохе. В нашей эпохе не было искренности перед собою; немногие из нас добились от себя усиленным трудом искренности, но, боже! как болезненно она нам досталась. Даже в Толстом, который одной ногою все-таки стоит в бывалой нашей эпохе, очевидны следы болезненного процесса». ²⁹

«Мои литературные и нравственные скитальчества» Григорьев написал по совету М. М. Достоевского, который хотел видеть на страницах почвеннического журнала нечто близкое по жанру очень тогда популярным, сенсационным «Литературным воспоминаниям» И. И. Панаева, включившего, как известно, в текст книги большие фрагменты из «Былого и дум». Автобиографическая книга Григорьева возникла на пересечении различных тенденций и явлений русской литературы середины XIX в. ³⁰ В ней «амальгамировались» эстетические, психологические, нарративные тенденции новой эпохи, что совершенно естественно, так как «литературность» мемуаров Григорьева в значительной степени синонимична «автобиографичности»: «Мне сорок лет, и из этих сорока по крайней мере тридцать живу я под влиянием литературы».

Литературные воспоминания Панаева и литературные «скитальчества» Григорьева — явления лишь частично близкие, но в гораздо большей степени различные, даже полярные. В воспоминаниях Панаева преобладает рассказ о других, а жизнь и личность мемуариста на заднем плане, в тени. Григорьев создает литературную исповедь; в фокусе книги личность «скитальца», «последнего романтика», русского Гамлета. Ему, естественно, близок «автобиографизм» Толстого и Аксакова, повести и публицистика с исповедальными мотивами Достоевского, «Сон Обломова» Гончарова, а также свободное, аналитическое слово Герцена в «Капризах и раздумье», «Былом и думках». Пожалуй, именно произведения Толстого, Герцена и Достоевского оказали наиболее сильное воздействие на жанр, замысел, постановку голоса автора-повествователя в мемуарах Григорьева: «Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное выйдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху». ³¹

²⁹ Григорьев А. Воспоминания. Л., 1930. С. 63.

³⁰ Впрочем, и европейских, более ранних: «Исповедь сына века» А. Мюссе, проза Г. Гейне.

³¹ Григорьев А. Воспоминания. Л., 1930. С. 15. Общие тенденции, разумеется, несколько не отменяют личного, индивидуального. Стадиальность развития, отношение «возрастов» у Григорьева иное, чем у Герцена и Толстого: «Детство мое личное давно уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не было, собственно, и юности. Юность, настоящая юность, началась для меня очень поздно, а это было что-то среднее между отрочеством и юностью» (Там же. С. 5).

Б. Ф. Егоров даже склонен особенно выделять воздействие «Былого и дум» на воспоминания Григорьева, которые отличает «изумительный сплав лиризма и историзма». ³² Он считает, что «сближает воспоминания Григорьева с „Былым и думами“ (<...> своеобразная „вершинность“, изображение лишь наиболее ярких эпизодов и черт, запоминавшихся авторам». ³³ Суждения справедливые (хотя, думаю, воздействие прозы Достоевского начала 1860-х гг. было несколько не меньшим). Литература всегда на первом плане в книге Григорьева. Многочисленные литературные параллели выполняют самые различные функции, в том числе и заместительную, — ссылки на тот или иной тип, художественно изображенный (персонажи воспоминаний Аксакова и комедий Островского), психологические открытия (Толстой), глубокий анализ веяний старой и новой эпохи (Герцен — автор «Былого и дум», Достоевский — автор «Зимних заметок о летних впечатлениях» и других произведений).

Часто заместительная функция предreshает композицию — литература как бы освобождает Григорьева от подробного рассказа и углубленного анализа, тем самым определяя краткость, суггестивность повествования и отчасти превращая сами воспоминания в явления вторичного порядка. Воспоминания вырастают в литературу и в конце концов трансформируются в ассоциативно свободную критическую статью. Попадающие в этот литературный поток реальные лица (к примеру, отец) не просто сравниваются с героями; рассказ о них, до известной степени конечно, превращается в критический «комментарий» к художественным произведениям: «Всех этих общих основ натуры отца я коснулся только для того, чтобы объяснить, какими он должен был жить умственными и литературными веяниями». ³⁴ И это не исключение, а правило, принцип, на который сам же мемуарист обращает внимание читателя: «Хорошая вещь — серьезные и захватывающие жизнь в ее типах литературные произведения. Мало того, что они сами по себе хороши, положительно хороши, — они имеют еще отрицательную пользу: захвативши раз известные типы, художественно и рельефно увековечив их, они отбивают охоту повторять эти типы». ³⁵

Мы не так уж много фактически узнаем о семье и бытовом окружении Григорьева, а литературная перспектива создает впечатление, что мы почти все о них знаем. Галереи портретов, длинной вереницы событий, подробного повествования о быте, как в произведениях Аксакова, Толстого, Герцена (да и в «Литератур-

³² Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980. С. 358.

³³ Там же. С. 365. «Из мемуаристов 50—60-х годов Григорьев наиболее близко подошел к тому новому, что внес в мемуарно-автобиографическую литературу Герцен», — полагает и Г. Г. Елизаветина (*Елизаветина Г. Г.* «Былое и думы» Герцена и русская мемуаристика XIX века: Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. М., 1968. С. 11).

³⁴ Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980. С. 126.

³⁵ Там же. С. 19.

ных воспоминаниях» Панаева), в книге Григорьева почти нет. Герои, ситуации, психологические коллизии, как правило, уже «были», уже увековечены литературой, и это очевидно даже тогда, когда Григорьев не указывает литературные «источники». «То был особый мир, особая жизнь, непохожая на эту действительность, жизнь мечты и воображения, странная жизнь, по своему могущественному влиянию столь же действительная, как сама так называемая действительность», — пишет Григорьев,³⁶ и его слова звучат как цитата из сентиментально-натуралистических повестей и фельетонов Достоевского, но цитата, сжатая до тезиса и исходящая из уст «последнего романтика» и изоциренного диалектика. Во всяком случае Григорьев несколько не сожалеет о мечтательно-романтической поре жизни: «Я той веры — в сорок два года, надеюсь, можно иметь смелость на такую веру, я той веры, что останови побег жизненной силы в одну сторону, она ударится в другую. Не развеялся во мне с ужасающей силою жизнь мечтательная, развилась бы с такую же жизнь животненная, а что лучше или хуже — решать, право, трудно».³⁷

Мемуары Григорьева — это отражение не истории, а литературы в сознании и жизни человека. Личность в них — это преимущественно усиленно читающая личность (мемуары — своего рода роман литературного воспитания или образования, «Подросток» Григорьева). И сам мемуарист выступает в амплу критика и историка литературы. Его слово обращено к сравнительно узкому, избранному кругу читателей. Отсюда и особенный, так сказать, иероглифический стиль, априорно подразумевающий энциклопедическую подготовку читателя.³⁸ Это книга об идеях, носившихся или носящихся в воздухе, литературно-философских веяниях, как отшумевших, уже ставших историей, так и новых, мощно, свежо, властно запечатленных в произведениях Островского, Толстого, Достоевского и в мемуарах «великого писателя» и «гениально остроумного автора писем о дилетантизме в науке», т. е. Герцена, прямо назвать имя которого Григорьев не может.³⁹

Воспоминания Григорьева — всего лишь один из откликов на «Былое и думы» в русской литературе и публицистике середины XIX столетия. Особую группу составляют книги-спутники «Былого и дум» — мемуары Т. П. Пассек, Н. А. Тучковой-Огаревой, М. Мейзенбуг, отчасти «Литературные воспоминания» И. И. Панаева.

³⁶ Там же. С. 66.

³⁷ Там же. С. 132.

³⁸ «Во всяком случае общего знания хода литератур и значения литературных периодов я имею основание требовать от того, кому благоугодно будет разрезать эти страницы „Эпохи“ с намерением пробежать их, и добросовестно предупреждаю его насчет необходимости этого общего знания. Мне некогда рассказывать историю немецкой, или английской, или французской литературы, и, передавая те веяния, которые они приносили нашему поколению, я поневоле вынужден ограничиваться намеками» (Там же. С. 140).

³⁹ Там же. С. 25, 139.

Чрезвычайно интересна исповедально-автобиографическая проза Огарева, органически сливающаяся с лирикой и письмами поэта. Она полемически заострена против книги Герцена. Непосредственно обращаясь в начале «Моей исповеди» к Герцену, Огарев подчеркивал отличие своего замысла от его мемуаров, акцентируя физиолого-патологические мотивы: «Нам мудро исповедоваться только для покаяния; для этого надо бы чувство покаяния, ответа перед каким-то судьей ставить выше всего. Но наше покаяние — это понимание. Понимание — наша прелесть и наша кара. Я хочу рассмотреть себя, свою историю, которая все же мне известна больше, чем кому другому, с точки зрения естествоиспытателя. Я хочу посмотреть, каким образом это животное, которое называют Н. Огарев, вышло именно таким, а не иным; в чем состояло его физиолого-патологическое развитие, из каких данных, внутренних и внешних, оно складывалось и еще будет недолгое время складываться. Понимаешь ты, что для этого нужна огромная искренность, совсем не меньше, чем для покаяния? Нигде нельзя приписать результат какой-нибудь иной, не настоящей причине, нигде нельзя испугаться перед словом: *стыдно!* Мысль и страсть, здоровье и болезнь — все должно быть как на ладони, все должно указать на логику — не *мою*, а на ту *логику* природы, необходимости, которую древние называют *fatum* и которая для наблюдающего, для понимающего есть процесс жизни. Моя исповедь должна быть отрывком из физиологической патологии человеческой личности». ⁴⁰

Огарев не завершил «Моей исповеди», этой «научно-патологической» автобиографии, задуманной по контрасту с *историческими* мемуарами Герцена. Остался незавершенным и другой автобиографический замысел Огарева — «*Cogitata et visa*». «Это моя исповедь, мои записки, — объяснял цель своего труда Огарев Герцену, — но задача их не та, которую ты так искренно высказал в твоих записках. Я не могу писать исповедь сердца, жизни, поступков. Не могу, — у меня на это не хватает храбрости (. . .) я не могу писать сердечно-искренних записок и беру иную задачу, которая меня сильно тревожит. Это умственное, теоретическое развитие, это история личного пути, по которому я искал верований, убеждений, истины, и, наконец, я хочу высказать результаты, к которым я пришел, общность, целое убеждений, которых я достигнул долгой работой мысли и жизни, понимания и опыта и которые мне теперь хочется привести в порядок. На эту исповедь у меня болезненная потребность, и писать ее — для меня самоудовлетворение». ⁴¹ Герцен весьма скептически отнесся к автобиографическим опытам Огарева. Выступил с острой критикой пробных отрывков, что, возможно, повлияло на рефлектирующего и очень дорожившего мнением друга Огарева, которому не уда-

⁴⁰ Лит. наследство. М., 1953. Т. 61. С. 674.

⁴¹ Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 1956. Т. 2. С. 21.

лось совладать с трудной формой «Cogitata et visa, сведенных на один день». ⁴² Брошены были Огаревым и «Записки русского помещика». Но как отрывки, так и письма Огарева, в которых набросаны проспекты автобиографических произведений, представляют собой не только любопытный фон «Былого и дум», но и являются бесценными документами, написанными рукой человека, который в кругу друзей Герцена был «чем-то вроде директора совести» (слова Анненкова).

Несомненно оказали «Былое и думы» и определенное воздействие на «Дневник писателя» Достоевского и «Литературные и житейские воспоминания» Тургенева — произведения смешанного художественно-публицистического рода. Репутация мемуаров Герцена была исключительно высока и с годами все более возрастала. «Советую, начиная с себя, — писал Д. Н. Свербеев в конце XIX в., — всем составителям мемуаров подражать, если только сумеют, „Былому и думам“ Герцена». ⁴³ Совет благой, но неисполнимый. Мало преуспел, подражая Герцену, и сам Свербеев. Да и трудно в таком деликатном и всегда очень личном деле кому-либо подражать. А совет подражать «Былому и думам» может оказаться даже пагубен и парализовать волю мемуариста. Да и странно измерять значение книги Герцена степенью ее воздействия только на русскую мемуаристику. «Былое и думы» — книга для всех и на все времена, неисчерпаемый источник для писателей, политиков, философов, историков, педагогов, социологов, критиков, лингвистов. Естественно, что влияние «Былого и дум» на русскую художественную и общественную мысль просто неисследимо. К мемуарам Герцена обращались и обращаются многие поколения художников и мыслителей как к одной из величайших русских книг. При этом «Былое и думы» редко оценивались изолированно от публицистики, художественных и философских произведений Герцена. В глазах современников (и еще в большей степени потомков) «Былое и думы» — вершина творчества Герцена — художника и мыслителя, тесно спаянная с другими, «малыми» вершинами — «Письмами об изучении природы» (1844—1846), «С того берега», «Концами и началами», романом «Кто виноват?». Вообще Герцен издавна воспринимался целостно, как огромное и исключительное явление всеми современниками, начиная с Белинского и кончая Толстым (и отнюдь не одними единомышленниками, что убедительно доказывает содержание статей Страхова). ⁴⁴

⁴² Там же. С. 186.

⁴³ *Свербеев Д.* Записки. М., 1899. Т. 1. С. 499.

⁴⁴ Не только враждебно относившийся к революционной деятельности Искандера, но и осуждавший «розовое христианство» Достоевского и Толстого, К. Н. Леонтьев восхищался антимещанской, *аристократической* позицией Герцена, которого «ужаснула (...) прозаическая перспектива сведения всех людей к типу европейского буржуа и честного труженика. (...) Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической брезгливости не скрывал. И за это честь ему и слава. Он был специалист, так сказать, по части жизненной реальной эстетики, эксперт по части изящества и выразительности самой жизни» (*Леонтьев*

В литературе о Герцене тщательно исследован вопрос о влиянии «Былого и дум» на мемуары народников, деятелей революции более позднего времени,⁴⁵ автобиографическую прозу Горького, Короленко, Белого.⁴⁶ «Историю моего современника» даже рассматривают как своего рода продолжение мемуаров Герцена. Г. Г. Елизаветина настаивает на жанровом и семантическом родстве обеих книг: «Основным принципом изображения становится здесь (в «Истории моего современника». — В. Т.), как и в „Былом и думах“, „отражение истории в человеке“, а целью создания не историческая монография, а мемуарно-автобиографическое повествование, соединяющее историю жизни человека с историей его времени. Новый жанр, использованный таким большим художником, как Короленко, еще раз показал свою жизнеспособность».⁴⁷

Собственно, такой вывод вполне справедлив именно потому, что сформулирован в предельно общем виде. Неудачно, правда, гибридно-расплывчатое словосочетание «мемуарно-автобиографическое повествование» и мало что проясняет термин «новый жанр» — по сути, не определение жанровой природы «Былого и дум», а отказ от него. К тому же книги Герцена и Короленко различны по многим параметрам: композиция, стиль, постановка авторского «я» и т. д. Различия обусловлены многочисленными причинами: мировоззренческими, эстетическими, личностными. Тем не менее «Историю моего современника» справедливо рассматривать и как своего рода развернутую реплику на мемуары Герцена, что, возможно, входило в планы Короленко, высоко чтившего автора «Былого и дум» и внимательно изучавшего его дневники. У Короленко свои интенции, свое понимание истории (другой тип историзма), свой жанр, но свободная ориентация на раскрепощенное слово Герцена и Толстого в «Истории моего современника» бесспорна.⁴⁸

К. Собр. соч.: В 9 т. М., 1912. Т. 6. С. 28–29). Впрочем, Леонтьев с удовольствием выделял антибуржуазные мотивы и в статьях Добролюбова.

⁴⁵ Особенно в работах Г. Г. Елизаветиной.

⁴⁶ Закономерно, что Белый, работая над мемуарной трилогией, говорит в письме к П. Н. Медведеву от 10 декабря 1928 г. о своем «былом и думах». Правоммерно сопоставление трилогии Белого с мемуарами как Герцена, так и Короленко, разумно только подчеркивающее своеобразие воспоминаний выдающегося русского символиста. «Подобно Герцену и Короленко, — пишет А. В. Лавров, — Белый предпринимает опыт детализированной автобиографии, построенной по хронологическим этапам прожитой жизни (детство, юность, зрелость) на фоне широкой исторической панорамы и с вкраплением относительно самостоятельных очерков — мемуарных портретов современников. Сходство в мемуарном методе, жанре, приемах повествования, однако, только оттеняет существенные отличия Белого в характере и стиле предпринятого им летописания» (Лавров А. В. Мемуарная трилогия и мемуарный жанр у Андрея Белого // Белый А. На рубеже столетий. М., 1989. С. 7).

⁴⁷ Елизаветина Г. Г. «Былое и думы» Герцена и русская мемуаристика XIX века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. С. 15.

⁴⁸ Оценивая «нечаевщину», Короленко исключительно близок к позиции Гер-

Б. В. Аверин резонно заметил, что «ставшее традиционным соотнесение „Истории моего современника” с автобиографическими произведениями С. Т. Аксакова, А. Герцена, Л. Толстого приводило к тому, что написанное в начале XX века произведение Короленко в сознании критиков, исследователей и читателей как бы отодвигалось назад, в XIX век».⁴⁹ Действительно, шаблонное соотнесение с самыми знаменитыми произведениями русской художественной прозы XIX в. мало помогает понять художественное и идейное своеобразие «Истории моего современника». С автобиографической прозой Аксакова и Толстого книга Короленко, в сущности, не имеет точек соприкосновения. Типологическое сопоставление «Истории моего современника» и «Былого и дум» в большей степени оправдано. Пожалуй, особенно сближает мемуары писателей художественно-социологический метод, повышенный интерес к общественной психологии и этическим проблемам, переведенным в историческую плоскость.

Но несопоставимы масштабы книг Герцена и Короленко. Во многом полярны и намерения мемуаристов и самое понимание исторической правды. «История моего современника» создавалась на стыке эпох. Она озарена беспощадным светом войн и революций, — потрясений, которые Герцен еще только вчерне предвидел. И тем поразительнее замедленный, спокойный темп рассказа Короленко, будничные интонации в сравнении с гневными, пронзанными убийственной иронией, всегда резко оценочными (а порой и инвективными) воспоминаниями Герцена.

«История моего современника» запечатлела и либеральные иллюзии Короленко, с грустью размышляющего о том, что «эпизод Лорис-Меликова мог бы стать поворотным пунктом, своего рода осью, вокруг которого повернула бы русская жизнь — от самодержавия, через твердый просвещенный абсолютизм, к конституционному строю».⁵⁰ Бурные события нового времени определили отношение Короленко к экстремистским течениям русского революционно-освободительного движения 60—80-х гг. XIX в.: «Да, русские руки часто слишком уж легко подымались и теперь поднимаются на многое, на что бы не следовало».⁵¹ Это генерализационный пласт книги. Но он далеко не главное в ней. Короленко чаще всего избегает широких обобщений и выводов. Не любит и отступлений в отличие от Герцена, у которого они норма и принцип. Несомненна разница между воспоминаниями выдающегося деятеля и идеолога русского и европейского революционного движения и ее рядового участника, народника Короленко, постепенно

цена в цикле писем «К старому товарищу» (1868—1869). Высокого мнения о знаменитом завещании Герцена был и Толстой. Цикл Герцена представляет собой и один из основных источников романа Достоевского «Бесы».

⁴⁹ Аверин Б. В. «История моего современника» В. Г. Короленко: (Социально-философское содержание и художественный метод): Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. Л., 1974. С. 3.

⁵⁰ Короленко В. Г. Собр. соч.: В 8 т. М., 1953. Т. 8. С. 118.

⁵¹ Там же. Т. 7. С. 122.

приходящего к мысли, что не революция, а литература его подлинное призвание.⁵²

«Главный труд всей жизни» Короленко не довел до конца, как не завершил «Былое и думы» и Герцен. Но в самой незавершенности этих произведений, вошедших в золотой фонд русской классики, кроется одна из причин нашего высшего доверия к ним, к запечатленной в них исторической картине русской жизни почти всего XIX в. Многозначие часто выразительнее точки. Отсутствие эпилога, этой могильной плиты, создает впечатление открытости, бесконечности, какой-то головокругительной перспективы, проекции в будущее. Важно еще и то, что книги Герцена и Короленко не просто мемуары, а самые главные произведения писателей. «История моего современника» — итог жизни и художественно-документальное завещание Короленко. Мемуары Герцена органично и естественно вбирают в себя его статьи, некрологи, письма, что еще больше подчеркивает доминирующее, главенствующее место книги воспоминаний в творчестве писателя.

4

Со временем, в перспективе все яснее вырисовывались масштабы воздействия слова Герцена на развитие русской общественной мысли XIX в. Но отнюдь не одни только исторические заслуги Герцена получили признание новых поколений. Россия XX в., Россия революций и гражданской войны, не без удивления и восхищения обращалась к произведениям Герцена (философа, публициста, художника), засверкавшим неожиданно остро и злободневно новыми гранями. А. Гизетти, отражая не только свое личное, особое, но, так сказать, и общественное мнение, писал, что «книги Герцена изумительно соединяют „злободневное“ и „вечное“; родившиеся из живой атмосферы политических страстей, пестря всюду именами лиц и событий давно забытых или стусевавшихся в общей картине эпохи, они насыщены такой дальнзоркой страстной мыслью, полны такого широкого обобщающего смысла, что можно черпать из них уроки для понимания современности и находить там преждевременные, но в конце концов сбывшиеся пророчества».⁵³

В том же духе писал и А. С. Долинин в статье «Памяти Герцена. (К 50-летию со дня его смерти)», восхищаясь «огромной личностью» Герцена: «Он жив более, чем кто-либо из его современников; гораздо более, чем Белинский и Грановский. И слава,

⁵² «Уход» в литературу вовсе не означал устранения от политической борьбы. Именно как независимый русский писатель, не принадлежащий ни к одной из партий и не состоящий на государственной службе, Короленко темпераментно и энергично выступал против произвола и насилия как до Октябрьской революции, так и после нее (письма к А. В. Луначарскому и А. М. Горькому).

⁵³ *Гизетти А.* Мироззрение Герцена // А. И. Герцен. 1870. — 21 января. — 1920. Пгр., 1920. С. 24.

и истинное понимание, и наиболее полное оплодотворение его мыслями не позади, а впереди». ⁵⁴

Правда, как А. Гизетти, так и А. С. Долинин (и многие другие, это отзывы характерные, типичные) оперируют слишком общими формулами, соблюдая вдобавок торжественный юбилейный тон. Более конкретно, осязаемо дает представление о том, что именно тогда в творчестве Герцена буквально обжигало, казалось особенно злободневным, роман В. В. Вересаева «В тупике» — одно из первых и одновременно одно из самых значительных и глубоких произведений о гражданской войне. Героиню романа, более всего выражающую позицию автора, поразил пророческий тон книги Герцена «С того берега», особенно слова о «новых христианах» и «варварах»: «Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот. <...> Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».

Слова из знаменитой, хорошо знакомой Кате Сартановой книги наполняются новым смыслом, звучат как сбывшееся пророчество: «Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно, — как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно? . . . „Правый и виноватый погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете“. . . И вот они пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения». ⁵⁵

Характерно, что те же слова из книги Герцена «С того берега» процитировал и современный исследователь русской общественной мысли В. К. Кантор, акцентируя внимание на «скифстве» Герцена, — мотиве, подхваченном и развитом позднее Блоком, Брюсовым («Грядущие гунны»), Р. В. Ивановым-Разумником: «. . . тема, возникшая дома, на родине, как предвестие грядущего катаклизма, вызванного противостоянием униженного народа и высших, по-европейски образованных классов, глобализовавшись, опрокинулась на Европу: оказывается, решил Герцен, гибель грозит не просто русским „образованным классам“, а всей европейской цивилизации. <...> позиция Герцена удивительно

⁵⁴ Долинин А. Памяти Герцена: (К 50-летию со дня его смерти) // Возрождение Севера. 1920. 1 февр. № 23. Симптоматично и обращение И. А. Бунина в «Окаянных днях» к мыслям Герцена, в том числе и о Великой французской революции. Герцен в этой книге, пронизанной ненавистью к большевикам, выступает как один из замечательных представителей старой, уходящей дворянской России.

⁵⁵ Вересаев В. В тупике. М., 1925. С. 68.

схожа с брюсовской. Он готов приветствовать разрушение культуры и свою гибель как ее представителя». ⁵⁶

Бесспорно, что некоторые эмоциональные, крайние высказывания Герцена конца 1840—начала 1850-х гг. (позиция «зрителя», «постороннего», «варвара», «скифа», «туранца») были органично усвоены «евразийцами», составной частью вошли в их философию истории. Но «скифство» Герцена, столь же несомненно, было одним из футурологических элементов его концепции исторического развития мира, романтическим отступлением от реалистического метода, т. е. не сердцевиной его воззрения, а эстетически ярким, отчасти даже надрывным выражением кризиса. Естественно, что позднее «скифство», постепенно отходя на задний план, было преодолено Герценом. И не только «скифство», но и теория особого, с некоторым славянофильским оттенком «русского социализма». Другое дело, что эти идеи охотно и интенсивно усваивались русской художественной и философской мыслью (от Григорьева и Достоевского до Блока, Иванова-Разумника, Карсавина), невольно и даже неизбежно воздействуя и на наше восприятие мировоззрения Герцена-эмигранта. Вот и В. К. Кантор — явно в свете поздних отражений идей Герцена — называет «С того берега» «апокалиптической книгой», пишет об «эсхатологической взвинченности герценовской позиции», обнаруживает «метафизическую тоску по „погибшей Европе“». ⁵⁷ Все это чрезвычайно неточно и представляется, говоря откровенно, модернизацией идей Герцена в духе весьма распространенных сегодня апокалиптических настроений.

И «скифство» Герцена, и его пророчества о нашествии «новых варваров» (пророчества, действительно, с некоторым эсхатологическим оттенком) не были ни константными, ни главными элементами его мировоззрения, в большей или меньшей степени связанными с проповедью служения народу, «меньшому брату», с жертвенно-героической, революционной этикой. Закономерно, что современные и последующие поколения восприняли клятву на Воробьевых горах как откровение (символ веры русской интеллигенции). ⁵⁸

⁵⁶ Кантор В. К. Герцен: Русское искусство как фактор революционного развития общества // А. И. Герцен: Эстетика. Критика. Проблемы культуры. М., 1987. С. 25.

⁵⁷ Там же. С. 24. А с другой стороны В. К. Кантор совершенно неожиданно вдруг объявляет Герцена «крупнейшим теоретическим предшественником» социалистического реализма (с. 48). Более чем странная мысль: бесконечно далеко от этого мертворожденного детища тоталитарной системы свободное, адогматичное, ироничное слово Герцена. Герцен — предтеча тех, кто закабалил слово, сковал указы и уголовными статьями русскую литературу! Это просто абсурд!

⁵⁸ Горячее слово, романтический порыв были неразрывно слиты с величественной перспективой. Слово прозвучало со своего рода революционного амвона (горы). «Конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета», — писал о религиозном духе и космическом фоне клятвы Мандельштам (*Мандельштам О. Слово и культура*. М., 1987. С. 71).

Л. Я. Гинзбург, принадлежащая к поколению, для которого этический максимализм Герцена, разночинцев, народников еще не был «забытым словом», дает сжатый историко-литературный очерк трагической эволюции идеала:

«Взращенные в материальном благополучии, мы не умели дорожить его возможностями. И потому подростки семнадцатого года переход от благополучия к абсолютной нищете как бы и не заметили (при всей моей психологической подозрительности и привычке отыскивать спрятанные мотивы, говорю твердо: не заметили), не обратили внимания. Головы были совсем не тем заняты. Да и среди старших разговоров об этом не помню. Считалось неприличным, „буржуазным“. Пришел исторический катаклизм, всеобщий (разорение одной семьи переживалось бы иначе). И с пленок были воспитаны в стыде за свои преимущества. Сами от них не отказывались, но уж если их отобрала история — не жаловаться же на историю, когда она прекратила зло.

Интеллигенция как группа в деле освобождения народа имела свой групповой стимул — социальной активизации или даже реальной власти. Но каждый в отдельности субъективно совершал этический акт, приобщаясь к делу обделенного брата. Вернем долг обделенному нами брату! — который, может быть, уничтожит нас с нашей культурой вместе. Эта герценовская тема («С того берега»), тема русской интеллигенции неумолчно звучит у Блока. Она же пробивалась у Мандельштама:

За гремучую доблесть грядущих веков...

Тяжеловесный Брюсов сказал все это в лоб:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном...

(«Грядущие гунны»)

Пусть корень самоутверждения личности один, но он приносит плоды разного вкуса. Самоутверждение эгоистическое и самоутверждение альтруистическое — это разные переживания. Готовность к жертве — особая эмоция, вроде любви, потому что она может быть направлена только вовне. Властность, жертвенность, догматика — строительный материал для типологии людей народовольческого толка. Понятно, что подростки 10-х годов выбрали для своей политической мечты жертвенный тип.⁵⁹

То, что в длинной историко-литературной цепи⁶⁰ Л. Я. Гинзбург среди наиболее характерных и ярких поздних отзвуков герценовской темы называет знаменитое стихотворение Мандель-

⁵⁹ Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 316—317.

⁶⁰ Разумеется, Л. Я. Гинзбург ограничилась лишь несколькими именами, прочертив проекцию темы во времени. С не меньшим основанием здесь мог быть назван и Пастернак, о поэме которого «Высокая болезнь» Гинзбург точно сказала: «Есть несравненный стихотворный документ времени — „Высокая болезнь“ Пастернака. В ней есть все что угодно по поводу интеллигенции и революции и вовсе нет желания свести концы с концами. Поэтому она действует так магически. <...>

штама 1931 г., отнюдь не случайно и даже в высшей степени закономерно. Правда, при этом нарушена хронология: стихотворение Мандельштама должно стоять в самом конце этой цепи, знаменуя трагическое угасание темы, отходящей в область истории. Это поэтический плач по «золотому веку» русской интеллигенции, мечты и идеалы которого оказались преданными и расплывшимися (о «потерпевших крушение выходах девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк», Мандельштам, предвидя трагическую участь своего поколения, писал еще в статье 1922 г. «Девятнадцатый век»).⁶¹

А. Гладков, несколько преувеличивая (точнее, выделяя исторический пласт в творчестве поэта), конечно, прав, когда сопоставляет Мандельштама и Герцена: «Мандельштам выводил генеалогию Ахматовой из большого русского психологического романа. Наблюдение тонкое и, что важнее, точное. Если поискать подобного рода сравнение для его стихов, то первым приходит на ум Герцен. Ни у кого другого нет такой способности к сверкающим ассоциативным столкновениям, такого чувственного грубо-зримого ощущения явлений духовной культуры, такого живого, пульсирующего здоровой разночинской кровью историзма». ⁶² Особенно ярко это соответствие ощущуимо в таких послереволюционных стихотворениях, как «Декабрист», «Прославим, братья, сумерки свободы. . .», «Век», «1 января 1924 года», «За гремящую доблесть грядущих веков. . .», «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето. . .», «Стансы».

Отношение Мандельштама к революции было сложным (сказать, что он ее принял, — значит почти ничего не сказать), но не враждебным, что естественно. Мандельштам видел в борьбе марксистов органическое развитие (но не завершение) идеологических конфронтаций XIX в., особо выделяя Герцена, «чья бурная политическая мысль всегда будет звучать как бетховенская соната». ⁶³ Не пугало его, как «гуманиста», и грядущее, которое «холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности телеологии так же ясно для современного гуманиста, как жар накаленной печки сегодняшнего дня». ⁶⁴ Отвечая на анкету «Советский

„Высокая болезнь“ — стык всех уровней старинтеллигентского сознания, опрокинутого в события, в факты жизни» (Там же. С. 320).

⁶¹ Плач, который у В. Шаламова превратился в упрек «властителям дум» XIX в., создавшим культ «народа»: «И пусть мне не „поют“ о народе. Не „поют“ о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата. Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией» (Четвертая Вологда // Наше наследие. 1988. № 3. С. 95).

⁶² Гладков А. Поздние вечера: Воспоминания, статьи, заметки. М., 1986. С. 322.

⁶³ Мандельштам О. Шум времени. Л., 1925. С. 71.

⁶⁴ Мандельштам О. Гуманизм и современность // Накануне. 1923. № 240. Лит. прил. № 36.

писатель и Октябрь», Мандельштам с подкупающей и несколько наивной (позже от наивности и следа не останется) откровенностью признавался: «Октябрьская революция не могла повлиять на мою работу, так как отняла у меня „биографию“, ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз и навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту. (. . .) Чувствую себя должником революции. . .». ⁶⁵

Очень скоро Мандельштам перестанет чувствовать себя «должником революции» и прославлять «власти сумрачное бремя». Еще в стихотворении «1 января 1924 года», предчувствуя неизбежную гибель, горько сознавая, что «некуда бежать от века-властелина», он отверг путь предательства идеалов и клятв:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

И уже воочию убедившись, что «век-властелин» превратился в «века-волкодава», мертвой хваткой вцепившегося в горло, Мандельштам («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето. . .»), гневно прогоняя сомнения, вновь подтверждает верность присяге и клятве, отказываясь предать идеалы старого «жалкого» и гуманного века:

Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
Чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим
ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

В поэзии Мандельштама личная трагедия не растворена, но слита с трагедией и русской интеллигенции («я» органично переходит в «мы»), и всего народа, запроданного «рябому черту», которого окружает «сброд тонкошеих вождей». Растоптана, извращена великая мечта о «высоком племени людей», разорваны все связи, даже самые кровные, семейные, «почвенные» («Мы живем, под собою не чуя страны. . .» — гениальная поэтическая формула эпохи). И особенно удручает Мандельштама перерождение тех, кто был совестью нации, — русских писателей, гуманистов, заключивших постыдную сделку с дьяволом, слагающих оды палачам и убийцам, глумящихся над жертвами невиданного, массового террора. «Есть прекрасный русский стих, — писал Мандельштам в статье «Четвертая проза», одно лишь чтение которой еще совсем недавно уголовно преследовалось, — который я не устану твердить в московские синие ночи, от которого как на-

⁶⁵ Читатель и писатель. 1928. 18 нояб. С. 3.

важдение рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

... Не расстреливал несчастных по темницам.

Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя — смертельного врага литературы». ⁶⁶

Еще в стихотворении 1922 г. «Век» прозвучали вопросы, на которые судорожно искала ответа русская интеллигенция, — вопросы, поставленные, как сказал бы Достоевский, у самой последней стены:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

Звучит там и вера в будущее выздоровление и возрождение, пусть и очень нескорое, но все же неминуемое:

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!

Однако зазор между двумя столетиями постепенно все больше и больше увеличивался, превращаясь в пропасть. На зловещем фоне Архипелага Гулаг, в концентрационном пространстве XX в. даже «Записки из Мертвого дома» воспринимались почти как идиллия (это явственно прозвучало в произведениях А. Солженицына, В. Шаламова, В. Семина). И если в стихах Мандельштама 1930-х гг. этот надлом, эта страшная трагедия нации предстала в сложном символично-метафорическом облике (головокружительные «метафорические полеты», замысловатые, а иногда и зашифрованные ассоциативные переключки, где самая мысль о «бегстве» от действительности — «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи, Ни кровавых костей в колесе» — не надрывна и не эгоистична, означает не разрыв с миром, а возвращение к первоистокам, слияние с мирозданием, по-прежнему фантастически роскошным, загадочным, прекрасным; поэт просит, чтобы его запихали, «как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей», мечтает, чтобы «ему сияли всю ночь голубые песцы», умоляет увести его туда, «где течет Енисей И сосна до звезды достает»), то в пронзительной «Четвертой прозе» Мандельштам, отрясая прах, клеймит эту новую действительность, в которой процветает лишь тот, кто «помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными». ⁶⁷ В атмос-

⁶⁶ Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. Нью-Йорк, 1966. Т. 2. С. 222.

⁶⁷ Там же. С. 226.

фере всеобщего произвола, государственного тотального террора («Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека. . .») ⁶⁸ Мандельштам с отвращением сбрасывает с себя попугайское звание «писателя», не желая обслуживать тюремщиков, которые издавна «любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе», ⁶⁹ посылает проклятие логову профессиональных доносчиков и палачей культуры: «Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа — навстречу плевриту — смертельной простуде, лишь бы не видать двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебряников и счета печатных листов». ⁷⁰ Мандельштаму больно видеть вырождение, невысказанное падение русской филологии («Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся непримиримость, а стала пся-кровь, стала все-терпимость. . .»), ⁷¹ когда в доме Герцена звучит не могучая «бетховенская соната» Искандера, а стукачи выстукивают на ундервудах «советскую сонатинку» кошмарной эпохи великого террора: «Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежащим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москвепреке, так наши взрослые ребята играючи нажимают, на большой перемене масло жмут. Эй, навались, жми, да так, чтобы не видно было того самого, кого жмут, — таково священное правило самосуда». ⁷² Со всей этой ангажированной сворой Мандельштам не желает иметь ничего общего, ему ненавистна продажная литературная челядь («Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове. . .»), ⁷³ он выбирает тернистый путь независимости, свободы: «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!». ⁷⁴

«Четвертую прозу» Мандельштама очень многое роднит с пророческим предостережением Е. Замятина («Я боюсь»), но очевидно и огромное различие, обусловленное все усиливающимся давлением времени, деградацией политической и культурной жизни, да еще в такой степени и в таких чудовищных формах, которую не мог предвидеть даже создатель романа «Мы». Смещенные перспективы, разрушительные тенденции новой эпохи, особенно мясо-

⁶⁸ Там же. С. 230.

⁶⁹ Там же. С. 226.

⁷⁰ Там же. С. 227.

⁷¹ Там же. С. 222.

⁷² Там же. С. 218.

⁷³ Там же. С. 220.

⁷⁴ Там же.

рубка 1930-х гг., неизбежно сказались на восприятии политического и культурного наследия XIX в., освободительного, гуманистического, выработавшего строгую и жертвенно-аскетическую мораль. Русская интеллигенция не «сошла со сцены», а была превращена в лагерную пыль; уничтожался целый исторический слой — десятилетиями формировавшийся тип культуры, «продуктивной умозрением, искусством, высоким моральным опытом». ⁷⁵

О последствиях и результатах невиданной по масштабам и жестокости, цинизму методов перековки человеческого материала в «новое общество» сегодня, кажется, сказано все, — действительность во много раз превзошла самые мрачные антиутопии Достоевского, Замятина, Д. Оруэлла: они выглядят литературными страшноватыми сказками в сравнении с «Колымскими рассказами» В. Шаламова и многочисленными (без всяких претензий на литературу, «художественность») свидетельствами современников. Между двумя столетиями не просто огромная историческая дистанция, но и мировоззренческая, этическая, культурная, даже, так сказать, антропологическая. Изменилось — и самым радикальным образом — отношение к смерти, жертве, подвигу, милосердию, этическим ценностям. И образ XIX столетия (содержание и смысл политических, философских и эстетических исканий прошлого) не мог не измениться, говоря в самом широком смысле, в глазах вольных и невольных строителей и современников «прекрасного нового мира». Эти идеалы и искания нисколько не отошли в область прошлого, мертвой истории; напротив, к ним всегда обращались и обращаются (чем дальше, тем в большей степени) как к великому и вечно живому наследию. Но время не могло не внести свои неумолимые и жесткие коррективы: склеить раздробленные позвонки двух столетий оказалось делом невероятной трудности. Отсюда и горькое чувство, порожденное страшным новым историческим опытом. Немногие из тех, кто принадлежал к поколению, формировавшемуся на рубеже столетий, чудом уцелевшие и умудрившиеся сохранить душу живую, естественно, уже иначе, «обогащенные» новым знанием, перечитывали классику, ту классику, которая помогла им выжить. Несколько прямолинейно, в лоб, но поэтому-то очень отчетливо новое отношение к Герцену выразил Каверин в мемуаре «Старший брат»: «Я цитировал Герцена, рассказывая о работе над романом „Художник неизвестен“. Речь шла о „лице“, которое у нас всегда было подавлено и поглощено, об „избалованности власти“, не встречающей никакого противодействия и доходившей до необузданности, не имеющей ничего подобного ни в какой истории. . . Во всех действиях власти, во всех отношениях высших к низшим проглядывает нахальное бесстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное знание, что „лицо“ все вынесет. . . „Мы с вами видели самое страшное развитие императорства“, —

⁷⁵ Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 321.

писал этот глубоко проникший в национальный русский характер, но не указавший будущего России великий мыслитель. „Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях. Мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кое-как“ («С того берега»).

Кое-как уцелел не Герцен, а мы, русские XX века». ⁷⁶

Литераторы самых различных поколений XX в. с удивительным единодушием и нередко почти в одинаковых выражениях писали о необыкновенной современности художественной и политической мысли Герцена. Так, с юбилейными высказываниями Гизетти, Долинина и других в 1910-х и 1920-х гг. явно переключаются размышления А. Гладкова в дневниковых записях послевоенного времени: «Нет! Не назад к Герцену нам надо идти, а вперед к нему: вот уж кто ничуть не старомоден, а неслыханно остер, умен, безгранично всепонимающ... У Герцена есть догадки и прозрения, которые раньше нашего времени не могли быть поняты, а есть и такие, думаю, которые будут поняты только при конце нашей эпохи». ⁷⁷

Но внешне близкие, а в чем-то и однотипные рассуждения о современности Герцена, пророческом даре великого русского мыслителя, звучащие на протяжении всего XX столетия, в сущности, часто не столь уж близки. И если в первые десятилетия века особенно вняты современникам революции были слова о «новых христианах» и «новых варварах», то в середине столетия интерес сместился: наряду с эпопеей «Былое и думы» злободневным стал и прочитанный вновь глазами прозревшего поколения цикл писем «К старому товарищу». Очевидней стала этическая высота «Былого и дум», прозорливость предостережений и предвидений Герцена. «Та мера морали и чести, которую Герцен прикладывает к людям, поднявшимся за правое дело; то требование высокой нравственной ответственности, которое Герцен предъявлял революционным борцам, — вот что живо и драгоценно для нас. Разве мы, люди XX века, не извели на собственных судьбах, к какому бесчеловечью приводит политика, когда она противоречит морали, и чего стоит мораль, когда она лишена конкретной социальной основы?» — так выделила некоторые особенно актуальные для «шестидесятников» мысли Герцена Л. К. Чуковская. ⁷⁸ Точнее даже не выделила, а сказала о них намеком, слегка коснувшись той исторической реальности, о которой в полный голос говорить в середине 1960-х гг. не разрешалось: повесть Чуковской «Софья Петровна», написанная еще в 1940 г., появилась в журнале «Нева» лишь в 1988 г., спустя почти полвека, саму же писательницу зачислили в разряд «диссидентов», и, следовательно, последовал запрет на упоминание ее имени (исключение делалось лишь для

⁷⁶ Каверин В. Старший брат: Из книги «Эпилог» // Дружба народов. 1989. № 4. С. 10.

⁷⁷ Гладков А. Поздние вечера: Воспоминания, статьи, заметки. С. 305.

⁷⁸ Чуковская Л. «Былое и думы» Герцена. М., 1966. С. 181.

тех, кто упражнялся в искусстве «контрпропаганды») и работ (даже ссылки на монографию о «Былом и думам» были признаны нежелательными). Впрочем, нежелательным признавалось и слишком частое цитирование Салтыкова-Щедрина и Герцена как чересчур «аллюзионных» авторов.⁷⁹ Но что такое эта боязнь аллюзий, настороженное, подозрительное отношение к литературе, страх перед независимым словом, «мисология» — как не очевиднейшее проявление чиновничьего холопства, рабства, лакейства — исторически сформировавшихся черт национального характера, особенно ненавистных Герцену, вся деятельность которого в недавнюю эпоху, в сущности, представляла собой соблазнительный пример и опасную «аллюзию». Словом, «бетховенская соната» Герцена в 1960—1970-е гг. звучала в «либеральной», если так можно выразиться, аранжировке, как гимн свободному слову и раскрепощенной, независимой мысли.⁸⁰ И, естественно, сегодня Герцен воспринимается как отдаленный исторический предшественник «нового мышления», ставящего во главу угла общественного развития принципы гласности, демократизации, плюрализма.

Но, конечно, сопричастность Герцена современности не исчерпывается только политической и этической сферой. Современен сам тип мышления Герцена, его историко-ассоциативный метод. Наконец, действенность слова Герцена во многом объясняется его эстетической (или «поэтической») яркостью, эмоциональной окрашенностью, неповторимой метафорической образностью. «Пограничные», или «промежуточные», жанры («С того берега», «Концы и начала» и, конечно и прежде всего, «Былое и думы»), созданные Герценом, оказывают — сегодня, в 1980—1990-е гг., может быть,

⁷⁹ Об «аллюзиях» см.: *Битов А.* Близкое ретро, или Комментарий к общеизвестному // *Новый мир.* 1989. № 4. С. 160—161. Должно быть, какие-то нежелательные «аллюзии», к слову, подвигли академика М. Б. Храпченко на изъятие очерка Л. Н. Толстого «Не могу молчать» из собрания сочинений писателя. И все смолчали, хотя и безмерно удивились.

⁸⁰ Характерно, в частности, намерение В. Н. Семина, казалось бы чуждого историческому «роду», написать книгу о Герцене. В заявке на книгу (1972 г.) для серии «Пламенные революционеры» Политиздата Семин подчеркивал злободневность своего замысла: «...то огромное явление, которое носит имя Герцен, не только не блекнет со временем, но само время может мериться по Герцену» (*Семина В.* Что истинно в литературе: Литературная критика; Письма; Рабочие заметки. М., 1987. С. 39—40). Вряд ли приходится сомневаться в том, что замысел биографии Герцена совершенно естественно родился в гнетущей обстановке 1970-х гг. Да и не в историческом свете Семину представлялась фигура Герцена. Он писал: «Сказанное когда-то о Пушкине: „...русский человек, каким он в своем развитии явится через двести лет“ — полностью относится и к Герцену»; «Герцен — один из тех немногих людей, по которым человечество отмечает, чего оно достигло в своем развитии» (Там же. С. 40). К сожалению, дальше подробной заявки-статьи работа не пошла. В письме к заведующему редакцией серии «Пламенные революционеры» В. Г. Новохватко от 18 февраля 1974 г. Семин признал, что «не сумел разомкнуть круг ежедневной поденщины и взяться за Герцена» (Там же. С. 256).

сильнее, чем когда-либо, — самое непосредственное и благотворное воздействие на живой литературный процесс.

Некоторые любопытные соображения, с которыми, правда, лишь отчасти можно согласиться, высказал Р. Киреев в статье «Плутон, поднявшийся из Ада. (Размышления по поводу читательской почты о «другой» прозе)». К «другой» прозе Киреев относит целый ряд произведений смешанной жанровой природы О. Базунова, Н. Ильиной, В. Нарбиковой, В. Пьецуха, Саши Соколова, Т. Толстой, Л. Петрушевской, Е. Попова, В. Богатырева, а также В. Маканина («Утрата»), Ю. Нагибина («Встань и иди»), В. Лихоносова («Ненаписанные воспоминания»), Л. Гинзбург («Заблуждение воли») и несколько особняком стоящий «Пушкинский Дом» А. Битова. По мнению Киреева, все эти произведения «лежат в русле герценовской поэтики». ⁸¹ Особенно выделяет критик «Заблуждение воли» Л. Я. Гинзбург: «Жанр, естественно, не обозначен. Просто „Заблуждение воли“, и ничего кроме. Повествование о человеке, которого „неотступно преследовала жестокая работа памяти“. Преследовала за что? За его отношение к отцу, которое внешне выглядит безукоризненно. Почти безукоризненно. Не обижал, не грубил . . . Я уж не говорю о жестокостях, на которые так щедра современная литература. Их тут и в помине нет, хотя слово „жестокость“ Л. Гинзбург упоминает. Но речь у нее, обратите внимание, о жестокости духовной работы, а не о жестокости действия».

Жестокая работа памяти и жанровая неопределенность (необозначенность), по Кирееву, именно те черты современной русской прозы («другой»), которые в той или иной степени восходят к герценовской поэтике, — конкретнее, к «Былому и думам». Непонятно только, почему жестокость духовной работы следует считать непрременным и ведущим компонентом поэтики Герцена. «Кроткая» Достоевского, «Скучная история» Чехова, «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната» Толстого, некоторые повести Тургенева, пожалуй, дают больше оснований, чем самые откровенные и драматические страницы «Былого и дум», говорить о беспощадной, а не просто жестокой работе памяти. Повесть Нагибина «Встань и иди» явно лежит в русле поэтики Толстого и Чехова, а не Герцена. Мотив раскаяния (а у Нагибина это скорее попытка покаяния) сближает «Встань и иди» с психологическим этюдом Гинзбург. Но близость здесь как раз тематическая, психологически-ситуативная. Что же касается поэтических принципов, то это совершенно несхожие, а во многом и полярные произведения: написанная в традиционной реалистической манере повесть и произведение промежуточно-пограничного жанра (философское раздумье по поводу исповеди Эн), в котором чувствуется герценовское дыхание, свободная ориентация на историко-аналитический метод Герцена.

⁸¹ Лит. газ. 1989. 3 мая. № 18.

Еще отчетливее соотнесенность с жанром «Былого и дум», герценовским типом историзма ощутима в других произведениях Гинзбург: аналитических дневниках, воспоминаниях, «Записках блокадного человека», историко-эстетических фрагментах. Художественная проза Гинзбург тесно связана (но не прямо) с ее литературоведческими работами, в том числе и с объектом преимущественных интересов ученого. Гинзбург — автор ряда статей о творчестве Герцена и самой значительной, на мой взгляд, монографии о «Былом и думах». Впрочем, Гинзбург к этой книге относилась довольно сдержанно, хотя и признавала, что работа над ней была вполне закономерной, совпала с главными сюжетами ее творчества — равно научного и художественного: «Историко-литературные работы удаются, когда в них есть второй, интимный смысл. Иначе они могут вовсе лишиться смысла. Знаю это по грустному опыту. < . . . > Первый замысел книги о „Былом и думах“ был очень личным — промежуточная литература. Это в книге и есть органическое. По законам профессионального бытия скоро становишься специалистом по Герцену, который комментирует в „Литнаследстве“ письмо Герцена к неизвестному корреспонденту».⁸²

Чрезвычайно характерное и тоже интимное признание. Профессиональное здесь почти синонимично академическому специализированному литературоведению, к которому Гинзбург относится настороженно, противопоставляя ему свободный, раскрепощенный тип исследования, без оглядки на учителей и строгой принадлежности к определенной школе: «Есть мысли принципиально научные и мысли академические. Принципиальная мысль расходится концентрическими кругами; она обладает способностью влиять в очень разных контекстах и на очень больших расстояниях от породившего ее текста. Академические мысли идут не кругами, а прямыми линиями, от учителей к ученикам, сверху вниз и только сверху вниз; это неотъемлемый их признак».⁸³ Совершенно очевидно, что Гинзбург привлекают именно принципиально научные мысли, расходящиеся концентрическими кругами, мысли лично выстраданные и потому интимные. Отсюда и острое недовольство работами инерционно профессиональными, несколько аристократическое отношение к литературной рутине, поденщине, горестное сознание, что творческий труд вытесняется механическим, имитацией настоящего дела: «А мы-то редактируем, комментируем. И сейчас, когда жизнь уже ближе к концу, чем к чему бы то ни было, — все редактируем, комментируем, расставляем запятые. Мозг, высосанный поденщиной, растлеваемый ленью. Нет, не с дрожью отвращения мы садимся к столу сверять основной текст с первоисточником; не без удовольствия садимся, предвкушая занятие ровное, прозрачное, как пустота, защищающее от муки последних усилий познающей мысли. Торжество лени; не

⁸² Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 332.

⁸³ Там же. С. 225.

сладкой лени бездельников, но печальной и скучной лени рожденных тружениками и созидателями». ⁸⁴

Гинзбург задело и одновременно запомнилось суждение о ее литературоведческих статьях В. Б. Шкловского, своеобразную прозу которого она очень высоко ставила. Шкловский упрекнул Гинзбург в чрезмерной академичности, выразил сожаление, что талантливая писательница тратит время на «пустяки», а не занимается тем делом, для которого создана: «У вас эпиграммы хорошие и записки, вообще вы понимаете литературу. Жаль, жаль, что вы не то делаете». ⁸⁵ Но что именно то? На этот вопрос Гинзбург или затруднялась определенно ответить, или давала разные ответы. Пыталась совмещать разные жанры, что, как правило, не удавалось. Записки не втискивались в беллетристику, и от намерения что-то включить из дневниковых размышлений в «Агентство Пинкертона» пришлось отказаться: «Документальные источники и литература просвечивают при каждом движении. Все просвечивает и напоминает (суть именно в напоминании) не книги, которые можно назвать по имени, но абстрагированные жанровые начала. У меня было много уже придумано про жизнь; много заготовок, в частности описаний. Следовательно, неотступный соблазн — вставить. Каждый раз это была совершенная неудача, и приходилось все выкорчевывать как можно скорее». ⁸⁶

Правда, «Агентство Пинкертона» выламывается из всего творчества Гинзбург, а не просто стоит в нем особняком. Это случайность и своего рода эксперимент, проба сил в чуждом жанре. Все наиболее значительные статьи и монографии Гинзбург, напротив, теснейшим образом связаны с дневниковыми записями-медитациями, воспоминаниями, прозой автобиографической и «другой», жанрово незакрепленной (немаркированной). Совершенно естествен, органичен переход от «записей» к книге о «Былом и думах», пусть и не все в работе над ней строго отвечало интимным, личным импульсам: у жанра историко-литературной монографии своя природа, своя научная цель, которую необходимо, не отступая от профессиональных законов и правил ремесла, достичь. Автора может тяготить диктуемая жанром научной монографии несвобода, но он хорошо понимает, что обязан исполнить свой профессиональный долг честно, не путая разные «ремесла», не перемежая субъективные, личные мысли с объективным анализом (не обязательно, конечно, «академическим»). Поэтому буквально единичны у Гинзбург случаи (но они все же есть, что очень важно), когда мысли из «записей» переходят в научные работы или наоборот, и это несмотря на поразительную порой близость — идейную и психологическую. Даже одни и те же цитаты в «записях» и научных работах функционально различны, что законо-

⁸⁴ Там же. С. 290.

⁸⁵ Там же. С. 215.

⁸⁶ Там же. С. 232—233.

мерно, так как функционирование определяется контекстом и целевой установкой.

Наука, впрочем, отнюдь не находится во враждебных отношениях с прозой. Не беру крайние примеры, когда «записи» почти перерастают в статью, но в статью, так сказать, свободного типа, без претензии на академическое исследование проблемы. «Промежуточная» литература логично порождает и нечто вроде «промежуточного» литературоведения, равно близкого к «чистому», специализированному, профессиональному и отличного от него. На это «промежуточное» литературоведение не следует смотреть как на второстепенное, побочное. Отклонения от главной линии не только возможны. Они неизбежны. Но в основном у Гинзбург мы имеем дело с разными, взаимодействующими и взаимообусловленными, формами творчества не просто единого, но целеустремленного и саморегулирующегося, испытывающего потребность в непрерывном и углубленном самоанализе, отчете. Это творчество интимно и исповедально. Добавим: исповедально в специфическом, интегральном смысле: как и у Герцена, преобладает «логическая» исповедь, с тем, правда, существенным различием, что «я» в прозе Гинзбург выступает часто в обобщенном виде (сознание типичного, освобожденного от частных примет интеллигента — Игрек, Зет, Эн, человека моего поколения). В научных работах (не во всех, понятно, — есть и узкопрофессиональные статьи, вспоминать о которых автору неприятно) формально, казалось бы, нет никаких оснований обнаружить присутствие даже фрагментов «логической» исповеди. Но это не так: она в подпочве, в подноготной. Отсюда разделение самим автором научных работ на интимные и «академические», инерционно-профессиональные. В книге о «Былом и думах» есть и то и другое: потому и отношение к ней двойственное. Тем не менее книга оценивается как необходимый подготовительный этап к другой, центральной монографии: «„О психологической прозе“ — самая интимная из моих литературоведческих книг. Там говорится о промежуточной литературе, о важных вопросах жизни, о главных для меня писателях».⁸⁷

«Промежуточная» литература, с точки зрения Гинзбург, обладает огромными достоинствами свободного, дерзкого, новаторского исследования: «Литература воспоминаний, автобиографий, исповедей и „мыслей“ ведет прямой разговор о человеке. Она подобна поэзии открытым и настойчивым присутствием автора. Промежуточным жанрам, ускользнувшим от канонов и правил, издавна присуща экспериментальная смелость и широта, непридуманное и интимное отношение к читателю. Острая их диалектика — в сочетании этой свободы выражения с несвободой вымысла, ограниченного действительно бывшим».⁸⁸ Суждения Гинзбург — это несомненно — исключительно близки по смыслу

⁸⁷ Там же. С. 332.

⁸⁸ Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971. С. 137.

размышлениям Герцена о романе и мемуарах в «Былом и думах». Очевидно и другое: Гинзбург интересуется не вообще воспоминания и то, что определяется автором как «промежуточная» литература, а наиболее яркие, значительные, эпохальные произведения, отмеченные кардинальными психологическими и эстетическими открытиями, — «Мемуары» Л. Сен-Симона,⁸⁹ «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо с ее «высокой психологической правдой», гениальными интуитивными догадками, предвосхитившими «психологические концепции XIX—начала XX века».⁹⁰ В том же замечательном ряду, разумеется, и «Былое и думы» Герцена, занимающие, впрочем, в книге довольно скромное место. Речь идет преимущественно о сознательном историзме мемуаров Герцена, как наиболее отличительной и новаторской их черте, и специфическом эстетическом качестве художественной мысли писателя: «Мысль его — не научный силлогизм, ценный только конечным результатом, выводом. У Герцена важен и самый процесс протекания мысли, самая ткань смысловых сочетаний, уникальных ассоциаций, закрепляющих заново увиденный ракурс действительности. В „Былом и думах“ думы обладают эстетическим качеством не в меньшей мере, чем сцены, диалоги или портретные зарисовки».⁹¹

Анализа книги Герцена, собственно, нет, он дан в большой монографии о «Былом и думах», к которой и отсылает Гинзбург читателя. Здесь же в густой концентрации даются итоги, выводы, формулы. Определяется место Герцена — не в политике, философии, истории, а в литературе нового и новейшего времени. И, по сути, в «интимном» плане курсивом выделяется в поэтике Герцена то, что особенно важно и нужно Гинзбург непосредственно как писателю, что питает ее «промежуточную» прозу.

В книге «О психологической прозе» Гинзбург размышляет о творчестве самых главных для нее писателей — так литературоведение совпадает с личными читательскими предпочтениями, с жизненным опытом. Читательские симпатии Гинзбург сложились давно и со временем мало изменились. Постепенно оформилась и небольшая библиотека самых необходимых книг, «перерастающих себя и растущих дальше в человеческой жизни», книг, «с которыми мы живем».⁹² В эту библиотеку вошли «Былое и думы», «С того берега» Герцена, поэзия Пастернака и Мандельштама (не проза — к прозе поэтов Гинзбург относится скептически

⁸⁹ «Уникальность Сен-Симона среди мемуаристов его времени не в конкретности, как таковой, а именно в том, что все эмпирическое и единичное втянуто у него в огромную связную систему закономерностей и взаимодействий» (Там же. С. 160).

⁹⁰ Там же. С. 214, 209. «Это человек, вышедший из третьего сословия, свободный в своем самосознании от типологических схем старого общества, интеллектуальный плебей, заявляющий о своей уникальности», — определяет Гинзбург социально-исторические обстоятельства, обусловившие исключительность «Исповеди» Руссо (Там же. С. 200).

⁹¹ Там же. С. 262.

⁹² Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 228.

ски),⁹³ «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, «В поисках утраченного времени» Пруста и весь Толстой: «...Толстого я читала (<...> всего, с письмами, с народными рассказами, с педагогическими статьями, испытывая всегда одно и то же чувство, которое не могу назвать иначе, как чувство влюбленности. Я уверена в том, что статьи о вегетарианстве и „Фальшивый купон“ доставляли мне наслаждение немногим меньше, чем „Война и мир“, — важен был неповторимый толстовский метод. И все, где я только могла его узнать, представлялось мне равноценным».⁹⁴

«Неповторимый толстовский метод» тщательно исследуется в книге «О психологической прозе». Аналитическое искусство Толстого, вобравшее в себя, аккумулировавшее психологические открытия XVIII—XIX вв., в то же время, по мнению Гинзбург, является фундаментом всего современного искусства. Оно настолько современно, что человек XX столетия даже не осознает эту современность: «Толстой открыл первооснову всеобщего душевного опыта современного человека, и современный человек даже не замечает, что осознает себя по Толстому, что от этого ему никуда не уйти».⁹⁵ И Пруст представляет для Гинзбург интерес прежде всего потому, что аналитико-объясняющий метод Толстого он «довел до предельной обнаженности, до той интенсивности, наращивать которую дальше уже оказалось ненужным»: «...внутренний анализ принял у Пруста форму, необычайную по своей протяженности, непрерывности, скрупулезному нанизыванию одной психологической ситуации на другую».⁹⁶ Но, прикасаясь с толстовским методом, отталкиваясь от него, Пруст создает свой метод, и во многом противоположный. Пруст не только завершает линию европейского классического аналитического романа, но и разрывает с его канонами и традициями: «Анализ у Пруста — это не авторское вмешательство, как у Толстого, не фокус преломления объективного мира, как в „Былом и думах“ Герцена, — это размышление, безостановочное, всепоглощающее, которое и стало предметом изображения».⁹⁷

Эти теоретические положения, сформулированные часто в суггестивной, почти афористической манере (плод многолетних интенсивных и целенаправленных размышлений), в немалой степени помогают понять метод Гинзбург — прозаика и мемуариста, жанровое и психологическое своеобразие ее «записей», «записок»

⁹³ Равнодушна Гинзбург и к лесковско-замятинской линии литературы; судя по всему, исследовательница разделяла мнение Толстого о писательской манере Лескова.

⁹⁴ Гинзбург Л. Литература в рамках реальности. С. 68.

⁹⁵ Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 313.

⁹⁶ Там же. С. 386, 393.

⁹⁷ Там же. С. 388. О том же, но подробнее в «записях»: «Интересен эксперимент Пруста. Вместо изображения человека — у него изображение размышлений о человеке, то есть реальности, адекватно выражаемой в слове. Слово и есть материя размышления, тогда как по отношению к материи всякого предмета слово есть знак, речевой эквивалент. Прустовская действительность — это комментарий; люди и вещи вводятся по принципу примеров, а разговоры по принципу цитаты» (Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 235).

и «заметок», пожалуй только в последние годы получивших признание как литературное явление большого значения. Проза Гинзбург — прямое продолжение русской и европейской аналитико-психологической классики. Особенно отчетливо вырисовываются в экспериментальной «промежуточной» прозе Гинзбург методы Герцена, Толстого, Пруста.

Гинзбург импонирует свойственный Прусту тип авторской медитации, которую она характеризует как «безостановочный перевод всего, с чем встречается автор, на язык вновь открываемых им значений»,⁹⁸ и — в меньшей степени — «прустовский механизм сплошного, так сказать, синхронного перевода прямой речи на язык разоблачающих авторских комментариев». ⁹⁹ Однако метод Пруста не во всем близок Гинзбург; интерес личный (интимный) отбирает из него лишь некоторые элементы: «Пруст, с его гегемонией единичного, внутреннего человека, неприемлем, в какой-то мере, для человека современного (я подразумеваю русского человека)». ¹⁰⁰

Главное в прозе Гинзбург — этическая суровость позиции и этическая пронизательность, восходящие не к Прусту, а к Толстому. Этика Толстого аналитична, связана с психологическим бесстрашием писателя. «Но сострадание и любовь, — полагает Толстой, — не даются сами собой желающим. Они добываются человеком. В среде, неспособной их воспитать, культивировать, легко совершается их вырождение и подмена. И свою страшную аналитическую проверку Толстой перенес и на высший этический акт с его условиями, градациями и масками», — пишет Гинзбург в научной монографии, не акцентируя личного начала в этом рассуждении. ¹⁰¹ «Верю в этический акт», — прямо декларирует Гинзбург свою позицию в автобиографических «записях», присягая на верность этическому кодексу русской интеллигенции, этическим правилам Толстого. ¹⁰² При этом Гинзбург отчетливо видит, что такая вера многим представляется анахронизмом, почти чудачеством, упрямой приверженностью идеальному строю чувств, свойственному «отмененному» революциями, сожженному в огне мировой войны патриархально-идиллическому XIX столетию.

Но ее вера в этический акт вовсе не слепая. И хотя в основе своей она осталась такой же, не зависящей от разного рода ситуаций, твердой и даже ригористичной («Этика как закон поведения требует норм — абсолютных или относительных, — но всеобщих и жестких»), ¹⁰³ Гинзбург сознает, что некоторые старые заповеди русской интеллигенции обесмыслены ходом истории: отпала нужда (и возможность) в возвращении «долга» обделенному брату, — сами оказались обделенными, «пролетариями». Время внес-

⁹⁸ Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 390.

⁹⁹ Там же. С. 400.

¹⁰⁰ Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 175.

¹⁰¹ Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 462.

¹⁰² Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 304.

¹⁰³ Там же. С. 307.

ло жесткие коррективы, заставив усомниться в безграничных и спасительных свойствах детерминизма: «Мы — современники тех, кто бывал расположен сделать себе портсигар из человеческой кожи. Наш детерминирующий анализ имеет предел, перед которым он останавливается. У зажегших печи Освенцима и у всех им подобных нет психологии; дом их не потрясает несчастья, у них не умирают дети. Они — чистая историческая функция, которую следует уничтожить в лице ее конкретных носителей. <...> Современное этическое чувство не приемлет детерминированности в качестве отпущения вины. Ему ближе глубокие и жестокие слова: „Соблазн должен прийти в мир, но горе тому, через кого он придет“». ¹⁰⁴

Изменилось, хотя лучше бы не менялось, в XX в. отношение к жизни и смерти, которая из события чрезвычайного стала обыденным («легкая смерть»). Трагический опыт неизбежно превратил многие шедевры старого искусства в литературные памятники отошедшей культуры, эстетически совершенные, но психологически чуждые: «Разговор о том, что жизнь пустая и глупая штука, — самый несвоевременный. Поскольку современность предлагает слишком много средств для прекращения жизни личной и коллективной. Вспомним биографии наших знакомых. Каждый имел настолько больше возможностей не существовать, чем существовать, что уж не ему рассуждать еще о тщете существования». ¹⁰⁵

Разрушительные смерчи деформировали, извратили, исказили и многие другие понятия, подточили веру в идеалы: человек ощутил себя заброшенным и несчастным в озлобленной одинокой толпе таких же, как он, «мимоидущих» жителей земли, знающих, что им не поможет ни бог, ни царь, ни герой, ни коллективный пролетарский разум. А когда распадаются связи, ломаются даже лучшие, избранные натуры. Гинзбург обычно щадит современников, особенно людей своего поколения, трудно жившего и «легко» умиравшего. Обличения, инвективы, сатира — это не ее сфера. Тем больше поражает такое грустное раздумье: «Мне пришлось долго и близко наблюдать человека с необыкновенно счастливым предрасположением к добру. Точное нравственное чувство, традиция русской совести, способность к жалости и готовность к любви. Все было, и как быстро ничего не осталось, — разве что легкие следы». ¹⁰⁶

Гинзбург не называет имени павшего, опустившегося человека, верная своим гуманным и деликатным правилам. Да и нет такой уж необходимости в этом. Припомнился случай, несколько необычный (прекрасные природные задатки, которые, казалось

¹⁰⁴ Там же. С. 309—310.

¹⁰⁵ Там же. С. 282. И уже императивно сказано несколько ниже: «... именно в XX веке кончился давно начатый разговор о тщете жизни и начался в западном мире другой разговор — о том, как бы выжить и как бы прожить, не потеряв образа человеческого» (Там же. С. 284).

¹⁰⁶ Там же. С. 289.

бы, ничто не способно заглушить) и потому выделяющийся на фоне других многочисленных грустных метаморфоз, так сказать, обычных, типичных. Гинзбург не судит, не обвиняет, не жалуется на превратности судьбы и давление времени, но сказать об угасании старой «культурной системы», трагедии своего поколения, своих *сопластников* (используется формула Герцена), потерявших нравственную нить, считает долгом: «Вопросы человеку внушают те культурные системы, в которые он включен. Вопросы о смысле жизни и смерти, о справедливости, об обязательности этического акта, о вере и неверии . . . В истории русской культуры особенно ясно видно, как (в конце 1830-х годов и на многие десятилетия) приходит интеллигентское сознание со всем набором безотлагательных вопросов, со всей безотлагательностью усилий их решения. Во времена моей юности существовала еще активная инерция сознания с основными его слагаемыми.

Мое поколение успело еще испытать эту принудительность решений, без которых как будто и жить невозможно. Оказалось потом, что возможно. Нам досталась жизнь слишком крутая для избыточной проблематики. Благо тем, кому она оставила хотя бы насыщенный минимум нравственных сомнений».¹⁰⁷

В этих горестных заметках выражено страшное исторически точное свидетельство: жизнь возможна без нравственных сомнений, вне этики, в лучшем случае с сохранением лишь осколков (минимума) некогда цельного и, как думалось, вечного и неколебимого кодекса. «Заменяя задуманную трагедию другой, ничуть на нее не похожей, история дотла изменяла человека».¹⁰⁸

Менее всего Гинзбург стремится к морализированию, зная по собственному опыту, каким тлетворным было дыхание исторических самумов.¹⁰⁹ И тот же опыт заставляет ее отстаивать необходимость этического акта или, говоря иначе, восстановления разрушенных связей, обновления нравственных устоев главным образом и прежде всего на фундаменте толстовской этики. В психологическом этюде «Заблуждение воли» рассказывается «история одной вины», типичной вины. Зауряднейшая история, в которой все буднично, слишком знакомо — и потому так ясно обнажен уродливый механизм человеческих отношений, аморальность утратившего высшие нравственные критерии общества. Ситуация, исследуемая в «Заблуждении воли», многократно изображена в литературе — вечная история о покинутых, одиноких стариках и «неблагодарности детей» («один из самых печальных законов жизни»),¹¹⁰ чаще всего драматически или мелодраматически изо-

¹⁰⁷ Там же. С. 326.

¹⁰⁸ Там же. С. 294.

¹⁰⁹ «Самый непримиримый и всепроникающий этический пафос встречается у людей практически аморальных. Вполне закономерно. Для аморального это область прекрасных философских абстракций. Он не знает того, что знает порядочный человек, из каких нерадостных усилий слагается эта порядочность» (Там же. С. 303).

¹¹⁰ Гинзбург Л. Заблуждение воли // Новый мир. 1988. № 11. С. 144.

бражаемая. В действительности все обстоит совсем не так эффектно и гораздо трагичнее. «„Отец Горю“ — очень неверная книга. Разве бывают, разве могли быть когда-нибудь дети, которые из-за званого обеда не хотят пойти к умирающему отцу. На самом деле все хуже и проще: дети всегда идут к умирающему отцу, спешат к умирающему отцу, после того как испортили жизнь живому», — так, бесконечно перебирая «дурные мысли» и некогда вдруг совравшиеся жестокие слова, терзается муками совести герой произведения. «Структурная работа раскаяния», «внутренняя казнь» не приносят облегчения, — напротив, безжалостно освещают все потаенное, скрываемое, запрятанное куда-то в самый далекий уголок души. В сущности, традиционная исповедь, и внешне, и внутренне структурно однотипная с исповедями героев Достоевского и Толстого с их установкой на предельную, последнюю искренность и этическим максимализмом.

Не ограничиваясь анализом «структурной работы раскаяния» героя, постепенно приходящего к ясному осознанию истинной своей вины, Гинзбург прямо завершает произведение теоретическим рассуждением, переводящим историю Эн в общечеловеческую плоскость: «Сознание, лишенное общих целей, наивно представляет поступок изолированным, свободным от соотнесенности греха и возмездия. Бытие для него — не то эмпирическое месиво мгновений, равноправных в своей бессмысленности, не то тупая последовательность мгновений, поочередно отменяющих друг друга. И последнее из мгновений — смерть, которая отменяет все.

Такова логика достигшего предела индивидуализма. Но сильнее логики практика жизни. Она требует от мимолетного человека, чтобы он жил так, как если бы его поступки предназначались для бесконечного исторического ряда. Она настаивает на неотменяемых связях общего бытия, любви и творчества, жалости и вины». ¹¹¹

Очевидна связь эпилога произведения как с суждениями Гинзбург об этике Толстого, так и с ее верой в этический акт. Ориентация на метод Герцена здесь ощущается слабее. «Заблуждение воли» ближе по методу к Толстому, его аналитическому искусству и этике. Другое дело воспоминания и «записи» разных лет, в жанровом отношении соотносимые с мемуарами Герцена, хотя, разумеется, соотнесенность вовсе не означает влияния и тем более подражания. Речь может идти лишь о типологической близости очень разных, как различны отпечатки пальцев, произведений «промежуточной» литературы. Общее — установка на прямой разговор с читателем, внутренняя потребность такого разговора. А вот формы разговора бесконечно разнообразны и всегда обнажены индивидуально, личностны. Так, собственно, не жанр «Былого и дум» оказал влияние на русскую литературу XIX и — особенно — XX в., а провозглашенная Герценом свобода от любых жанровых канонов, жанровая синкретичность великой книги.

¹¹¹ Там же. С. 154.

Что же касается Гинзбург, то ей свойствен неоднократно подчеркиваемый и объясняемый самим автором принцип *сознательного историзма*. Этот принцип был неотъемлемой и важнейшей чертой метода Герцена, который «при всей остроте личного самосознания всегда ощущает себя представителем поколения, представителем исторического пласта». ¹¹² Необыкновенно важно при этом, что историзмом пронизаны все элементы книги, что «историзм в самом дробном, самом личном его проявлении соотнесен с герценовским чувством истории как общего прошлого, живущего в общем сознании». ¹¹³

«Верую в историю, потому что знаю, как она переделывает души», — декларирует Гинзбург в «записях». ¹¹⁴ Вера в историю неразрывно сочетается с верой в этический акт, вместе составляя символ веры или, формулируя иначе, ядро мировоззрения Гинзбург, органично абсорбировавшего методы Толстого и Герцена. От Герцена, образной терминологией которого Гинзбург охотно и часто пользуется, — историческая точность анализа и оценок как отдельных людей, так и формаций, особенно поколения 1920-х гг. Гинзбург казалось, что поколение 1960-х гг. с пренебрежением относится к социальности, историзму, к Герцену. Новые люди, считала она, и слышать не хотят о Герцене: «Герцен. . . Вы меня извините, но это, кажется, что-то скучное. У меня это впечатление со школьных времен. А есть у вас что-нибудь, что писали тогда формалисты?». ¹¹⁵

Гинзбург понимает, но не «извиняет» такой взгляд, с грустью размышляя об исторической пропасти, разделившей поколения: «То, что мы сделали, и то, что мы сделаем, им не понравится. У нас — политика, история, социальность, неистребимые, в кровь вошедшие, кровью проверенные. В эту правду они никогда не поверят, потому что ход к ней загородили знакомые формулы». ¹¹⁶ Гинзбург тут, пожалуй, несправедлива: рассуждение рождено сиюминутными эмоциями. Поколение шестидесятников, «типовых участников исторического процесса», громко заявило о себе в политике и литературе: в конце 1980-х гг. это уже стало общепризнанной истиной. Связи между разными поколениями не прервались, о чем свидетельствует, между прочим, интерес к прозе

¹¹² Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 273. Акцентируя историзм аналитического метода Герцена, Гинзбург считает, что «„Былое и думы“ не столько психологическое самораскрытие (именно таков метод Толстого. — В. Т.), сколько историческое самоопределение человека» (там же).

¹¹³ Там же. С. 282.

¹¹⁴ Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 293.

¹¹⁵ Там же. С. 291.

¹¹⁶ Там же. Повторение антиисторизма весьма беспокоит Гинзбург: «Мимолетные, вольно или невольно включаются в мировую реакцию против историзма, в поток новейшего антиисторизма. Но, раз открыв историзм, едва ли можно всерьез от него отказаться, т. е. отказаться победоносно. Уйти от категорий истории — то же, что уйти от соотнесенной с ними категории современности. Современность же новейший антиисторизм утверждает всячески — от философии до последней марки автомобиля» (Там же. С. 292).

Гинзбург — прозе больших философских и психологических обобщений, ярком и правдивом литературном документе, по которому и будущие поколения будут судить о России XX столетия.

«Человек отчитывается перед историей не только в своем участии в „гуртовых событиях“, но и в своей „домашней жизни“, душевной жизни. „Кто мог пережить, тот должен помнить“, — сказал Герцен», — пишет Гинзбург в научной монографии.¹¹⁷ Интимный, личный, а не только историко-литературный смысл приведенных слов открывается в «Записках блокадного человека», самого выстраданного и пронзительного произведения Гинзбург. Под «Записками» даты: «1942—1962—1983», бесстрастно фиксирующие слишком длинную «творческую историю». Так мучительно трудно было выйти из страшного, заколдованного «круга» — «блокадной символики замкнутого в себе сознания». Но и не выполнить этот долг перед собой и другими нельзя: «Написать о круге — прорвать круг. Как-никак поступок. В бездне потерянного времени — найденное».¹¹⁸

Трудно было выбрать форму повествования и тон, отвечавшие бы рассказу о жизни призрачной, невероятной, невыносимой, на какой-то последней тончайшей грани, настолько тончайшей, что уже отступил страх смерти, а существование продолжается по инерции, проверяя законы природы.

«Записки блокадного человека» — не личные записки, не блокадный дневник Гинзбург. Все слишком личное и эмоциональное снято, спрятано в этой мужественной, предельно лаконичной и сдержанной прозе. Блокадный быт описан одновременно остраненно, обобщенно и изнутри, детализированно, с точной фиксацией чувств и оттенков чувств: «Мне нужно было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Это человек суммарный и условный (поэтому он именуется Эн), интеллигент в определенных обстоятельствах».¹¹⁹

«Суммарность» и «условность» несколько не препятствуют замедленному, необыкновенно подробно фактическому описанию жизни блокадного человека. Восстанавливаются с научной точностью детали быта: обычный день обычного человека, обычные очереди и типичные разговоры в весенних очередях (зимой было не до разговоров — холод и голод парализовали речь), заурядные житейские истории. И обо всем повествуется без малейшего эмоционального нажима, сдержанно, даже с каким-то леденящим спокойствием, которое — это чувствуется в каждом слове и рассуждении — потребовало от автора невероятных усилий, душевных мук, долго не позволявших Гинзбург отдать «Записки...» на суд читателя. Свое собственное блокадное знание

¹¹⁷ Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 281.

¹¹⁸ Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 392. Но и «прорвав круг», писательница будет вновь возвращаться к блокадному времени (см.: Гинзбург Л. Вокруг «Записок блокадного человека» // Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 579—607).

¹¹⁹ Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 334.

она без остатка растворила в типичном (суммарном). Интеллигент Эн — это и Гинзбург, и люди из ближайшего окружения автора, и вообще все те, кто пережил блокадные зимы и весны. «Условность» и «суммарность» героя позволяют свободно переключать повествование, переходя от детального описания мельчайших движений и ощущений героя (взгляд изнутри) к психологическим обобщениям («мы») или, точнее, разъяснениям, адресованным людям, которым неведомы «вращательное движение дистрофической жизни», «дистрофической идеи», «туман дистрофобии», «дистрофические очереди», «период ста двадцати пяти» граммов хлеба и которые не могут понять, как жили, чувствовали те, кто попал в блокадный круг: «Каждое страдание — судки на морозе, ведра на лестнице — было избавлением от худшего страдания, заменителем зла. Утопающему, который еще барахтается, — не лень барахтаться, не неприятно барахтаться. Это вытеснение страдания страданием, это безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет (явление, плохо понятное гладкому человеку), почему люди могут жить в одиночке, на каторге, на последних ступенях нищеты, унижения, тогда как их сочеловеки в удобных коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимых причин. Страдание непременно стремится с помощью другого, замещающего страдания отделаться от самого себя». ¹²⁰

Блокадное сознание, как и вообще блокадное существование, — явление не просто экстраординарное и даже не только «пограничное» (т. е. на грани жизни и смерти), но и среди пограничных (военная, лагерная жизнь) особое. Аналогии, в том числе и литературные, здесь могут объяснить много, но далеко не все. Так, интеллигентным блокадникам зимний бег с судками «сквозь издевательски красивый город в хрустящем инее» напоминал Данте, но аналогия эта всего лишь поэтическая параллель, — и она не объясняет безумной целеустремленности несчастных, этого «вечно возобновляемого достижения вечно разрушающихся целей». ¹²¹

Литературные цитаты и образы, включенные в дистрофический блокадный быт, обретают иной, странный, призрачный оттенок — максима Ф. Ларошфуко и знаменитая фраза из «Фауста» Гете как бы аккомпанируют ухищрениям интеллектуального кулинара и его тщетным усилиям остановить «мгновение». Даже то, что некогда, в «гладкое» время, производило сильное впечатление, казалось пределом испытаний, выпавших на долю человека, блокадным сознанием воспринималось иначе и во многом как «литература»: «Гамсун описал совсем другой голод, голод от нищеты — окруженный соблазнами и надеждами. А вдруг человек найдет работу или ему дадут взаймы, вдруг он украдет, или выпросит, или под приличным предлогом пообедает у знакомых . . . Голод-

¹²⁰ Там же. С. 345.

¹²¹ Там же.

ные вожеления бедняка омрачены просчетами, завистью, унижением, но их не раздавила еще непреложность». ¹²²

Столь всеохватывающее грустное «лучшее определение» Достоевским человека как существа ко всему привыкающего нуждается в коррективах: «Одной привычки мало. Привычка лишь ослабляет импульсы страха и самосохранения, помогает их подавлять, замещать другими. Для этого надо было обзавестись другими импульсами, всепоглощающе, всеподавляюще сильными в своей первозданности». ¹²³

Толстой в «Воспоминаниях детства» рассказал о муках совести, раскаяния, но как идиллически, репортажем из золотого века, звучит этот исповедальный рассказ: «Уцелевшие дистрофики много бы дали за эти помещицьи укоры». ¹²⁴ Толстому, этому великому аналитику и психологу, неведома была самая безнадежная и тяжелая разновидность раскаяния — *непонимающего*: «Человек помнит факт и не может восстановить переживание; переживание куска хлеба, конфеты, побуждавшее его к жестоким, к бесчестным, к унижающим поступкам». ¹²⁵

Законы человеческого существования действовали и в блокадное время, но в деформированном, искаженном виде: они «оставались ужасными и теоретически непосильными», особенно для *понимающих*, отчетливо видящих связь вещей. Продолжали функционировать — и интенсивнее, чем какие-либо другие, — родственно-бытовые отношения в их блокадно-дистрофическом жертвенном варианте: «Скажут: связи любви и крови облегчают жертву. Нет, это гораздо сложнее. Так болезненны, так страшны были прикосновения людей друг к другу, что в близости, в тесноте уже трудно было отличить любовь от ненависти — к тем, от кого нельзя уйти. Уйти нельзя было — обидеть, ущемить можно. А связь все не распадалась». ¹²⁶

«Запискам блокадного человека» предпослана толстовская увертюра: «В годы войны жадно читали „Войну и мир“, — чтобы поверить себя. (. . .) И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал „Войну и мир“ в блокадном Ленинграде». Это жадное обращение к Толстому естественно, так как именно он «раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны». ¹²⁷ Но книга Гинзбург о другом: здесь исследуются блокадный быт и блокадное сознание, особая, новая действительность и присущие ей психологические законы и закономерности. Эта действительность все больше и больше отодвигается в историческое прошлое и уже кажется наваждением, миражем, зловещим фантастическим сном. И для людей это

¹²² Там же. С. 377.

¹²³ Там же. С. 358—359.

¹²⁴ Там же. С. 392.

¹²⁵ Там же. С. 391.

¹²⁶ Там же. С. 337.

¹²⁷ Там же. С. 334.

к счастью, так как человеку свойственно (спасительный инстинкт самосохранения), отодвигая морок куда-то очень далеко, меняться, возрождаться, возвращаться к исходному, «нормальному» состоянию. Это закон жизни, открытый Толстым: «Толстой понимал обратимость пограничных ситуаций. Он знал, что небо Аустерлица раскалывается только на мгновение; что Пьер в промежутке между дулом французского ружья и царским казематом будет опять либеральным барином». ¹²⁸

Но наряду с этим великим законом жизни, законом забвения, существует и другой, отважно сформулированный Герценом. Это закон памяти, который является непреложным для Гинзбург: «Вот мы и блюдем закон забвения, один из краеугольных в социальной жизни; наряду с законом памяти — законом истории и искусства, вины и раскаяния. О нем Герцен сказал: „Кто мог пережить, должен иметь силу помнить“». ¹²⁹ В «Записках блокадного человека» Гинзбург осталась верна «герценовскому» закону памяти и герценовскому принципу сознательного историзма. В новейшей советской литературе это, пожалуй, самое яркое свидетельство современности слова Герцена, актуальности его художественных и философских открытий, — разумеется, своей для каждого нового поколения. Хорошо сказал об этом удивительном, нацеленном в будущее свойстве слова Герцена А. Гладков: «. . . что-то туманится, собирается, скапливается в мыслях, еще без слов, а открытие Герцена — и оказывается, что почти все нужное уже сказано, да не сказано, а отлито в такие чудесные и богатые словесные формулы, что только диву даешься. Первая мысль: стало быть, все повторяется, раз уже и Герцен об этом говорил; но в том-то и дело, что Герцен о многом говорил „на вырост“, он предвидел и размышлял о будущем, он видел будущее в настоящем». ¹³⁰

¹²⁸ Там же. С. 348.

¹²⁹ Там же.

¹³⁰ Гладков А. Поздние вечера: Воспоминания, статьи, заметки. С. 311—312.

Глава III
ИДЕИ И ЛЮДИ
ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В ПУБЛИЦИСТИКЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ГЕРЦЕНА

1

Для Герцена и людей его поколения французская революция 1789—1793 гг. хотя и была уже историей, но еще вовсе не «седой», о которой они знали лишь из художественных произведений, воспоминаний и исторических трудов. То была история, ставшая частью домашнего быта, воспитания, образования. А гидами, проводниками, знакомившими юных аристократов с эпизодами «исполинской революции», были непосредственные свидетели, а иногда и участники событий, в том числе французские гувернеры и домашние учителя. Далеко не всегда они сочувствовали революции, тем более что многие бежали от народной расправы и якобинского террора и в их глазах навсегда застыл страх, все преобразивший в мрачную, кровавую с апокалиптическими оттенками картину. По закону симметрии Герцену в детстве привелось видеть и слушать м-те Prouveau («...рассказывала она интересные отрывки из истории французской революции: как <...> покойный сожитель ее чуть не попал на фонарь, как кровь текла по улицам, какие ужасы делал Роберспьер...») и м-г Bouchot («Он уехал из Парижа в самый разгар революции, и, припоминая теперь его слова и лицо, я воображаю, что citoyen Bouchot не был лишним или праздным ни при взятии Бастилии, ни 10 августа <...> о революции он никогда не говорил, но, как-то грозно улыбаясь, молчал о ней» — 1, 261, 263).

Подробнее, чем в ранней автобиографической повести «Записки одного молодого человека» (1840), Герцен обрисовал Бушо в «Былом и думах» (1852—1868). Там Бушо обретает дар речи, выходя из состояния грозно-улыбчивого молчания. В острый политический разговор волей судеб очутившегося среди «скифов» гувернера втягивает нерадивый ученик, узнавший Вольтера раньше катехизиса и явно не удовлетворенный тенденциозной роялистской историей революции. Бушо красноречием не отличался, но тем не менее его краткие, «гильотинные» ответы вполне удовлетворили любопытство подростка, которому явно пришлось по душе

тираноборческие убеждения учителя. В результате откровенного разговора образовалось своего рода «якобинское» братство и произошла перемена в отношениях учителя к ученику:

«— Зачем, — спросил я его середь урока, — казнили Людвига XVI?»

Старик посмотрел на меня, опуская одну бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— Parce qu'il a été traître à la patrie.

— Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?»

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов; для меня было довольно; ясное дело, что поделом казнили короля» (8, 64).

Явный интерес Герцена к «идеям régicides» растопил лед, сделал разговорчивым Бушо, который «сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда „развратные и плуты“ взяли верх». Его трогательно-наивное пророчество: «Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас» (8, 65) — очень запомнилось Герцену.

«Бушотовский терроризм» юного Герцена — факт весьма значительный в развитии будущего революционера, сразу же определивший границу между ним и другими настроенными в «якобинском» духе единомышленниками и ортодоксальной частью сверстников. С благодарностью вспомнит Герцен Бушо и Ивана Евдокимовича Протопопова, двух своих домашних учителей, в «Письмах к будущему другу» (1864—1866): «Все это принадлежит к тем временам, когда гражданин Бушо преподавал мне субжонктивы и французскую революцию, а гражданин Московского университета — думы Рылеева и арифметику» (18, 72).

Естественно, что Герцен и его друзья грезили с самых ранних лет о встрече с Парижем и Францией, обетованной землей, родной революции. «Для нас с самого детства Париж был нашим Иерусалимом, великим городом Революции, Парижем Jeu de Raute, 89, 93 года», — писал Герцен в статье «La colonie russe (Русская колония)» (1867) (19, 302).¹ И еще — о себе и своем поколении, о первых порывах, идеалах отрочества и юности: «Культ Французской революции — это первая религия молодого русского; и кто из нас не обладал, тайком, портретами Робеспьера и Дантона?» (30, 650).

Это автопризнания и в то же время обобщения, этюды из истории развития революционных идей в России. Герцен анализирует процесс проникновения просветительских, освободительных

¹ «Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Fog в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: „à la Bastille!“», — пишет о чувствах, охвативших его в Париже, Герцен (10, 17).

идей в Россию, начиная с поколения Карамзина, Радищева, Новикова, Фонвизина, и указывает на массовый, нерегулируемый характер «европейского» влияния, которое осуществлялось через самые, казалось бы, неподходящие каналы: «Революцию в барские дома несли нам на подошвах своих заклятейшие враги ее — эмигранты, книги, путешественники. (. . .) Екатерининское чернильное кокетство с Вольтером и Дидро, ее литературные *larcins* у Монтескье и Филанжиери не совсем прошло даром. Эпикурейский энциклопедизм был теперь в моде, как французский язык. Вельможи посылали своих детей в Париж, другие выписывали оттуда гувернеров. Гувернерами были не только эмигранты (хотя и их влияния были очень полезны — эмигранты были те же дети XVIII столетия — роялисты и вольтерианцы, дейсты-католики и пуше всего фрондеры), но якобинцы в лучшем, самом энергическом и чистом смысле слова» (20, 647).²

Лирические воспоминания органично слились с историческим осмыслением опыта нескольких поколений в статье «Прививка конституционной оспы» (1865): «Кто из нас не слышал громовых речей Мирабо и Дантона, кто не был якобинцем, террористом, другом и врагом Робеспьера, даже солдатом республики у Гоша, у Марсо? . . . (. . .) Все эти сны — сны революции, сны философии, сны поэзии — были долею наяву, и в этом-то их важность. (. . .) Мы так же пережили Руссо и Робеспьера, как французы, Шеллинга и Гегеля, как немцы» (17, 322). Исключительно существенны здесь личная интонация, исповедальность рассказа Герцена о том, чем была для него великая революция, какое благотворное воздействие оказали «эти сны». Впрочем, не совсем «сны», отчасти и «явь» — то, что сбылось в действительности, пусть и очень своеобразно.

Герцен вспоминает о своих юных упованиях, грезах, романтических видениях с добродушным юмором, но без примеси насмешки или иронии. Здесь все серьезно: начало созревания личности, точка отсчета, почва, — и тот факт, что многими идеями он переболел, что к некоторым «портретным» героям молодости позднее охладел, не отменяет главного. То, что было «пережито», вошло в сознание, разумеется преобразившись, изменившись: Герцен не собирался отрекаться от идеалов молодости. С годами уточнялось, вызревало до глубоких формулировок, ложилось на реальную историческую почву представление о самом значительном факте новой истории мира — Великой французской революции.³

Хроника общественно-политической жизни Европы и России, конечно, вносила существенные коррективы в суждения Герцена

² Отголоски французской революционной грозы давали о себе знать и гораздо позже. П. А. Кропоткин, для которого Герцен был уже историей, с жадностью впитывал в детстве рассказы о революции гувернера Пулена.

³ Из самых последних работ на тему «Герцен о французской революции» см.: *Mercvaud M. Herzen et la Revolution française // Revue des études slaves*. 1989. Т. 61. F. 1—2. P. 169—189.

о «старой» революции, обнажала новые грани в героическом прошлом. Менялось направление мысли. Появлялись новые акценты, шло активное усвоение «уроков революции». Но в основе своей взгляд Герцена оставался константным. Он часто повторял, как бы выделяя курсивом, центральные положения, главные мысли, прибегая, как правило, к высокому, ораторско-романтическому стилю, торжественным интонациям, соответствующим грандиозности события. Пожалуй, в наиболее чистом виде, почти без примеси злободневно-полюемических комментариев, выразил Герцен свое отношение к революции, ее идеалам, целям, событиям, героям в статье-рецензии «〈Charlotte Corday〉 (〈Шарлотта Корде〉)» (1850): «Французская революция! Да знаете ли вы, что, породив такую эпоху, человечество отдыхает целые столетия? Дела и люди этих торжественных дней истории остаются подобно маякам, предназначенным освещать дорогу человечеству: они сопровождают человека из поколения в поколение, служа ему наставлением, примером, советом, утешением, поддерживая его в бедствиях и еще более в счастье.

Одни лишь гомеровские герои, великие люди древности да чистые и прекрасные личности первых веков христианства достойны разделить эти права с героями Революции.

Мы почти позабыли события минувшей половины века, но воспоминания о Революции живут в нашей памяти. Мы читаем, мы перечитываем летописи тех времен, и интерес наш к ним все возрастает при каждом чтении. Таков магнетизм силы революции, которая и из глубины могилы влияет на хилые поколения, исчезающие, как говорил Данте, „подобно дыму, не оставляя никакого следа“. (. . .) Борьба этих Титанов была неистовой, ожесточенной; всякий раз, когда мы о них думаем, страшные воспоминания возникают в нашем воображении, и тем не менее справедливость этой борьбы закаляет и возвышает душу» (6, 243).

В словах Герцена звучит апофеоз революции и ее деятелей: полвека спустя величие этого события стало еще яснее. Будет, разумеется, Герцен писать (и очень часто, даже постоянно) также о негативных сторонах революции, о «мрачном терроризме» 1793—1794 гг., впрочем добавляя, что и страшное, мрачное, кровавое было величественно и грандиозно, гармонировало с героическим характером явления.

Восторженная общая оценка революции в статье «〈Шарлотта Корде〉» была итоговой. Ей предшествовало множество других суждений, среди которых выделяются дневниковые записи 1840-х гг. В дневниках размышления о значении революции и о ее деятелях составляют один из важнейших идеологических пластов. Там определяет (неоднократно) Герцен и место революции в историко-временной цепи: «Французская революция (. . .) доказала небожественность власти и замкнула приготовительную эру перехода в новый мир» (2, 295).⁴

⁴ Также: «Велнка французская революция. Она первая возвестила миру,

Перекликается с лирическими признаниями в статье «(Шарлотта Корде)» и рассказ о Париже воспоминаний, контрастно противопоставленном современному мещанскому Парижу, который изображен в «Письмах из Франции и Италии» (1847—1852): «Мы привыкли с словом „Париж“ сопрягать воспоминания великих событий, великих масс, великих людей 1789 и 1793 года; воспоминания колоссальной борьбы за мысль, за право, за человеческое достоинство, — борьбы, продолжавшейся после площади то на поле битвы, то в парламентском прении. Имя Парижа тесно соединено со всеми лучшими упованиями современного человека, я в него въехал с трепетом сердца, с робостью, как некогда въезжали в Иерусалим, в Рим» (5, 141).⁵

Герцен великолепно прочувствовал магнетическую, гипнотизирующую силу «колоссальной эпопеи» или грандиозной, шекспировских масштабов трагедии, яркие сцены и образы которой запечатлелись с удивительной рельефностью, пластичностью в памяти: «. . . сказания о времени первой революции при двадцатом повторении все так же захватывают душу (. . .) в понятии каждого из нас навеки врезались пластические лица, события, слова, взятие Бастилии, ответ Мирабо, 10 августа, Дантон, Робеспьер и все эти гиганты войны и гиганты цивилизма» (5, 185). В вере, рождавшей невиданный энтузиазм и героизм, вере, чуждой национальней узости, всеобщей, общечеловеческой, призванной обновить весь мир, везде утвердить республиканские идеалы свободы, равенства, братства, виделась Герцену притягательная, гуманно-демократическая сила «первой» революции, в таком чистом и артистическом виде более не повторившаяся: «Тем-то и было велико сначала христианство, потом та великая революция 1789 года (. . .) что если они и не спасли и не освободили всего света, то все же верили в общее спасение и освобождение, звали к ним всех без зверской ненависти одной породы к другой, без зоологических пристрастий и антипатий» (19, 224). Сравнение с первыми веками христианского движения имело особый смысл в размышлениях Герцена, подчеркивавшего чистоту, идеальность, высшую нравственность революции, если она, конечно, действительно революция: «И когда же это революция была безнравственной? Революция всегда сурова, доблестна по обязанности, чиста по необходимости; она всегда — опасность, гибель личностей во имя всеобщего. Разве были безнравственны первые христиане? или гугеноты, или пуритане, или якобинцы? Вот вооруженные заговоры, государственные перевороты — те и взаправду не слишком-то непорочны, но ведь это *ретрореволюции*. Что же

удивленным народам и царям, что мир новый родился — и старому нет места» (2, 302).

⁵ Величие деятелей революции видится Герцену в железной, фанатичной последовательности этих людей, твердо уверенных в своей правоте: «Революционеры XVIII века были велики и сильны именно потому, что они так хорошо поняли, в чем им следовало быть революционерами, и, однажды понявши, безбоязненно и беспощадно шли своей дорогой» (5, 178).

касается религии, то революция в ней не нуждается, она сама — религия» (20, 60).⁶

Для Герцена «религией» была «традиция великой борьбы XVIII века», Библией — героико-революционное прошлое Франции с его апостолами, великомучениками, святыми отцами, подвижниками: «О, как мы любили вас, изо всех сил вбирая в свои легкие свежий воздух, впервые повеявший на мир через огромную пробоину 1789 года. Мы с благоговением склоняли головы перед мрачными и сильными личностями ваших святых отцов великого республиканского собора, пришедшими водворить эру *разума* и свободы» (20, 73). Поэтому он и стремился не потерять из виду мощный свет великого маяка (фароса), не сбиться с главной дороги — *via sacra* 1789 г.

2

Поражение французской революции 1848 г., страшные июньские дни, торжество мещанско-полицейской реакции Герцен пережил болезненно. Сильный удар был нанесен основам мировоззрения; на парижских улицах расстреливали веру и идеалы Герцена, вынужденного бежать из Иерусалима, превратившегося в мгновение ока в современный Вавилон. Резко возросли скептицизм и пессимизм Герцена. Это был глубокий кризис мировоззрения, породивший долгую полосу отчаяния, получивший яркое отражение в письмах, «Былом и думах», «Письмах из Франции и Ита-

⁶ Возмущенный авантюристическими лозунгами анархистов, аморальностью их призывов к революционной борьбе любыми средствами, потрясенный «нечеловечной», Герцен писал в цикле философско-политических писем «К старому товарищу» (1868—1869), напоминая азы: «Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, заморившими все страсти — кроме одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93 года. Бойцы за свободу в серьезных подвигих оружия всегда были святы, как воины Кромвеля, — и оттого сильны» (20, 592—593). Сопоставление времени Великой французской революции с эпохой Христа проводит в книге «Жизнь Иисуса» (гл. IV — «Мир идей, в котором развивался Иисус») и Э. Ренап, который, вероятно, был знаком со статьей Герцена «〈Шарлотта Корде〉»: «Трудно понять явления первобытного образования земного шара, так как огонь, в котором он пылал, уже погас и земля охладилась. Точно так же и всякие объяснения представляются неудовлетворительными, когда наши скромные аналитические приемы приходится применять к переворотам созидательных эпох, решавших судьбы человечества. Иисус жил в один из таких моментов, когда все карты общественной жизни раскрываются и ставка человеческой деятельности увеличивается во сто крат. В такие времена каждый, взявший на себя великую роль, рискует жизнью, ибо подобные движения предполагают такую свободу действий, такое отсутствие всяких мер предосторожности, которое не может обойтись без страшной развязки. (. . .) Путь к апофеозу идет через эшафот; характеры приобретают резко выраженные черты и запечатлеваются в памяти человечества в виде вечных типов. За исключением французской революции, ни один из исторических моментов не был таким подходящим для развития скрытых сил, которые человечество держит как бы в запасе и проявляет только в дни своего горячего состояния и гибели, как именно эпоха, в которую сложился характер Иисуса» (Ренап Э. Жизнь Иисуса. СПб., 1906. С. 34—35).

лии» и — особенно — в книге «С того берега» (1847—1855) (знаменитая «логическая» исповедь, построенная в форме напряженных диалогов). Июньские дни дали такой трагический и мрачный «комментарий», что он грозил перечеркнуть все прежние представления, подорвал веру в способность старой Европы возродиться на новых началах. История порой представлялась Герцену оскорбительным для человека вечным повторением одних и тех же явлений, своего рода «квадратурой круга», бессмысленным, хотя и весьма утомительным, бегом в темноте. Герцен истолковывает миф о Сизифе в свете кризиса, охватившего всю послереволюционную Европу: «Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение, *corsi et ricorsi* истории, *regretum mobile* маятника!

К концу XVIII века европейский Сизиф докатил тяжелый камень свой, составленный из развалин трех разнородных миров, до вершины, камень нагнулся в сторону, в другую, казалось, хотел установиться — не тут-то было; он перекатился и стал тихо, незаметно склоняться, — быть может, он запнулся бы за что-нибудь, остановился бы с помощью таких тормозов и порогов, как представительное правление, конституционная монархия, потом выветривался бы века целые, принимая всякую перемену за совершенствование и всякую перестановку за развитие, — так, как этот европейский Китай, называемый Англией, так, как это допотопное государство, стоящее между допотопных гор, называемое Швейцарией. Но для этого надобно было, чтоб ветер не веял, чтоб не было ни толчка, ни потрясений; но ветер повеял, и толчок пришел. Февральская буря потрясла всю наследственную почву. Буря июньских дней окончательно сдвинула весь римско-феодальный наплыв, и он понесся под гору с усиливающейся быстротою, ломая по дороге все встречное и ломаясь сам в осколки. . . А бедный Сизиф смотрит и не верит своим глазам, лицо его осунулось, пот устали смешался с потом ужаса, слезы отчаяния, стыда, бессилия, досады остановились на глазах; он так верил в совершенствование, в человечество, он так философски, так умно и учено уповал на современного человека. — И все-таки обманулся» (6, 110—111).

Такова современная версия древнегреческого мифа, подытоживающая развитие европейской истории спустя полвека после Великой французской революции и отражающая текущее положение дел: мир, отброшенный далеко назад проклятым «годом крови и безумия, годом торжествующей пошлости, зверства, тупоумья». Обновленный миф в структуре «С того берега» соотнесен с горькими словами Н. М. Карамзина, с его грустными и гневными риторическими вопросами в философско-политическом диалогизированном размышлении в двух письмах («Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору»), которое цитирует Герцен во введении к книге, в том числе приводя и «сизифовскую» параллель: «Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен снова погрузиться в варварство

и снова мало-помалу выходить из него, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесен на верх горы, собственной тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? — Печальный образ» (6, 11).

Обращение Герцена к Карамзину и та ключевая роль, которая отведена в книге его философским размышлениям, могут показаться неожиданными. Ведь в немецком издании работы «*De développement des idées révolutionnaires en Russie* (О развитии революционных идей в России)» (1850—1851) Герцен писал: «Из своего заграничного путешествия в 1790 году Карамзин привез несколько революционных идей, но гораздо менее, чем можно было предполагать: он был слишком рассеян» (30, 745). Но сказанное там Герценом относится к «Письмам русского путешественника». Судя по всему, Герцен был разочарован тем, как в книге Карамзина отразились события и идеи революции. Он совсем другого ожидал от такого «путешественника». А вот более позднее философское раздумье Карамзина буквально поразило Герцена высоким отчаянием, глубоким проникновением в суть происшедших перемен, искренностью «логической» исповеди, а также духовным и психологическим созвучием его собственным размышлениям и настроениям. Цитата из Карамзина органично вливается в сложную диалогическую структуру книги Герцена: «Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение, — русских, этих „немых“, как говорил Мишле» (6, 10). Среди «немых» русских («скитальцев», «зрителей», «посторонних», «путешественников») Герцен особо выделяет Карамзина, в полной мере владевшего искусством видеть дальше и мрачнее, высказываться открыто и смело. Риторические вопросы писателя Герцен переадресовывает современному человечеству: «Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя» (6, 10). «Рассеянный» Карамзин выступает проницательным наблюдателем «грозы» XVIII в., гениально выразившим отчаяние и тоску человека, очутившегося вдруг среди руин и обломков: «Эти выстрадавшие строки, огненные и полные слез, были писаны в конце девяностых годов — *Н. М. Карамзиным*» (6, 12).⁷

Героический пессимизм Герцена не нуждался в утешениях и иллюзорных смягчениях: сизифовский «печальный образ», как это ни прискорбно, в настоящую минуту есть реальность, которую не обойти. Пройден определенный цикл; плохо, что он завершился на столь мрачно-безнадежной ноте, но фактического состояния дел не в силах изменить, поправить ни сожаления, ни проклятия, ни абстрактная вера в прогресс человечества. Великое дело вера; но, во-первых, и вера со временем остывает, выдыхается, форма-

⁷ О восприятии Карамзиным революции см.: *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М., 1987.

лизуется, а во-вторых, она далеко не всегда выдерживает испытание анализом, рассудочным разбором. В горнило великого пересмотра и безжалостной анатомии, развернутой в «С того берега», неизбежно попало и понятие веры, в том числе и веры революционеров XVIII в.: «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим. Вера в будущее за гробом дала столько силы мученикам первых веков; но ведь такая же вера поддерживала и мучеников революции; те и другие гордо и весело несли голову на плаху, потому что у них была непреложная вера в успех их идей, в торжество христианства, в торжество республики. Те и другие ошиблись — ни мученики не воспряли, ни республика не водворилась. Мы пришли после них и увидели это. Я не отрицаю ни величие, ни пользу веры; это великое начало движения, развития, страсти в истории, но вера в душе людской или частный факт, или эпидемия. Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустил разбор и недоверчивое сомнение, кто пытал жизнь и, задерживая дыхание, с любовью останавливался на всяких трупоразъятиях, кто заглянул, может быть, больше, нежели нужно, за кулисы; дело сделано, поверить вновь нельзя» (6, 104—105).

Герцен, прослеживая неизбежный, мучительный и страдальческий процесс утраты веры, подавив эмоции, извлекает исторический и философский урок из событий далекого и недавнего прошлого. Диалектически поворачивая мысль, он говорит о необходимости остановки и всеобщей ревизии; с железной логической последовательностью доказывает «пользу реакции», помогающей избавиться от вредных, — более всего потому, что дорогих, — иллюзий: «Реакция сама подрубила ноги последним кумирам, за которыми, как за престолом в алтаре, прятался старый порядок. Народ не верит теперь в республику и превосходно делает, пора перестать верить в какую б то ни было единую спасающую церковь. Религия республики была на месте в 93 г., и тогда она произвела этот величавый ряд гигантов, которыми замыкается длинная эра политических переворотов. Формальная республика показала себя после июньских дней. (. . .) Вот польза реакции. Сомнения бродят, занимают умы, заставляют задумываться; а нелегко было дойти до них. . .» (67, 74).

1848 год — год водораздела, черта, резко проведенная временем. Необходимо стало под новым углом зрения осмыслить идеи и события первой, великой революции. Последние события только по контрасту ярче высветили ее величие. Контрасты курсивно выделены Герценом в «Письмах из Франции и Италии»: впечатления непосредственные, рожденные в разгар резни и фюзилжей. Невольно возникло сравнение двух терроров: «красного» якобинского и «белого» 1848 г.: «Никогда террор 93 года не доходил до того, до чего дошел террор теперь. Не говоря уже о том, что ха-

раक्टर, обстановка, причины — все разное, я держусь за материальный факт насилия и меру его. Много голов невинных пало на гильотине, много невинных, в этом нет сомнения, мы знаем их поименно. (. . .) Мы знаем Фукье-Тенвиля, Германа и других членов революционного суда. А этих кто судил, кто признал виновными и в чем состояла необходимость этих кровавых злодейств? Зачем эта тайна, зачем украли у народа право знать своих мучеников? Разве Комитет общественного спасения скрывал свои меры? Самая резня в сентябрьские дни делалась белым днем, и списки рассматривались довольно внимательно, как свидетельствует оставшийся в живых писарь Бисетрской тюрьмы» (5, 154).

Сравнение идет дальше, глубже, и уясняется несопоставимость по масштабу тех и нынешних событий. Современным мещанским упырям реакции, оправдывавшим свои деяния мрачными старыми преданиями, стократно преувеличивавшим факты, тенденциозно (в роялистском духе) искажавшим историю, Герцен дает достойный ответ: «Нет, почтенные мещане, полно говорить о *красной* республике и о кровожадности; когда она лила кровь, она верила в невозможность иначе поступать, она обрекала себя на эту трагическую долю и рубила головы с чистой совестью, а вы только мстили, мстили подло, безопасно, втихомолку. (. . .) Террор 93 года был величествен в своей мрачной беспощадности, вся Европа ломилась во Францию наказать революцию, отечество действительно было в опасности. Конвент завесил на время статую свободы и поставил гильотину стражей „прав человеческих“. Европа с ужасом смотрела на этот вулкан и отступила перед его дикой, всемогущей энергией; террор хотел спасти Францию — и вместо этого победил Европу. Когда миновало его время, те, которые обрели себя на страшную долю судей, положили в свою очередь голову на плаху; их надобно было казнить, это своего рода *lex talionis*, невинные головы их пали, а остановленный топор зажавел» (5, 154—155).

Последняя революция — всего лишь жалкая, бледная копия первой; и ее деятели — соответственно — карикатурное эхо титанов, гигантов 1789—1793 гг., псевдореволюционеры, карлики в шутовском одеянии, по капризу склонной к демоническим шуткам истории очутившиеся на гребне событий. Закономерны приговоры Герцена (возможно, чрезмерно суровые, но оправданные силой разочарования, отчаяния, ярости) нынешним «львам» и, напротив, его гимн якобинцам: «. . . в то время как личность Сантэра, Эксельмана будет жива для дальнейшего потомства, имена прошлогодних львов революции едва останутся в памяти какого-нибудь компилятора. События бывают велики, когда они совпадают с высшей потребностью своего века; тогда люди приносят на совершение всю силу свою, их деяние до того исчерпывает, на ту минуту, всю созданную возможность действия, что за пределами его ничего не видать, что душа удовлетворена. Апостолы и якобинцы веровали, что они спасают мир, что их спасение есть единое

возможное, и оттого действительно спасли его. Разумеется, с абсолютной точки зрения они не были правы, они увлекались, ошибались в размере делаемого, но это увлечение и эти ошибки находятся во всем гениальном и великом. Для того чтоб быть деятелем в истории, скорее надобно несколько мономании, сумасшествия, нежели холодного беспристрастия. . .» (5, 186).⁸

Размышлениям Герцена о Франции конца XVIII в. в «Письмах из Франции и Италии» служат фоном современные бурные события. «Письма. . .» — это во многом репортажи журналиста, отчеты об увиденном и услышанном. Преобладают контрастные краски, антитезы, несдерживаемые эмоции. От прошлого падает колоссальная, величественная тень на настоящее. Прошлое — грандиозная декорация, в которой все детали драгоценны и все драгоценности настоящие, а не поддельные, фальшивые. Прошлое — напоминание, укор, священная история, *via sacra*.

«С того берега» — книга во многом иного рода. Событийная часть, хроника здесь больше в подпочве; в центре — философско-политические размышления, диспуты, в которых перед «грозой» и особенно после нее обсуждается смысл совершающегося и уже совершившегося. В диалогах, как бы «перетекающих» друг в друга, сталкиваются разные мировоззрения (впрочем, не враждебные, а близкие, сложным образом соотносенные), разные точки зрения. Решений, тем более окончательных, в книге нет, но есть интенсивные, напряженные поиски истины, нового знания. Подход к прошлому определен жанровой природой и целью книги: оно неотделимо от настоящего, переплетено с ним тесными диалектическими связями. История — не фон и контраст современному, а то, что подлежит строгому анализу, анатомированию, предполагает повышенное внимание к закулисной стороне.

С точки зрения Герцена, существуют два столпа современной цивилизации: принципы и лозунги революции XVIII в. (и, конечно, учение ее «святых отцов», в первую очередь идеи Руссо) и немецкая философия — уцелевшие в хаосе политических бурь краугольные камни, пусть поросшие «мещанским» мхом и испакощенные. Это все еще фаросы, хотя их свет с трудом пробивается сквозь густой туман реакции и филистерства (куда более густой и зловещий, чем пресловутые лондонские туманы). Но одновременно это гигантские, хотя неудавшиеся (или удавшиеся частично) попытки преобразования и познания мира, великие, хотя недоконченные (или «абортированные») деяния и мысли. Анализ причин, почему они не удалась, почему и на чем «срезались»

⁸ Эти сопоставления будут развернуты Герценом в последней повести «Доктор. Умиравшие и мертвые» (1869), где блестящей панораме деятелей великой революции противопоставлен «свободный портрет временного правительства 48 года», жалкая галерея временщиков: «Людам этим надобно было себе шить белые жилеты с отворотами à la Robespierre, чтобы их приняли за якобинцев . . . один крошечный Луи Блан по-человечески одет, а те . . . круглая шляпа, сертук, и *по сертуку* трехцветный шарф . . . вместо „отцов отечества“ вышли какие-то квартальные на следствии» (20, 526).

революционные ученики Руссо 1790-х гг., логично выходит на самый первый план в книге.

Столь же логично и естественно «религии», вере Руссо противопоставляется уравновешенный, несколько отчужденный от политических событий, трезвый и скептический взгляд Гете, негативное отношение которого к революции 1789—1793 гг. ранее, в «Первой встрече» («Германский путешественник») (1836) и «Записках одного молодого человека», было подвергнуто подробному критическому разбору и осуждено. От детального разговора о неприятии Гете революции в «С того берега» остались только эмоциональные возражения доктору «дамы», переведенные в общую историко-психологическую плоскость: «Гете представляет во всем блеске именно вашу мысль; он отчуждается, он доволен своим величием; и в этом отношении он исключение. Таков ли был Шиллер и Фихте, Руссо и Байрон и все эти люди, мучившиеся из того, чтоб привести к одному уровню с собой массу, толпу? Для меня страдания этих людей, безвыходные, жгучие, провожавшие их иногда до могилы, иногда до плахи или до дома умалишенных, — лучше, нежели гетевский покой» (6, 103).

В словах «дамы» заключена немалая доля истины, которую отчасти (лишь отчасти) разделяет Герцен (как и его alter ego — доктор), но в книге акцент поставлен не на уравновешенно-филлистерских, «придворных» чертах личности и творчества Гете. «Сокращенная» в ранних беллетристических произведениях Герцена фигура Гете здесь, напротив, выпрямлена. Герцен дает знаменитую, очень глубокую оценку даже не творчества и личности поэта, но грандиозного исторического и философско-поэтического явления, называемого Гете: «. . . он представляет усиленную, сосредоточенную, очищенную, *сублимированную* сущность Германии, он из нее вышел, он не был бы без всей истории своего народа, но он так удалился от своих соотечественников в ту сферу, в которую поднялся, что они не ясно понимали его и что он, наконец, плохо их понимал; в нем собралось все волнование души протестантского мира и распахнулось так, что он носился над тогдашним миром, как дух божий над водами. Внизу хаос, недоумение, схоластика, домогательство понять; в нем светлое сознание и покойная мысль, далеко опередившая современников» (6, 103).⁹

В книге явно заметно охлаждение Герцена к идеям Руссо, который в юности и молодости был его кумиром.¹⁰ Перемена

⁹ В главе «Эпилог 1849» Герцен солидаризуется со словами доктора («Consolation»), по сути варьируя его суждения: «Все прекрасные воспоминания, оставшиеся от прошлого, вся поэзия и сила, оставшаяся еще от него, воплотились в Гете. Беспредельность гения слила здесь античного человека с современным. Спокойно и величественно пытался он освободить самого себя и свое будущее от жалкой среды, его окружавшей. Его старческая фигура парила над современниками как живой апофеоз двух огромных прошедших. Он был последним из могикиан, как его назвал не помню который немецкий журналист (мне кажется, А. Руге)» (6, 471—472).

¹⁰ «После „Исповеди“ в 29 году в Васильевском я взял „Contrat social“; им Руссо надолго покорила меня своему авторитету; нигде я не встречал с такою увле-

чувствуется и в «Письмах из Франции и Италии»: «Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо» (5, 89). Она вызвана общим поворотом к объективному «анатомическому» анализу, достигшему кульминационной точки в книге «С того берега»: «Писания эгоиста Вольтера больше сделали для освобождения, нежели писания любящего Руссо — для братства» (6, 129).

В главе «Consolatio» словам «идеалиста» Руссо («знаменитый поп-sense»): «Человек рождается быть свободным — и везде в цепях» — противопоставлено вынесенное в эпиграф (так Герцен регулирует и направляет диалог между «доктором» и «дамой») изречение Гете, гораздо более верное действительности, хотя и унижительное, с точки зрения романтиков и идеалистов, для царя природы: «Человек не рожден быть свободным» (6, 86). Доктор видит в словах Руссо не «крик негодования, вырвавшийся из груди свободного человека», а «насилие истории, презрение фактов»; безжалостно пародирует их, обнажая бессмысленность формулы («рыбы рождаются для того, чтобы летать, — и вечно плавают»); скептически и логически безупречно говорит о том, что рабство «до сих пор (. . .) постоянное условие гражданского развития, а, стало быть, или оно необходимо, или нет от него такого отвращения, как кажется» (6, 94—95). Глава «Consolatio» вообще в значительной степени посвящена Руссо и его ученикам, причем «дама» излагает суждения Герцена «догрозового» периода (во многом юный романтический взгляд, предельно эмоциональный и с некоторыми элементами идолопоклонства), отчасти преодоленные, «пережитые», а «доктор» — реалистическую и «патологическую» точку зрения Герцена «после грозы» (точка зрения «врача», а не судьи, «анатома», а не моралиста; стремящегося к познанию законов бытия «натуралиста» и «историка», который «не учит», а смиренно «учится», «не мстит, а старается облегчить», «ищет причину, связь», «ищет средств в том же мире фактов» — 6, 89).

Непредвзятые поиски причин, связей привели к открытию истины, простой, неприглядной, не праздничной, так сказать, «за-

кательною силою изложенными либеральными идеями. Я стал боготворить Жан-Жака (. . .) он мне казался каким-то агнем, несущим скорби всего человечества XVIII века. Я назвал любимое мое место в деревне Эрменонвилль и всегда поминал в нем гражданина женевского. Руссо в самом деле выражает все теплое начало французской философии XVIII века и все энергическое. Один Дидро может стать с ним рядом, но в Дидро нет этой чистоты *sui generis*, чистоты неподкупного Робеспьера, безумного Сен-Жюста» (1, 329). «Плач Руссо» в ранних дневниках Герцена явно превалирует над «смехом Вольтера», ироничной диалектикой Дидро («Легкая и смелая в словах оппозиция приняла у Руссо характер плача и проклятия. Руссо мечтал — хотя и превратно — о новом мире, он подкапывал не одни учреждения, а все здание общественного старого мира; его поняли только в революцию» — 2, 302). Столь же характерно сопоставление Руссо и Вольтера в «Письмах об изучении природы» (1844—1846): «Едкие шутки Вольтера напоминают герцога Сен-Симона и герцога Ришелье; остроумие Руссо ничего не напоминает, а предсказывает острою Комитета общественного благосостояния» (3, 313). А в ранней статье «Гофман» (1836) Герцен тенденциозно писал о «ядовитой, адской, змеиной усмешке Вольтера, этой улыбке самодовольствия, с сжатыми губами» (1, 72).

кулисной» и оскорбительно-демократичной. «Насилие истории, презрение фактов», свойственные «святому отцу» революции XVIII в. и его наиболее энергичным последователям в Конвенте, не преминули сказаться на ходе и результатах революционных событий: «Для Руссо было невыносимо нелепое общественное устройство его времени; кучка людей, стоявшая возле него и развитая до того, что им только недоставало гениальной инициативы, чтоб назвать зло, тяготившее их, — откликнулись на его призыв; эти отщепенцы, раскольники остались верны и составили Гору в 92 году. Они почти все погибли, работая для французского народа, которого требования были очень скромны и который без сожаления позволил их казнить. Я даже не называю это неблагодарностью, не в самом деле все, что делалось, делали они для народа: мы *себя* хотим освободить, *нам* больно видеть подавленную массу, *нас* оскорбляет ее рабство, мы за нее страдаем — и хотим снять свое страдание. За что тут благодарить; могла ли толпа, в самом деле, в половине XVIII столетия желать свободы, Contrat social, когда она теперь, через век после Руссо, через полвека после Конвента, нема к ней, когда она теперь в тесной рамке самого пошлого гражданского быта здорова, как рыба в воде?» (6, 96).

Герцен вовсе не отказывается от прежней высокой оценки революции и ее титанов. Но в книге «С того берега» другой угол зрения: диалогическая структура подразумевает столкновение мнений, позиций, спор об исторических путях человечества, беспощадный, сознательно охлажденный, устраняющий личные эмоции и симпатии анализ, разбор. Избирая «отвагу знания», Герцен вырывает с корнем «детские надежды, отроческие упования». Вся история человечества судится судом «неподкупного разума», который, как Конвент, вынесший смертный приговор Людовику XVI, «беспощаден (. . .) нелицеприятен и строг». «Суд разума», пожалуй, еще беспощаднее: он равно выносит приговор жирондистам («все слабое, половинчатое или бежит, или лжет, не подает голоса или подает без веры» — 6, 45) и их «неподкупным палачам» («. . . люди, произнесшие приговор, думают, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии, как будто достаточно убить Людовика XVI, чтоб не было монархии. Удивительное сходство феноменологии террора и логики. Террор именно начался после казни короля, вслед за ним явились на помосте благородные отроки революции, блестящие, красноречивые, слабые. Жаль их, но спасти невозможно, и головы их пали, а за ними покатились львиная голова Дантона и голова баловня революции, Камиль Демулена. Ну, теперь, теперь, по крайней мере, кончено? Нет, теперь черед неподкупных палачей, они будут казнены за то, что верили в возможность демократии во Франции, за то, что казнили во имя равенства, да, казнены, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько

дней до Наполеоновской эпохи, за несколько дней до Венского конгресса» — 6, 45—46).

Вспоминая слова Робеспьера («L'athéisme est aristocrate»), произнесенные 21 ноября 1793 г. в якобинском клубе (Герцен очень часто к ним обращается) и декрет Конвента от 7 мая 1794 г., провозгласивший культ Верховного существа, Герцен судит это «прошлое» без малейшего снисхождения: «Если б Робеспьер хотел только сказать, что атеизм возможен для немногих, так точно как дифференциальные исчисления, как физика, он был бы прав; но он, сказавши: „Атеизм аристократичен“, заключил, что атеизм — ложь. Для меня это возмутительная демагогия, это покорение разума нелепому большинству голосов. Неумолимый логик революции срезался и, провозгласивши демократическую неправду, народной религии не восстановил, а указал предел своих сил, указал между, за которой и он не революционер, а указать это во время переворота и движения значит напомнить, что время лица миновало. . .» (6, 101).

Робеспьер, разумеется, остается в глазах Герцена героем и великомучеником, но речь здесь идет о другом, о том, как он «срезался», превратившись в консерватора и учредив для народа новую демократическую религию. Прошлое судится, а не воспевается. Судится для того, чтобы твердо определить, что именно подлежит искоренению, выкорчевыванию. Это не рожденное отчаянием отрицание (эмоции отодвинуты, как мешающие анализу), не нигилистический пересмотр идеалов и отказ от основных убеждений, а тщательная и беспристрастная проверка прошлого разумом, целью которой является постижение реальной истины, без чего просто невозможно движение вперед: «Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. <. . .> Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величеств, надобно признавать преступным *salus populi*. Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и к государству. Казней будет много; близким, дорогим надобно пожертвовать — мудро ли жертвовать ненавистным? В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно. И в этом наше действительное дело. Мы не призваны собирать плод, но призваны быть палачами прошедшего, казнить, преследовать его во всех одеждах и приносить на жертву будущему. Оно торжествует фактически, погубим его в убеждении, во имя человеческой мысли» (6, 46). Роль же «палача прошедшего», понятно трудная, деликатная, особенно мучительна, когда «казни» подлежат близкое и дорогое.¹¹

¹¹ «Казни», действительно, осуществлены в книге «С того берега» с редкой последовательностью и энергией, но значительные элементы «суда разума», зародыши будущих «приговоров» присутствуют уже в «Капризах и раздумье»

Скептически восприняв «странную книгу» Э. Ренана «Современные вопросы», Герцен заметил, что «самое важное и смелое» в ней слова французского писателя и философа о революции XVIII в.: «Французская революция была великим опытом, но *опытом неудавшимся*» (11, 507). Суждение Ренана совпало с многолетними размышлениями Герцена, считавшего, что современному миру и современным революционерам совершенно необходимо было в полной мере понять причины, почему «великий опыт» не удался, высокие идеи выдохлись и поблекли, знаменитые принципы стали «фразой» («Les principes de 1789 не были фразой, но теперь стали фразой, как литургия и слова молитвы. Заслуга их огромна; ими, через них Франция совершила свою революцию»

(1843—1847) и других произведениях Герцена русского периода. Он и тогда остро и нелюбезно писал о непоследовательности, ветхозаветных привычках как Волтера, так и Робеспьера, испугавшихся «прямого результата своих проповедей»: «Они лучше хотели выдумать искусственный авторитет, нежели оставить людей неподвластными. Нужно ли говорить о всей сухости, всей безнравственности всего неуважения к истине и всего презрения к людям, проглядывающей сквозь такое воззрение? Тот, кто без веры хочет поработить другого чему-нибудь, тот сам поработен, раб и плантатор вместе» (2, 91). Еще интереснее и значительнее мысли молодого Герцена в замечательном трактате «Несколько замечаний об историческом развитии чести» (1848). Герцен считает, что основные вопросы не только не были решены революцией 1789—1793 гг., но и не могли ею быть решены. Новое мировоззрение постепенно и неизбежно сбилось на старую колею идолопоклонства и аскетизма. Освобождение личности осуществилось лишь в теории (да и то непоследовательно), на практике же вылилось в иные формы зависимости и рабства, по сути близкие к старым: «Революция впадала во все крайности своей точки зрения, но не отделалась от прошедшего даже в теории: в решения важнейших вопросов ее, исполненных пророчеством, проникли воспоминания и былое. „Общественный договор“ имел основу права человека — отношение личности к обществу; ее значение делается существенным и главным вопросом, но вопрос решился под влиянием прежнего мирозерцания. Революция признает своей точкой отправления неприкосновенную святость лица и во всех случаях ставит выше и святее лица республику; для блага и спасения республики, для жертвы большинству она снимает с человека те права, которые так торжественно провозгласила неотъемлемыми. Достоинство человека измеряется его участием в общем деле, значение его — чисто гражданское в древнем смысле. Революция требовала самоотвержения, себяпожертвования одной и нераздельной республике. Она хотела средневекового аскетизма и античной преданности отечеству. Призрак Вечного города, гнетущего другие города, снова восстал из могилы, разум и свободу поставила на упраздненные пьедесталы — так еще мало был разумен и свободен человек. Фанатизм этот спас отечество, но не мог спасти личность, потому что в нем было много идолопоклонства» (2, 174). Революция постепенно выдохлась, теряя *почву*: фанатизм и героизм якобинцев только подвели их под гильотину. Революция запуталась в неразрешимых противоречиях и расчистила дорогу Наполеону: «Все покорялось новым идеалам до тех пор, пока явилась личность настолько смелая, что не приняла внешнего определения, своеобразно поставила себя рядом с государством и короновалась императором. Целью государства, его слава, его единство, его величие, победа над врагом — все это ставилось выше личности; Наполеон поймал на слове французов (. . .) революция была борьбою, это опасное положение, война, да и внутри ее совести было сознание, что она не решила вопросов, которых решение предпослала себе как программу, — отсюда доля ее тревожного озлобления. За ее односторонность явился Наполеон, лучшее возражение со стороны личности против поглощающего государства» (2, 175).

она приподняла завесу будущего и, испуганная, отпрянула» — 11, 481). Афористичное суждение Ренана справедливо, однако остается простой констатацией. Герцен обращает внимание именно на главные причины неудачи, причины, которых не видит автор «Современных вопросов» и многие другие философы, политики, революционеры середины века: «Оттого ли Франция недонашивает, что она слишком рано, слишком поспешно попала в интересное положение и хотела отделаться от него кесаревым сечением? Оттого ли, что духа хватило на рубку голов, а на рубку идей не достало? Оттого ли, что из революции сделали армию и права человека покروпили святой водой? Оттого ли, что масса была покрыта тьмой и революция делалась не для крестьян?» (11, 496).

Непременные и частые (буквально во всех главных работах) обращения Герцена к событиям и урокам «первой» революции были обусловлены конкретными и жгучими проблемами общественно-политической борьбы в Западной Европе и России. Современность — не контекст исторических раздумий, а живая ткань, изменчивая, многосоставная, пестрая. История помогала точнее понять смысл текущих событий, но и те, в свой черед, живо и остро освещали, «комментировали» прошлое. Это был двуединый, диалектический, сложный, напряженный процесс постижения законов истории и общественной жизни, путь к истине. У Герцена, собственно, нет «чистых» исторических работ. История совершенно необходимо вплетается в злободневные мысли, но не по поводу, не как фон или параллель, а самой существенной стороной. Иногда героической, чаще критической, негативными уроками. Развитие дел в пореформенной России тревожило Герцена. Этим, в частности, вызвано напоминание в статье «Мясо освобождения» (1862) о главных причинах поражения первой французской революции: «Великая основная мысль революции, несмотря ни на философские определения, ни на римско-спартанские орнаменты своих декретов, быстро перегнула в полицию, инквизицию, террор; желая *восстановить* свободу народа и признать его совершеннолетие, для скорости обращались с ним как с материалом благосостояния, как с *мясом освобождения*, *chair au bonheur public*, вроде наполеоновского пушечного мяса. (. . .) За собственным шумом и собственными речами добрые кварталные прав человеческих и Петры I свободы, равенства и братства долго не слышали, что говорит *государь-народ*; потом рассердились за навуходоносоровский материализм его. . . Однако и тут не спросили его, в чем дело» (16, 28).

Уроки революции закономерно представлялись Герцену необыкновенно важными и современными. Барьер, перед которым остановились «артисты-революционеры» XVIII в., обладавшие колоссальной энергией и воодушевляемые великой верой, и в который неизбежно «упирались» все последующие фаланги революционеров, должен быть преодолен. Потому-то так действительно необходимо было ясно и твердо определить важнейшие причины, остановившие движение революции. Герцен постепенно, анализи-

руя различные этапы революции, характер и направление ее движения, приходит к единственно точному и неоспоримому выводу: революция остановилась, выдохлась и погибла главным образом не от внешних причин и не из-за происков «врагов народа», а от серьезных внутренних причин, подтачивающих ее «дело» и «совесть». Не были разрешены коренные социальные и экономические вопросы, что в конечном счете остановило революционный процесс при глубочайшем равнодушии к судьбам гибнущей единой и нераздельной республики четвертого сословия, пришедшего было в движение и затем отпрянувшего, разочаровавшегося и утратившего веру. «Революцию, так — как она шла с 1789 года, — подытоживал, оглядываясь на многолетний опыт, Герцен, — не могли своротить с дороги ни обе империи, ни обе реставрации; ее остановила громадность социальной задачи и парализовало необыкновенное отношение к ней деятельной среды, развитого меньшинства. Пока дело шло о политических правах, все образованное стояло со стороны движения; дошедши до социального вопроса, сделалось новое расщепление. Несколько человек остались верными логике и движению, но масса образованных отступила и очутилась, при своих оппозиционных замашках, с консервативной стороны. Народ, за которого прежний революционер становился ходатаем, снова пал на руки попам или вовсе остался беспомощным в потемках низменных сфер жизни; адвокаты его, скрывавшие за собой его детскую неразвитость, расступились, и мы увидели несколько пророков на горе да внизу спящую тяжелым сном народную массу. Идти вперед боялись, идти назад было невозможно, вера в прошедшее была утрачена; надо было выжидать, ладить, удерживать нужное и ненужное, отстаивать приобретенное, отталкивать новое. Такому положению дел простой деспотизм империи, т. е. самодержавной полиции, естественнее конституционной монархии» (18, 382).¹²

¹² В сокращенном и усеченном виде те же мысли присутствуют в статье «Sommes-nous roug la guérrе? (За войну ли мы?)» (1868): «Французская революция началась с торжественного провозглашения прав человека, а закончилась злощасным криком прерияля: „Хлеба! Хлеба!“». Когда народ увидел, что он не получит хлеб от Конвента, трон был восстановлен» (20, 99). Обобщая опыт первой и всех последующих революций на Западе в «Prolegomena» (1868), Герцен пишет об одной характернейшей «забычивости» ее деятелей, в основном вопросе оставшихся консерваторами: «О земле почти всюду забывали во время революций на Западе, она находилась на втором плане, так же как и крестьяне. (. . .) Мы ничего не слышали ни с высот Конвента, если не считать Робеспьера, который поднялся на трибуну, чтобы отречься от своих проектов, ни с Июньских баррикад» (20, 65). Ранее, в статье «К концу года» (1865), Герцен остроумно и тонко разбирает мысли Э. Кине, которого поразил «аграрный характер» освобождения крестьян в России. «Несколько испуганный», он «принялся упрочивать мнение, что Конвент, что революция, что 1793 год, что Робеспьер и его товарищи, разрушая все общественное здание, касаясь до всего, до головы живого человека, до церковных колоколен, до верховной власти, никогда не касались до „собственности“ и всего больше до „поземельной собственности“, до этой животворящей, единоспасающей основы общества, образования, семьи, личности, свободы. Гражданский кодекс — величайший памятник Конвента — осытил и упрочил ее» (18, 468). А по поводу слов Кине («террор Конвента никогда так далеко не ходил — он только убивал!»),

Исключительно большое и важное место в творчестве Герцена занимают размышления о якобинском терроре и по поводу его. Они неотделимы как от эволюции Герцена — мыслителя и политика, так и от особенностей развития революционного движения на Западе и в России во второй половине XIX в. В юности Герцен пережил полосу увлечения революционным террором 1793 г.: «Было время, громовые раскаты девяностых годов захватывали и нашу душу. . .».¹³ Восхищаясь силой духа Робеспьера, отправившего на эшафот во имя дела республики друга детства Демулена («Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена!» — 2, 397), Герцен подчеркивал, что необходимо, несмотря на очевидные «гнусности», «склониться перед грозными явлениями» (2, 348). Да и значительно позднее Герцен о якобинском терроре отзывался довольно снисходительно: «Я террор понимаю, понимаю его величие грозы, мести» (11, 595).

Но одновременно Герцен с годами все отчетливее видел бесилие и вред террора, являвшего собой несомненный признак слабости и растерянности революционеров XVIII в.: «В терроре 93, 94 года выразился внутренний ужас якобинцев: они увидели страшную ошибку, хотели ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили голов, все-таки склонили свою собственную перед силою восходящего общественного слоя. Все ему покорилось, он пересилил революцию и реакцию, он затопил старые формы и наполнил их собой, потому что он составлял единственное деятельное и современное большинство; Сийэс был больше прав, чем думал, говоря, что *мещане* — „все“» (10, 119).

Недоброй памяти так называемый закон о «подозрительных» (число которых стремительно возрастало), авторитарно-карательные методы, заимствованные из арсенала монархического мира, которыми сверху силой внедрялись декреты конституции 1793 г., Герцен осуждал решительно, бескомпромиссно, иронически обнажая парадоксальность утверждения прав человека деспотическим насилием: «Она (конституция 1793 г. — В. Т.) декретировала *восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных*. Государственный быт — преступный плод узурпации, последствие злодейского заговора тиранов и их сообщников — попов и аристократов. Их следует казнить как врагов отечества, достойные их возвратить законному *государю*, которому есть нечего и который называется поэтому *санкюлотом*. Пора восстановить

в которых Герцен склонен видеть странную и не очень логичную иронию, он саркастически замечает: «Оно и немудрено, что так мало от него осталось. . .» (18, 469).

Эти полемические суждения Герцена, изложенные предельно лапидарно, будут развиты в монографии П. А. Кропоткина «Великая французская революция. 1789—1793» (М., 1979), где большое место уделено социально-экономическим проблемам.

¹³ «Мы прошли через все фазы либерализма, от английского конституционализма до поклонения 93-му году», — писал Герцен в статье 1854 г. «La Russie et le vieux monde (Старый мир и Россия)» (12, 186).

его старые неотъемлемые права... Где они были? Почему пролетарий государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими? . . . А? Вы сомневаетесь, — вы подозрительный человек, ближний государь сведет вас к гражданину судье, а тот пошлет к гражданину палачу, и вы больше сомневаться не будете!» (11, 240—241).

Герцен принципиально считает любой террор, в том числе и якобинский, явлением нежелательным, а попытки подражания ему в новое время, возведение методов террора в закон, обожествление деятельности Комитета общественного спасения — безответственным авантюризмом, который не могут оправдать никакие обстоятельства. Отвергая экстремистские тенденции в среде европейских революционеров, появившиеся после июньских расстрелов и победы реакции в Австро-Венгрии и Германии, Герцен усиливает критику негативных явлений и трагических ошибок якобинцев, хотя по-прежнему отдает должное силе духа и энергии Робеспьера, Сен-Жюста: «Террористы были люди недюжинные. Суровые, резкие образы их глубоко вываялись в пятом действии XVIII века и останутся в истории до тех пор, пока у рода человеческого не зашибет памяти; но нынешние французы-республиканцы на них смотрят не так, — они в них видят образцы и стараются быть кровавыми в теории и в надежде приложения.

Повторяя à la Saint-Just натянутые сентенции из хрестоматий и латинских классов, восхищаясь холодным, риторическим красноречием Робеспьера, они не допускают, чтоб их героев судили, как прочих смертных. Человек, который бы стал говорить о них, освобождаясь от обязательных титулов, которые стоят всех наших „в бозе почивших“, был бы обвинен в ренегатстве, в измене, в шпионстве» (11, 59). Герцен, как враг любого идолопоклонства, отвергает и этот революционный табель о рангах, полагая, что и герои подлежат суду разума и истории.

Много раз говоря о совершенно особом, исключительном, стихийно-идеальном характере якобинского террора, объясняющем, но отнюдь не оправдывающем его, Герцен с удивительной настойчивостью разъясняет, почему он не может разделять странных и болезненных симпатий к этой кровавой хирургии, уничтожавшей не врагов народа и республики, а дело самой революции. Все, что отталкивало и притягивало в этом акте революционной трагедии (разного рода психологические обстоятельства, невиданное напряжение страстей, мрачность грандиозной театральной постановки), не должно заслонять реальных результатов якобинского террора, а они были неутешительными, плачевными: «Террор был величествен в своей грозной неожиданности, но оставался на нем с любовью, но звать его без необходимости — странная ошибка, которой мы обязаны реакции. На меня Комитет общественного спасения производит постоянно то впечатление, которое я испытывал в магазине Charrière, rue de l'École de Médecine: со всех сторон блестят зловещим блеском стали кривые, прямые лезвия, ножницы, пилы. . . орудия вероятного спасения, но

верной боли. Операции оправдываются успехом. Террор и этим похвастаться не может. Он всей своей хирургией не спас республики. К чему была сделана *дантономания*, к чему *эбертомания*. Они ускорили лихорадку Термидора, — а в ней республика и захляла; люди все так же и еще больше бредили спартанскими добродетелями, латинскими сентенциями и латинклавами à la David, бредили до того, что „Salus populi“ одним добрым днем перевели на „Salvum fac imperatorem“ и пропели его „собранные“ во всем архиерейском орнате, в нотрдамском соборе» (11, 59).

В пору либеральной «весны» 1850-х гг., когда надежды на быстрое возрождение России и общинный «русский социализм» были у Герцена особенно сильны, он выступал сторонником английского (т. е. мирного в определенном смысле), а не французского (революционного) пути. Во всяком случае мирному пути он отдавал предпочтение, поживаясь от призывов «к топорам»: «Мы так привыкли видеть с 1789, что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шаг вперед берется с боя, — что невольно ищем, когда речь идет о перевороте, площадь, баррикады, кровь, топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба — одно из самых могущественных средств революций, но отнюдь не единственное. В то время, как Франция с 1789 года шла огнедышащим путем катаклизмов и потрясений, двигаясь вперед, отступая назад, метаясь в судорожных кризисах и кровавых реакциях, Англия совершала свои огромные перемены и дома, и в Ирландии, и в колониях с обычным флегматическим покоем и в совершенной тишине. (. . .) Артисты-революционеры не любят этого пути, мы это знаем, но нам до этого дела нет, мы просто люди, глубоко убежденные, что нынешние государственные формы России никуда не годны, — и от души предпочитаем путь мирного, человеческого развития путю развития кровавого; но с тем вместе так же искренно предпочитаем самое бурное и необузданное развитие — застою николаевского statu quo» (13, 21—22).¹⁴

Естественно, что Герцена сильно встревожили радикальные манифесты и листовки, появление которых совпало с петербургскими пожарами 1862 г. и наступлением реакции. Он пытался образумить увлеченных «юношей»: «Кто знаком с возрастом мыслей и выражений, тот в кровавых словах „Юной России“ узнает лета произносящих их. Террор революций с своей грозной обстановкой и эшафотами нравится юношам, так, как террор сказок с своими чародеями и чудовищами нравится детям» (16, 221). Отталкиваясь от своих прежних увлечений, Герцен метко рисует психофизиологически развращающее воздействие террора, особенно на пылкие чувства и неустоявшийся разум молодого поколения. Террор крайне опасен тем, что он зрелищно привлекате-

¹⁴ Также: «Мы не западные люди, мы не верим, что народы не могут идти вперед иначе, как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было» (14, 186).

лен, театрален, предполагает скорые и радикальные меры, утоляет жажду действия, давая прямолинейный выход гневу, мести («освобождает деспотизмом, убеждает гильотиной. <...> дает волю страстям, очищая их общей пользой и отсутствием личных видов» — 16, 221). И хуже всего, что он фактически снимает ответственность за кровь с отдельной личности, всех механически втягивая в мрачную трагедию, где то и дело меняются местами палачи и жертвы. В тревожной и превентивно-педагогической статье «Журналисты и террористы» (1862) Герцен призывает к толерантности, к поискам иных, гуманных и всесторонне продуманных путей эмансипации, не скрывая, разумеется, своей миролюбивой позиции: «Мы давно разлюбили обе чаши, полные крови, штатскую и военную, и равно не хотим ни пить из черепа наших боевых врагов, ни видеть голову герцогини Ламбаль на пике. . . . Какая бы кровь ни текла, где-нибудь текут слезы, и если иногда следует перешагнуть их, то без кровожадного глумления, а с печальным, трепетным чувством страшного долга и трагической необходимости. . .» (16, 222).

И далее Герцен аргументированно доказывает радикалам, что французский террор в России невозможен, что все расчеты торопящихся революционеров носят кабинетный и раздражительный характер, что Петербург 60-х гг. XIX в. совсем непохож на Париж 1789 и 1793 гг., что, наконец, «Юная Россия» игнорирует уроки истории, вернее, извлекает из истории только героико-романтические элементы, совершенно «забывая» о негероических итогах, несправедливых результатах: «Террор девяностых годов повториться не может, он имел в себе наивную чистоту неведения, безусловную веру в правоту и успех, которых последующие терроры не могут иметь. Он развился, как тучи развиваются, когда был слишком переполнен электричеством; оттого-то в его мрачном характере есть какая-то девственная непорочность, в его беспощадности — детское добродушие. И при всем этом террор нанес революции страшнейший удар. <...> На трон, облитый кровью, села централизованная полиция. Революционная идея была не по плечу народу» (16, 222—223).

Тревожные размышления и советы, тактично изложенные Герценом в статье «Журналисты и террористы», получают дальнейшее развитие, уточняются, превратятся в строгие и четкие тезисы, формулы в полемике с анархистской «теоретической» программой Бакунина и Огарева, зловеще освещенной «практическими» опытами С. Г. Нечаева. Упрекая «старых товарищей» в упрямом нежелании видеть огромные перемены в мире, происшедшие после эпохи якобинцев, в полнейшем пренебрежении к урокам истории, Герцен отвергает их всеразрушительную программу как беспочвенную и авантюристическую: «Насильем и террором распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные империи и нераздельные республики, насильем можно разрушать и расчищать место — не более. Петроградизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабефа и комму-

нистической барщины Кабе не пойдет. Новые формы должны все обнять и вместить в себе все элементы современной деятельности и всех человеческих стремлений» (20, 578).

Призывы разрушить «поганое государство», уничтожить, не стесняясь любыми средствами, всю систему веками складывавшихся общественных отношений, пренебрежительное отношение к слову, науке, искусству, аморально-иезуитский характер «Катехизиса революционера» — все это представлялось Герцену вопиющей и злонамеренной демагогией. Герцен напоминает об элементарных истинах «старым» и «молодым» товарищам, идущим в революционном азарте против логики и здравого смысла, против исторического опыта, который заставляет признать, что как якобинский террор, так и расправа над декабристами и Чернышевским были «государственными» акциями: «Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции — тому, с чьей стороны сила. . . (< . . . >) Комитет общественного спасения представлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии. Министр юстиции Дантон был министр революции. Инициатива освобождения крестьян принадлежит самодержавному царю» (20, 590—591).

Старые якобинцы еще имели право на ошибки, они были первопроходцами, их неудержимо уносил революционный поток. Новые революционеры такого оправдания не могут иметь. Они не должны повторять зады «французской революционной алгебры» — им это не простится, так как о неведении после множества революционных грехопадений не приходится говорить. На новое «поколение, искушенное мыслию», ляжет тяжелая ответственность, «когда оно примется ломать, исказить народный быт, зная вперед, что за всяким насилием такого рода следует ожесточенное противодействие, страшные взрывы, страшные усмирения, казни, разорения, кровь, голод» (14, 186). Будущая революция, по глубокому убеждению Герцена, должна быть созидательной, разумной, просвещенной; должна сохранить все ценности, созданные человеческой цивилизацией, внося свет разума, гуманного знания, умеряя стихийные порывы масс в грозные мгновения истории: «Довольно христианство и ислаимизм наломали древнего мира, довольно французская революция наказала статуй, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев.

Я это так живо чувствовал, стоя с тупой грустью и чуть не со стыдом. . . перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитые изваяния, на выброшенный гроб, повторяя: „Все это истреблено во время революции“. . .» (20, 593).¹⁵

¹⁵ В письме к Н. П. Огареву от 2 июля 1869 г. Герцен выражался энергичнее: «В Nancy я посмотрел — как и в Страсбурге — на изуродованные статуи-памятники, и мне жаль стало якобинцев, что они так напакостничали» (30, 145).

Герцен внимательнейшим образом следил за исторической и мемуарной литературой о первой Французской революции, но у него и в отдаленных планах не было создания сочинений о «колоссальной эпопее». Часто обращаясь в своих работах к ее событиям, идеям, деятелям, он не стремился к фактической точности в узком смысле, иногда сознательно прибегая к гиперболизации, гипотетическим проекциям в будущее и художественной фантазии. Но к раскрытию смысла явления в целом, точному определению места и значения революции в исторической цепи мировых событий Герцен стремился всегда, начиная с русских дневников 1840-х гг. Историю Герцен постоянно поворачивает к современности, сталкивает ее в очной ставке с злободневностью, с хроникой текущих событий. Никогда, однако, Герцен историю не осовременивает, не подгоняет и не стилизует под современность. В отличие от тех, кто уважает «историю только в будущем», Герцен уважал ее и в «настоящем», и в «прошлом», где его особенно привлекало последнее десятилетие XVIII в.: вдохновляющие и страшные «сны революции».

Герцен был хорошо знаком со всеми знаменитыми историями революции 1789—1793 гг. и некоторые из них неоднократно перечитывал. Внимательнейшим образом следил за новейшими сочинениями, в том числе и беллетристическими. Более же всего он любил книги Ж. Мишле и Т. Карлейля, т. е. работы, которые в академическом смысле историческими назвать невозможно. Однако это как раз и привлекало в них Герцена — «деятели» и «художника». Раздраженный хладнокровно-объективной позицией Г. Н. Вырубова, с позитивистским беспристрастием и бесстрашием наблюдавшего парижские события 1869 г., Герцен явно отдает предпочтение эмоциональной, «ангажированной», пристрастной точке зрения: «Выр(убов) утешается тем, что это борьба — а при борьбе всегда есть жертвы. Взгляд историка не идет деятельного человеку, он не обязан быть справедлив, как квартальный, — а страшно верен своей стороне.

А тут проклятая теория — чем хуже, тем лучше» (30, 517).
 Весьма характерная, симптоматичная запись.

В статье-рецензии на книгу Мишле «Renaissance» (1855) Герцен подчеркивал особое значение философско-поэтических трудов, обладающих огромными преимуществами перед историями традиционного типа: «Разумеется, из книги Мишле нельзя научиться истории XVI столетия, как из книги Карлейля нельзя научиться истории революции; это не вступления, а заключения, завершения, эпилоги, последние слова». Можно с полной уверенностью утверждать, что как труд «великого историка» Мишле, так и философская «поэма» Карлейля привлекали Герцена главным образом художественной мощью, яркостью картин, искусством создания портретов титанов и пигмеев революции. Он сам, вдохновляясь поэтическими картинами Мишле, Карлейля, Э. Кине, создал

серию блестящих очерков истории великой революции, насыщенных метафорами и символами: «заклучения, завершения, эпилоги, последние слова» Герцена.

Герцен находился в переписке со многими выдающимися французскими и английскими писателями, историками, философами, встречался с ними, поддерживал на протяжении ряда лет тесные отношения. Непосредственное общение дало много как Герцену, так и его «западным» коллегам. Исключительно плодотворным и эффективным было творческое содружество, не исключавшее и полемики (Герцен, как всегда, выступал в роли пропагандиста России, ее истории и культуры на Западе, температураiento оспаривая тенденциозные и ошибочные представления о «terra incognita») между Герценом и Мишле. В письме к последнему от 3 февраля 1868 г. Герцен чрезвычайно высоко оценил его «Историю французской революции», чем взволновал автора: «Нынешней осенью я перечитал вместе со старшей дочерью *вашу историю революции* — от 21 января до конца.

Боже, какие страницы, какие главы! Это самая поэтическая и самая *целомудренная* история вашего катаклизма.

Не сердитесь на меня за то, что я так откровенно высказываюсь.

Я плакал, читая последние страницы о смерти Дантона и его друзей» (19, 271).¹⁶

С Карлейлем отношения складывались не столь задушевно: Герцену представлялись странными, слишком парадоксальными консервативные идеи очень поправевшего со времен работы над «Историей французской революции» английского писателя и философа. Многое в позиции Карлейля Герцен не принимал, что, естественно, сказалось на переписке и личных беседах с ним. Впечатления от встреч отчасти подтвердили то, что было известно по книгам. Расхождения были столь значительны, что согласия достичь оказалось просто невозможно; Герцен разрядил напряженность остроумной шуткой, видимо предотвратившей разрыв, но не более того: «. . . я (. . .) весь вечер просидел у Карлейля. Он совершенно то, что мы знали, читая его „Историю революции“, — талантливость, касающаяся гениальности, парадоксы, смелость суждений и un grain de folie. Я спорил с ним страшно, его grain de folie — что деспотизм спасет мир и *повиновение* приведет к социализму. Я, наконец, ему сказал: „Читали вы когда-нибудь «Историю революции» Карлейля? Вот писатель, который гораздо лучше и глубже понимает, нежели вы“. Из этого произошел смех. . .» (письмо М. К. Рейхель от 11 (23) декабря 1852 г.; 24, 375). Не входя в суть споров и только в самой общей форме очерчивая отношение к взглядам философа, Герцен сообщал о встрече с Карлейлем К. Фогту 24 марта (5 апреля) 1853 г.: «. . .познако-

¹⁶ А в письме от 30 января (11 февраля) 1868 г., выступая адвокатом России и русского народа, Герцен тонко и дипломатично поправляет и упрекает Мишле: «Я отлично знаю, что Вы слишком великий историк, чтобы осудить народ, не уяснив глубоко его положения» (19, 274).

мился с Карлейлем, автором „Истории революции“. Это человек громадного, но слишком парадоксального таланта — его называют шотландским Пруденом» (25, 43).

Через несколько лет после знакомства Герцен вместе с другими членами семьи перечитывает книгу Карлейля о революции. Впечатление от нового чтения, на которое неволью накладывалась тень серьезных и принципиальных разногласий, было несколько иным и, судя по всему, более критическим. Г. Н. Вырубову Герцен писал 31 октября (12 ноября) 1867 г.: «Карлейля только 3-ю книгу пришлите. У него картины хороши, а рассуждения à la Jean-Paul Richter ins Blaue hinaus» (29, 230). Таким образом, философия истории, религиозно-символический и учительно-тенденциозный комментарий Карлейля, его этический суд Герцена раздражают; эти «последние слова» он отвергает, по-прежнему высоко оценивая художественную силу изображения.

Увидевшая свет в 1837 г. «История французской революции» Карлейля имела большой успех в среде англо-американских писателей и философов. Книгой восхищались философ-позитивист, друг семьи Карлейля, Д.-С. Милль, романист У. Теккерей, философ и эссеист Р. Эмерсон. Сильное воздействие оказала книга на роман Ч. Диккенса «Повесть о двух городах», на что писатель прямо указал в предисловии.¹⁷ Книгу хвалили как в умеренно-консервативных кругах (Р. Саути), так и в радикальных (Д. Мадзини), что неудивительно: многие элементы религиозно-философской концепции, ряд тенденциозных портретов виднейших деятелей революции, мрачная ирония, подчеркнута отрицательное отношение к «апостолу» и «святому отцу» Руссо нравились консерваторам; либералы и радикалы видели в сочинении Карлейля оправдание «санкюлотизма», поэзию «возмездия», неизбежно настаивающего правящие сословия, которые сеют ветер и, естественно, пожинают бурю (на Диккенса огромное впечатление произвело описание расправы толпы с Фулоном).

«История. . .» Карлейля, отразившая смятение автора и поиски руководящей нити в пошатнувшемся, давшем трещину мире, — книга мужественная и, если так можно выразиться, сумрачно-оптимистическая, исполненная сурового пуританского духа, жестокой иронии, изобилующая парадоксами и стоическими сентенциями. Это своего рода роман на прочной документальной основе, в котором факты, биографии, свидетельства современников послужили материалом для поэтической мысли Карлейля, для взволнованного диалога с читателем о причинах и сути грандиозных и страшных событий, которые не только перевернули мир, но и внесли, по выстраданному Карлейлем убеждению, смысл и надежду в историю человечества. Вот отчасти почему в книге видят

¹⁷ Похоже, что Герцен остался равнодушен к этому роману одного из самых любимых им современных писателей. Во всяком случае он о романе нигде не пишет, даже когда подбирает для детского чтения беллетристические произведения о первой французской революции.

«оправдание» революции, что, впрочем, не совсем точно: великая революция не нуждается в оправдании; она сама, в конечном счете пришел к выводу Карлейль, является оправданием истории: в такое грозное время заблудившемуся, очутившемуся на краю бездны человечеству становятся видны новые пути и горизонты.

Чрезвычайно важна одна особенность, отличающая книгу Карлейля от многих других исторических исследований о революции (в том числе, разумеется, и тенденциозных, роялистских), — своеобразный демократизм концепции автора, которого потрясли, но не толкнули на путь проклятий жестокие драмы революции, самосуды толпы, дикie порывы мести, циничные и грубые поступки. Карлейль ярко изображает, нисколько не смягчая и не оправдывая происходящего, кровавые сентябрьские дни, резню в Лионе, кошмарные «нояды», другие мрачные события. Но он по-своему восхищен французской «чернью»: «Чернь у других народов состоит из тупых масс, которые катятся вперед с тупой настойчивостью, тупой злобной горячностью, но из которых не вырывается яркая искра гениальности. Французская чернь, наоборот, является одним из самых живых феноменов нашего мира. Она так решительна, смела; так изобретательна, прозорлива, так быстро умеет пользоваться моментом, что, по всем видимостям, инстинкт жизни переполняет ее до конца пальцев». ¹⁸ Карлейлю принадлежит и знаменитое рассуждение, к которому с повышенным вниманием отнеслись Н. С. Лесков и А. А. Блок: *«Пусть читатель сознается, что в массе разных явлений немного, быть может, на земле заслуживает такого внимания, как именно чернь. Простой народ является непосредственным проблеском природы; он исходит из самой сокровенной ее глубины или находится с нею в нераздельном общении. Когда столь многие не перестают насмешливо скалить зубы и гримасничать, преследуя лишь безжизненную формалистику, и под туго накрахмаленной грудью уже не чувствуется биения сердца, здесь — и только здесь — живет искренность и правда. Вы содрогнетесь, пожалуй, даже не сдержите крика ужаса, но, несмотря на все, присмотритесь к черни. Какое сложное смешение человеческих сил и индивидуальностей, вышвырнутых с их трансцендентальным настроением для действия и воздействия и на обстоятельства, и друг на друга, для совершения той созидательной работы, которую им дано совершить! То, что они сделают, никому не известно и менее всего им самим. Это самый воспламеняющийся, неизмеримый фейерверк, самозажигающийся и самосгорающий. В каких фазах, в каком размере и с какими последствиями он будет гореть, — это философия и прозорливость тщетно сияются предрешить»*. ¹⁹

¹⁸ Карлейль Т. Французская революция: История. СПб., 1907. С. 171.

¹⁹ Там же (курсив Блока). Книга самым внимательным образом изучалась Блоком в период между двух войн (русско-японской и мировой) и двух русских революций. В книге множество его разнообразных помет и маргиналий. Сами по себе эти пометы — драгоценнейший комментарий к историческим, философским и политическим взглядам поэта, слушающего «музыку» старой революции. См. об

Вне сомнения, Герцену тоже импонировали демократические тенденции труда Карлейля, страстность автора, глубоко переживающего события, увлеченного неудержимым революционным потоком, заразившегося «магнетическим» духом борьбы. Но религиозно-мифологическая философия истории, трактовка писателем революции как своего рода мистерии, трансцендентальной и необъяснимой, таинственной игры сил Зла и Добра,²⁰ его пророчества, облеченные в мифологические и библейские образы, назойливое морализаторство не могли не вызвать протеста у Герцена, который в конце концов иронически осудил рассуждения писателя вообще, хотя, разумеется, сочувствовал «музыке» революции, явственно звучащей на многих страницах книги, гимну свободе, великой борьбе против лжи, несправедливости, рабства.²¹

Современный биограф Карлейля, определяя причину необыкновенной популярности «гениальной» «Истории французской революции», пишет: «Конечно, главное в книге не ирония и жестокий юмор, не яркие образы Мирабо, Дантона, неподкупного Робеспьера, не способность оживлять мертвый документ прошлого. Главное в этой книге, более чем в остальных его сочинениях, — это ее пророческий дух, призыв к высоким идеалам, звучащий здесь еще сильно и ясно, чисто, без ноток разочарования».²² Это

этом содержательную статью: *Аверин Б. В., Дождикова Н. А.* Блок и Т. Карлейль // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1987. С. 89—117.

Процитированное место из книги Карлейля в другом переводе Лесков изберет эпиграфом к рассказу «Продукт природы». Лесков необыкновенно высоко ценит Карлейля. Следы внимательного прочтения его книг в творчестве писателя многочисленны и чрезвычайно интересны. Лесков в письме к Б. М. Бубнову от 17 марта 1893 г. назвал Карлейля величайшим из современных английских писателей, перечислил все его главные труды и добавил: «Это ведь тоже и очень поэтический писатель-мудрец» (*Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1958. Т. 11. С. 532).

²⁰ Вот типичное рассуждение Карлейля, способное вызвать у Герцена лишь досаду и недоумение: «Мир неопределим, неисповедим. Неисповедимое нечто, что *Не мы*, но над чем мы можем орудовать, среди чего мы живем, что мы можем чудесным образом формировать в нашем чудесном существе и что мы называем миром. Но если, по учению метафизики, даже скалы и реки, строго говоря, созданы нашими внешними чувствами, то тем более *созданы* внутренними чувствами все явления духовного порядка: достоинства, авторитеты, святое, несвятое!» (*Карлейль Т.* Французская революция: История. С. 7).

²¹ «Но как бы то ни было, а велик тот момент, когда до нас достигает весть свободы; когда долго порабощенная душа стряхивает с себя оковы и презренную подавленность и, воспрянув, хотя бы даже в слепоте и смятении клянется Тем, кто ее создал, что она будет *свободной!* Свободна? Поймите, что быть свободным — это глубокое, более или менее сознательное стремление нашего существа. Свобода — это единственная разумно или неразумно преследуемая цель всей человеческой борьбы, трудов и страданий здесь, на земле. Да, велика такая минута (если ты знал ее): это первое видение как бы опоясанного Синяя в нашем паломничестве, в пустыне; с ним нам не нужно больше облачного столба днем и огненного ночью. Да, освободиться от утеснения тебя твоими ближними — это уже нечто, но еще важнее это нечто, когда цепи *проржавели* и разъедают твоё тело. Итак, вперед, иступленные силы Франции, какая бы ни ждала вас судьба! Вокруг вас лишь голод, ложь, разложение и погребальный звон. Так жить нельзя!» (*Карлейль Т.* Французская революция: История. С. 124).

²² *Саймонс Дж.* Карлейль. М., 1981. С. 161.

не совсем так. «Нотки разочарования» есть в книге, хотя их меньше, чем в других сочинениях писателя. Не являются ее сильной стороной и сентенции, «формулы», пророчества. Герцен гораздо более прав, выделяя, как наиболее удавшийся, художественно-образительный пласт: поэтическую летопись событий, «картины». Карлейль — замечательный рассказчик, умело создающий напряженный, драматический ритм повествования, мастерски очерчивающий портреты больших и малых деятелей революции, одинаково хорошо владеющий искусством патетики и иронии (от мягкой до жестокой). Безупречно выстроен сюжет книги, «романическое» начало которой подчеркивают названия глав, более уместные в романах А. Дюма и В. Гюго, чем в исторических сочинениях.²³

С. Кольридж, знакомый только с «Сартором Резартусом» и другими ранними работами Карлейля, сильно уступающими «Истории...», проницательно уловил индивидуальную особенность стиля писателя, как бы вспышками молний ярко высвечивающего события и людей. Эта особенность резче всего проявилась как раз в сочинении о революции, стилистический рисунок в котором значительно четче, определеннее, мощнее, чем в других произведениях Карлейля. Стиль Карлейля здесь завораживает, гипнотизирует, пленяет читателя. С. Бэлза верно заметил, что «портреты, созданные Карлейлем (<...>) обладают силой обратного воздействия — искусства на действительность: после выхода „Французской революции“ трудно было отвлечься от созданных Карлейлем образов ее вождей».²⁴

Под сильным впечатлением портретов и картин книги Карлейля находился и Герцен, несмотря на то что он еще до знакомства с нею прочитал огромную библиотеку исторической, мемуарной, беллетристической литературы о революции 1789—1793 гг., впитал в себя множество устных рассказов участников грозových событий и даже сам попытался их отразить в рассказе «Первая встреча», первоначально названном «Германский путешественник». Правда, далеко не все элементы стиля Карлейля были Герцену близки (многое должно было представляться ему напыщенной риторикой); слишком очевидной для него была тенденциозность автора по отношению к «другу народа» Марату, атеисту Эберу и другим радикальным деятелям революции; наконец, не

²³ «Мыльные пузыри», «Смертельный поединок», «Погребение с иллюминацией», «Гроза надвигается», «Фонарь», «В хвосте», «О, Ричард, о, мой король!», «Черные кокарды», «Менады», «Клянусь!», «Гром и дым», «Эпимениды», «С мечом в руке», «Бежать или не бежать», «День кинжалов», «Смерть Мирабо», «Ночь шпор», «Меткая пальба», «Нет сахара», «Процессия черных брюк», «В поход!», «Подземное царство», «Полночные колокола», «Развенчанный король», «Проигравший платит», «В смертельной схватке», «Погасли», «О, природа!», «Острый меч», «Низвержение», «Смерть», «Разрушение», «Огненная картина», «Дантон, мужайся!», «Телеги», «Лев не умер», «Лев вытягивается в последний раз», «Жареные сельди», «Залп картечи», «Изменник», «Восставшие против деспота», «Исполняй свой долг!», «Люди в штанах и санкулоты».

²⁴ Саймонс Дж. Карлейль. С. 11.

разделял он в основных чертах и философию истории, развернутую в книге. Герцену близок жанр Карлейля — поэтическая история, имеющая сходство с романом и с историко-философской поэмой, свободное, открытое повествование, диалогизированная структура. Все это отвечало эстетическим вкусам, интенциям и литературной «практике» Герцена.

Высокая оценка Герценом «Истории. . .» Карлейля определяется в значительной степени и тем немаловажным обстоятельством, что многие из любимых писателем «артистов-революционеров» изображены в ней с явным сочувствием и теплотой: не только Кондорсе и Мирабо, но и Анахарсис Клоотс, Демулен, Дантон, Сен-Жюст, Роом. Герцен быстро и остро откликнулся на то, что казалось ему в трудах современных историков нетактичным, нецеломудренным и пристрастным. Он писал 12 ноября 1857 г. Мишле: «Я не вполне доволен IX томом Луи Блана. Он утомлен, слишком непреклонен, и он дурно обходится с моими личными друзьями — Анахарсисом Клоотсом и [Эбером?].²⁵

Я не могу постичь это неумолимое противуположение: налево — братство, направо — индивидуализм. Ведь были же „смерть“ в братстве и милосердие в эгоизме некоего Гельвеция» (26, 136).

В гораздо большей степени соответствовал мнению Герцена о «личном друге» Клоотсе его портрет у Карлейля: «Но из всех иностранцев самый интересный для нас — это барон Жан Батист Клоотс, или, — откинув все имена, данные при крещении и по феодализму, — гражданин мира Анахарсис Клоотс, из Клеве. Заметь его, добросовестный читатель! Ты знал его дядю, проницательного, острого Корнелия де Пау, безжалостно разрушающего все дорогие иллюзии и из благородных, древних спартанцев делающего современных головорезов Майнотов. Из того же материала создан и Анахарсис, из раскаленного металла, полного шлаков, которые должны были вылавливаться из него, но так и не вылавятся. Он прошел нашу планету по суше и по воде, можно бы сказать, в поисках давно потерянного рая. В Англии он видел англичанина Берка; в Португалии его заметила инквизиция; он странствовал, сражался и писал; между прочим, написал „Доказательства в пользу магометанской религии“. Но теперь, подобно своему приемному крестному отцу, скифу, он является в Париж-Афины, где находит наконец гавань для своей души. Это блестящий человек, желанный гость за патриотическими обедами, весельчак, даже юморист, опрометчивый, саркастический, щедрый, прилично одетый, хотя ни один смертный не обращал меньше его

²⁵ Имя М. К. Лемке не разобрал, но с большой долей уверенности можно предположить, что это был Эбер. Раздражение Герцена вызвало следующее место из «Истории французской революции» Луи Блана: «В сущности единственной связью между Клоотсом и гебертистами была ненависть к духовенству. У оратора рода человеческого она была настолько сильна, что он тотчас же впадал в бешенство, как только начинал говорить о священнике. (. . .) Он преследовал фанатизм фанатизмом» (*Blanc L. Histoire de la Révolution française. Paris, 1857. P. 473—474*).

внимания на костюм. Под всяким платьем Анахарсис прежде всего ищет человека; даже столпник Марат не мог бы взирать с бóльшим пренебрежением на внешнюю оболочку, если в ней не заключается человека. Убеждение Анахарсиса таково: есть рай и его можно открыть, под всяким платьем должен быть человек». ²⁶

Личность Анахарсиса Клоотса, этого аристократа в демократии, «оратора рода человеческого», одержимого мечтой о всемирном, именно всемирном братстве людей, одного из самых чистых и благородных деятелей революции, всегда привлекала особое внимание «скитальца» и «скифа» Герцена. Он, конечно, видел и донкихотство (святое, самой высокой пробы) рыцаря Всемировой демократической республики, так ярко и трогательно-наивно выразившееся во время праздника 17 июня 1790 г., который был устроен по сценарию барона Клоотса. Герцен несколько раз упоминал об этом событии в своих произведениях, любясь чистотой и высотой порывов «личного друга», его благородной и всеотзывчивой душой и одновременно добродушно посмеиваясь над маскарадным, инсценированным «братством». Отчетливо помнил Герцен и подробное описание праздника у Карлейля, в котором грустная ирония тактично оттеняла пламенный идеализм Клоотса, так сказать интернационализирующего революцию, создающего театральный прообраз освобожденного человечества. ²⁷

Да и сам Герцен, вспоминая этот «сон» XVIII в. (в его рассказе о некоторых деталях праздника есть неточности), пишет о том, как все еще далеки от реального воплощения идеалы знаменитого романтика революции: «Как вспомнишь, что добрый „заступник человеческого рода“ Анахарсис Клоотс сам раскрасил одного из своих родственников, для того чтоб на празднестве французской республики не было недостатка в представителе из Отаити, так нельзя не сознаться, что с тех пор международное братство недалеко ушло вперед» (12, 255). Прискорбным эпизодом революции считал Герцен расправу над «заступником человеческого рода», которого как подозрительного иностранца отправила на эшафот единая и нераздельная республика свободы, равенства, братства. Он восхищался, подобно Карлейлю, мужественным поведением «гражданина мира»: «Клоотс, все еще с видом тонкого сарказма, старается шутить, излагает „аргументы материализма“ и требует, чтобы его казнили последним; „он хочет установить некоторые принципы“, из которых философия, кажется, до сих пор не извлекла никакой пользы». ²⁸

²⁶ Карлейль Г. Французская революция: История. С. 212—213. Правда, далее следуют «рассуждения» из разряда тех, что вызывали неудовольствие Герцена: «О, Анахарсис, это безрассудная вера. На этом коньке ты быстро поскачешь в город Никуда — и будешь там, наверху. В лучшем случае ты придешь туда с хорошей посадкой, а это, конечно, уже есть нечто» (там же).

²⁷ См.: Там же. С. 231—232.

²⁸ Там же. С. 568.

Учреждение Робеспьером культа Верховного Существа (рационализированные, упрощенные, театрализованные идеи Руссо), расправа Неподкупного с атеистами, Дантоном и его друзьями вызывали неизменно отрицательную, а иногда и гневную, саркастическую реакцию Герцена. Это были такие события революции, которые подлежали решительному и беспощадному «суду разума». Конечно, Герцен не разделял недружелюбных и чрезмерно пристрастных суждений Карлейля о Робеспьере,²⁹ однако ядовитое, злое описание праздника L'Être Suprême, где английский историк дал полную волю иронии, он, вне сомнения, прочитал с удовольствием.³⁰ Оно как нельзя лучше отвечало чувствам и мыслям Герцена. Праздник, по его мнению, предрешил и ускори падение Робеспьера: «И в самом деле, после Fête de L'Être Suprême Робеспьер становится мрачен, задумчив, беспокоен, его томит тоска, нет прежней веры, нет того смелого шага, которым он шел вперед, которым ступал в кровь, и кровь его не марала; тогда он не знал своих границ, будущее было беспредельно; теперь он увидел забор, он почувствовал, что ему приходится быть кон-

²⁹ Карлейль и не пытается скрыть своей неприязни к «зеленолицей химере», торопит его «исчезновение» со страниц своей книги: «О зеленолицый пророк, несчастнейший из пузырей, надутый до того, что готов лопнуть, в какую безумную химеру превращаешься ты! Так этот смоляной факел из картона для зажигания фейерверков изображает чудодейственный жезл Аарона, который ты хочешь простереть над избытой кошмаром и ядом Францией и приказать ее египетским казня прекратиться? Исчезни ты вместе с ним» (Там же. С. 578).

³⁰ «Раз, что католицизм выжжен, а поклонение разуму гильотинировано, надо же было придумать какую-нибудь новую религию. Неподкупный Робеспьер, законодатель свободного народа, хочет быть, как у древних, также священнослужителем и пророком. Он облачился в заказанный для этого случая голубой камзол, белый шелковый жилет, вышитый серебром, черные шелковые брюки, белые чулки и башмаки с золотыми пряжками. Как президент Конвента он заставил его декретировать признание „Верховного Существа“ и бессмертия души. Эти утешительные принципы объявлены указом как основа рациональной республиканской религии, и вот в эту благословенную декаду, с помощью неба и художника Давида, должен произойти первый акт поклонения новому божеству.

Итак, смотрите: после того как декрет утвержден и произнесена по этому поводу „самая тощая из пророческих речей, когда-либо произнесенных“, Магомет Робеспьер в голубом камзоле и черных брюках, завитый и напудренный в совершенстве, неся в руке букет цветов и колосьев, гордо выходит из зала Конвента; члены его следуют за ним, однако, как замечают, на некотором расстоянии. Сооружено нечто вроде амфитеатра, или, вернее, возвышения, на котором сложены отвратительные статуи атеизма, анархии и тому подобного, возбуждающие благодаря небу и художнику Давиду, отвращение во всех сердцах. (. . .) Зеленолицый первосвященник берет факел, подаваемый художником Давидом; бормочет еще несколько пышных, бессодержательных слов, которых, к счастью, нельзя расслышать; потом делает несколько решительных шагов перед лицом ожидающей Франции и приклеивает свой фонарь к атеизму и компании, которые, будучи сделаны из картона и облиты скипидаром, быстро сгорают. Из-под них поднимается „посредством механизма“ несгораемая статуя мудрости, которая по несчастной случайности оказывается немного закоптелой, но тем не менее она стоит на виду с невозмутимой ясностью. (. . .) Брось на это один взгляд, читатель, не более. Это самая жалкая страница человеческих летописей: или тебе известны еще более жалкие? Мумбо-Юмбо африканских лесов кажется мне почтенным рядом с этим новым божеством Робеспьера, так как это сознательное Мумбо-Юмбо, знающее, какая механика подведена под него» (Там же. С. 577—578).

серватором, и голова атеиста Клоца, пожертвованная предрассудку, лежала в ногах его, как улика, через нее ему нельзя было перешагнуть» (6, 101). Тот же ход мыслей обнаруживаем и в ироническом апофеозе Робеспьера Тита Левиафанского («Aphorismata», 1858); он ставит «самого последовательного религиозного инквизитора и гонителя» «гораздо выше Диоклетиана, Кальвина, Филиппа II и др.», поясняя, что этим Неподкупный, «конечно, обязан успехам философии и гуманности в XVIII веке»; не забыт в «апофеозе», разумеется, и Клоотс с товарищами: «Те жгли своих противников — он рубил головы людям не за то, что они *не так* верили, как он, а просто за то, что они не верили ни во что, кроме разума. Он очень последовательно казнил Анахарсиса Клоца и его товарищей, понимая, что как только из-под ног человека выдернуть треножник мистики, так он и падет в самое жалостное положение» (20, 116—117).³¹

Не собираясь отказываться от «суда разума» (и даже палаческих обязанностей по отношению к прошлому) над Робеспьером и другими героями и великомучениками великой революции (независимо от того, «друзья» они ему или нет), Герцен отвергает идею суда «морального» и «уголовного», аргументируя это тем, что революция имеет свою мораль и религию. Мерить же обычными мерками события и людей, живущих в период осадного положения, войны, грандиозных катаклизмов, нелогично и несправедливо. Нелепо и осуждать на «этическую гильотину» людей, которые с такой удивительной легкостью, шутя, импровизируя эффектные речи, шли в тюрьму и на эшафот. Это были люди, охваченные страстью, святым безумием, бескорыстные и бесстрашные, как бы сделанные из особого тугоплавкого материала. Уносимые ураганом революции, они гибли один за другим, бросая вызов небе-

³¹ О республиканском религиозном культе, учрежденном Робеспьером, Герцен всегда отзывался зло, саркастически. Показательно, что в повести «Доктор. Умиряющие и мертвые» Робеспьера хвалит за «благоразумный» шаг «мертвец» Марраст (замечательно обрисованы в повести этот государственный человек, которому вверено «священное депо» (20, 552), и его «приемная временщика, Меттерниха при царе-народе, — но приемная необходимая, необтершаяся, словно в ней пахло краской и двери скрипели на петлях» — 20, 549). Государственному мнению Марраста противопоставлен «непрактический» взгляд доктора, выражающего точку зрения Герцена:

«— У вас взгляд непрактический, доктор. Исполнение религиозных обрядов большинства народа до некоторой степени обязательно для всех. Здесь не может быть речи о притеснении совести — это дело декорума. Зачем человеку высокомерно выделять себя в какое-то оскорбительное апарте. . . Это очень хорошо понимал человек, которого авторитет трудно отвести, — Робеспьер. Он говорил, что атеизм — аристократия.

— И выдумал свою церковь, в которую вербовал гильотиной, да и то не вербовал. . .

— Вы знаете, что я гильотину не оправдываю, но все же его религия была лучше атеизма Эбера.

— Как кому, это дело вкуса. . . а последний крик умирающего Ральера у меня в ушах. . . и католическую галиматью, в которой подхваливают христоролюбивую республику, считаю обидным и для честного республиканца, и для Второй республики. . .» (20, 551).

сам,³² бросая вызов самой смерти, которая была для них всего лишь мимолетным эпизодом, досадной остановкой страшного и неудержимого бега. Их последние слова, поступки, жесты исполнены достоинства и мужества.

В «Истории. . .» Карлейля эти последние мгновенья изображены с большой художественной силой. С поистине аристократической выдержкой холодно смотрит в глаза смерти Филипп Орлеанский (Эгалите), и мрачно шутит, выказывая полнейшее презрение к процедуре казни: «Глаза Филиппа блеснули на мгновение адским пламенем, но огонь тотчас погас, и Филипп продолжал сидеть бесстрастный, холодно-вежливый. На эшафоте, когда Самсон собирался снять с него сапоги, осужденный сказал: „Оставьте; они лучше снимутся *после*, а теперь поспешим, *dérêchons-nous!*“». ³³ Старику Бальи, терпящему адские муки под ледящим дождем, кто-то из беснующейся толпы со злорадством крикнул: «Бальи, ты дрожишь!», на что страдалец ответил с кротким достоинством: «От холода, друг мой!».³⁴

Еще поразительнее поведение женщин — «дев» и «жертв» революции. Жанна Роллан потрясла всех, не исключая и Карлейля, посвятившего ей лирическое прощание, одну из самых взволнованных и поэтических страниц книги: «Прибыв к подножию эшафота, она просит дать ей перо и бумагу, „чтобы записать странные мысли, явившиеся у нее“, — замечательное требование, но в котором ей было отказано. Посмотрев на стоящую на площади статую свободы, она с горечью заметила: „О, свобода, какие вещи совершаются твоим именем!“ Ради Ламориса она хочет умереть первой, „чтобы показать ему, как легко умирать“. „Это противоречит приказу“, — возразил Самсон. — „Полноте, неужели вы откажете женщине в ее последней просьбе?“ Самсон уступил. (. . .) Благородное белое видение с гордым царственным лицом, мягкими гордыми глазами, длинными черными волосами, ниспадающими до пояса; и с отважнейшим сердцем, какое когда-либо билось в груди женщины! Подобно белой греческой статуе, законченно-ясная, она сияет, надолго памятная среди мрачных развалин окружающего. (. . .) Это как бы маленький луч света, проливающий теплоту и что-то священное надо всем, что предшествовало. В ней также было что-то неопределимое; она также была дочерью бесконечного; существуют тайны, о которых и не снилось философам! Она оставила длинную рукопись с наставлениями своей маленькой дочери и говорила, что муж ее не переживет ее». ³⁵

Герцен приводит в статье «Березовский» (1867) большую цитату из воспоминаний Роллан. Цитата — иллюстрация к раз-

³² Как Барнав, который «на эшафоте топнул ногой, и слышно было, как он произнес, взглянув на небо: „Так это моя награда!“» (*Карлейль Т.* Французская революция: История. С. 540).

³³ Там же. С. 538.

³⁴ Там же. С. 539.

³⁵ Там же.

думью Герцена о временах и деятелях революции: «... есть мгновенья в жизни народов, в которые весь нравственный быт поколеблен, все нервы подняты и жизнь человеку так мало стоит ... *своя жизнь* ... что он делается убийцей» (19, 292). Герцен, естественно, мог бы привести примеры и из книги Карлейля, но предпочел обратиться к непосредственным свидетельствам деятелей революции. И здесь ему ближе всего ясный, глубокий, чуждый натянутого морализирования взгляд выдающегося немецкого писателя, путешественника, демократа И.-Г.-А. Форстера, непредвзятого свидетеля якобинского террора: «Не все здесь идет красиво, но революция — ураган, который уносит людей и народы далеко за пределы обыденной жизни, и тут их поступки нельзя судить по законам исправительной полиции» (19, 292).

Суждения Форстера, художественные картины, «касающиеся гениальности», в книге Карлейля, поэтические страницы «Истории...» Мишле, некоторые сцены из трагедии Г. Бюхнера «Смерть Дантона», мемуары и документальные свидетельства современников урагана, рассказы старых якобинцев — вот главные источники, легшие в основу замечательного группового «портрета» «артистов-революционеров» в последней повести Герцена: «Возьмите портреты тех... Мирабо, Дантон — *felis leo*... Мара — собака, бульдог... Робеспьер — *felis catus*... барс, кошка, да какая кошка... черты, глаза, раз замеченные, остаются навеки в мозгу... Гош, Марсо... в этих лицах горит огонь, эти люди объаты страстью... они отдались, они все *тут*, у них нет дома, семьи, неба, у них нераздельная республика и отечество в опасности, у них все в общем урагане, на трибуне, на поле битвы. Дантон погиб за то, что на миг забыл с своей молодой красавицей женой, что „отечество в опасности“. Робеспьер, усталый от казней, приостановился на минуту, призадумался, пошел прогуляться в поле, за город, — и очутился без головы. Как в такой горячке не наделать чудес... Головы валяются, ряды солдат валяются... стены валяются... а небосклоны становятся все шире и шире... Одно преступление за другим, одно безумие за другим... и их никто не замечает из-за величия лиц, из-за света событий. Все диссонансы, все свирепое, кровавое, темное тонет в ярких красках всходящего солнца...» (20, 526).

5

К Дантону и Демулену Герцен относился с той особенной душевной симпатией, какую вызывают только самые дорогие друзья, настолько близкие, что даже их недостатки кажутся достоинствами, а пороки добродетелями. Предпочтение, оказываемое им сочинениям Мишле и Карлейля, в немалой степени объясняется сочувственным освещением в них деятельности этих мучеников революции. Особенно это касается Дантона, любимца Мишле и самой титанической личности в книге Карлейля. Последний

преклоняется перед кипучей энергией и выдающимся ораторским искусством Дантона, возвышая его (как и Мирабо) над всеми другими деятелями революции: «Президент Дантон все величественнее и могущественнее в своей секции кордельеров, его риторические образы „колоссальны“. Энергия сверкает из-под его черных бровей, грозит из всей его атлетической фигуры, раскатывается в звуках его громового голоса, под сводами потолка». ³⁶

Знаменитый разговор Дантона с Робеспьером («Справедливо, — сказал Дантон, скрывая сильное негодование, — обуздывать роялистов, но карать мы должны только тогда, когда этого требует польза республики, и не должны смешивать невинного с виновным». — «А кто сказал вам, — возразил Робеспьер с ядовитым взглядом, — что погиб хотя один невинный?» — «Quoi, — сказал Дантон, круто повернувшись к своему другу Пари, прозвавшему себя Фабрицием, присяжному в революционном трибунале, — quoi, ни одного невинного не погибло? Что ты скажешь на это, Фабриций!», ³⁷ гордый ответ друзьям, советовавшим эмигрировать («Куда бежать? — отвечал он. — Если свободная Франция изгоняет меня, где же найдется для меня другое убежище? Нельзя унести с собою свою родину на подошвах сапог»), его раскаяние в тюрьме в том, что именно он некогда предложил учредить революционный трибунал, и предсказание близкой смерти Робеспьеру («Робеспьер последует за мною; я увлекаю Робеспьера»), последняя громовая речь — все это изображено Карлейлем ярко, броско, поистине при «вспышках молний». Смерть Дантона в «Истории. . .» Карлейля — апофеоз, высшее проявление личности: «Дантон гордо держался на колеснице смерти. Не то Камилл (. . .) Камилл борется и вырывается; движением плеч он сбрасывает с себя камзол. (. . .) „Успокойся, мой друг, — говорит ему Дантон, — не обращай внимания на эту подлую чернь (laissez-là cette ville canaille)“. У подножья эшафота слышали, как Дантон произнес: „О, моя жена, моя дорогая возлюбленная, я никогда не увижу тебя больше!“. Но он прервал себя словами: „Дантон, мужайся!“. Он сказал Геро-Сешалю, подошедшему обнять его: „Наши головы встретятся там“, в мешке палача. Его последние слова были обращены к самому палачу Самсону: „Ты покажешь мою голову народу; она стоит этого“.

Так, подобно гигантской массе доблести, тщеславия, ярости, страстей, дикой революционной силы и мужества, отходит этот Дантон в неведомый мир. (. . .) Не пустой формалист, обманывающий себя и других, чуждый естественному чувству, был он,

³⁶ Там же. С. 210.

³⁷ Там же. С. 569. Этот диалог приводит в своей пьесе и Г. Бюхнер. Хорошо запомнил его и Герцен, писавший в статье «„Pas de rêveries!“, ведущее к faux pas!» (1859): «Дантон в последнее свидание с Робеспьером требовал ограничения революционного суда, говоря, что правый и виноватый его трепещут. . . Робеспьер перебил его словами: „Разве когь один правый был обвинен?“. Дантон раскрыл рот, этого он никак не ожидал!» (14, 201).

а настоящий человек, со всеми своими недостатками; человек пылко-реальный, словно вышедший из великого огненного чрева самой природы. Он спас Францию от герцога Брауншвейгского; он шел прямо своей крутой дорогой туда, куда она вела его, и будет жить в памяти людей в продолжение многих поколений». ³⁸

Предпочтения и симпатии Герцена постоянны, имеют эстетическую, психологическую (импонируют ему широта натуры, «гедонизм», страстность Дантона; напротив, аскетичный, прямолинейный, суховатый и догматичный Робеспьер скорее раздражает) подпочву. В творчестве Герцена размыты границы между наукой и поэзией, общим и личным, историей и художественной литературой. Естественно, что в одном историко-литературном ряду особенно почитаемых им книг о великой революции оказались не только сочинения Карлейля, Мишле, Кине, Форстера, но и драма Г. Бюхнера «Смерть Дантона», которую Герцен упомянул в статье «(Шарлотта Корде)», написанной под впечатлением премьеры пьесы Ф. Понсара: ³⁹ «Мы оставляем все подробности для второй

³⁸ Карлейль Т. Французская революция: История. С. 572.

³⁹ В этой статье Герцен сочувственно отозвался о «благородстве и беспристрастии» Понсара, объективной трактовке предмета и объяснил, какой смысл он вкладывает в эти понятия — неперменные условия художественного творчества: «Заметьте, что вся необъятность гения Шекспира заключена в его натуре Протея: Шекспир не рассказывает, не обвиняет; он не распределяет Монтионовских премий, но сам является Шейлоком, Яго; он одновременно и Фальстаф и Гамлет. Поэт вовсе не судебный следователь, не королевский прокурор; он не обвиняет, он не обличает, особенно — в драме. Повторяем, поэт живет жизнью своих героев; он старается понять, объяснить все, что есть человеческого даже в преступлении. Пусть поэт старается быть правдивым, а факты сами представят больше нравственных выводов, чем все сентенции и афоризмы. Надо питать некоторое доверие к человеческой природе и к нашему уму» (6, 245).

Объективной и беспристрастной Герцен считал в пьесе Понсара трактовку образа Марата, который не обличается, а изображен «раздражительным, болезненным, желчным, фанатичным, подозрительным великим инквизитором революции, „проклятым Лазарем, страдавшим с народом и проникшимся его ненавистью, его мстью!“» (6, 245). Гораздо менее удовлетворила Герцена главная героиня драмы. Герцен резко выступает против апофеоза Шарлотты Корде, политического и литературного. Полемизируя с апологетической легендой, возмечавшей убийцу Марата, он дает свое психологическое, даже «медицинское» толкование причин ненависти Корде к Марату: «Она была охвачена общей лихорадкой, воспалявшейся в ту страстную эпоху кровь всех людей, кровь Марата, как и кровь Шарлотты. Как и Карл Занд, она обрекла себя на преступление даже без такого оправдания, как девятнадцать лет и слепое повиновение. Ее превратили в „ангела убийства“, тогда как она была только мрачной фанатичкой. Ее ненависть к Марату — мономания. Почему хочет она убить его, — именно его, а не Робеспьера, более опасного для ее друзей, жирондистов? Мономания может возбуждать интерес лишь с точки зрения патологической» (6, 245—246). Недоволен Герцен и тем, что Корде уделено так непропорционально много внимания: «Незначительность подлинного интереса, возбуждаемого личностью Шарлотты Корде, оказала сильное воздействие на пьесу. Убийца вполне может стать героем трагедии, но он должен быть при этом и еще *чем-нибудь*. (. . .) Автор создал Шарлотту, такую Шарлотту, которая много говорит, и говорит, как книга» (6, 245—246).

Мнение Герцена, кстати, прямо противоположно сентенциозно-морализаторскому и пристрастному освещению Корде и Марата Карлейлем, у которого они изображены как два полюса (добро и зло, красота и безобразие): «Таким образом,

статьи. Говоря о пьесе г. Понсара, мы познакомим наших читателей с трагедией, исполненной великих красот, которая появилась пять или шесть лет тому назад в Германии; она озаглавлена „Dantons Tod“ и совершенно неизвестна во Франции. Автор, молодой поэт Бюхнер, умер через несколько месяцев после того, как написал поэму» (6, 246).

К величайшему сожалению, Герцен второй статьи не написал (вряд ли она утеряна). Ни в произведениях, ни в письмах Герцена ни разу более не встречается упоминание о Бюхнере и его «трагедии» («поэме»), «исполненной великих красот». Неизвестно, был ли знаком Герцен с другими произведениями Бюхнера и его письмами, хотя это и очень вероятно, если учесть неизменно высокий интерес Герцена к немецкой литературе и его интенсивные связи с представителями немецких революционных, демократических, литературных и философских кругов.

Но отзыв Герцена о драме Бюхнера, конечно, не был случайным. Логично предположить, что на Герцена произвели сильное впечатление выразительные образы Дантона, Демулена, Эросешаля и народные сцены, отличающиеся грубоватой, жесткой отчетливостью рисунка, смутившей не только рядовых читателей и филистерско-бюргерскую цензуру, но даже друзей и единомышленников Бюхнера. Драматург, отстаивая свое право художника на правдивое, без смягчения тонов изображение событий и людей революции, опирается, подобно Герцену, на авторитеты Шекспира и Гете, которые не считались с узкими, пуританскими представлениями о благопристойности. Размышления Бюхнера отчасти созвучны предостережениям и рекомендациям Герцена: «...вызывая в памяти эти героические и мрачные времена, не пользуйтесь, чтобы судить о них, маленьким кодексом будничной морали, совершенно недостаточным для этих катаклизмов, очищающих воздух во время грозы, созидающих среди развали. По-

прекраснейшее (Корде. — В. Т.) и презреннейшее (Марат. — В. Т.) столкнулись и уничтожили друг друга» (*Карлейль Т.* Французская революция: История. С. 512). Карлейль воспевает «ангела смерти»: «Не явилась ли, подобно звезде, эта молодая, прекрасная Шарлотта из своего тихого уединения, прекрасная жестокой, полуангельской, полудемонической красотой, чтобы блеснуть на мгновенье и мгновенно погаснуть; чтобы остановить в памяти людей на долгие века свою светлую цельную личность?» (Там же. С. 508).

Герцену отчетливо видны недостатки драмы Понсара: отсутствие «подлинно драматического действия», риторичность, длинноты, неестественность ряда сцен. Но, в глазах Герцена, все это в значительной степени искупалось тем, что драматург отнесся к своему делу добросовестно, непредвзято, «пренебрег слишком легким средством воздействия на глубину при помощи намеков», «не захотел исказить прошлое и совершать надругательство над мертвыми, пользуясь ими как масками для решения современных вопросов» (6, 244). Сама драма и реакция публики на ее премьеру показались Герцену положительными, симптоматичными, обозначившими начало перемены в настроениях общества, которое было отброшено далеко назад в прошлое июньскими днями. Воспользовался Герцен и удобным поводом, введя в рецензию очерк колоссальной всемирной эпопеи, неистовой борьбы титанов, страшной и одновременно справедливой — закаляющей и возвышающей душу.

добные эпохи не следуют предписаниям какой-либо морали — они сами предписывают новую мораль» (6, 244).

Бюхнер как раз решительно восстает против «кодекса будничной морали», следовать которому в изображении столь чрезвычайных событий нецеломудренно, нетактично. В письме к родным драматург просил «помнить и учитывать при оценке, что (. . .) должен был соблюдать историческую истину и показать деятелей революции такими, какими они были: со всей кровью, распутством, энергией и цинизмом. Я рассматривал свою драму как историческое полотно, которое должно точно соответствовать оригиналу. . .». ⁴⁰ Возмущенный купюрами, «отвратительнейшими» опечатками, исказившими смысл, «пошлым подзаголовком» («Драматические сцены из эпохи террора во Франции») Бюхнер темпераментно изложил свое эстетическое кредо, по-своему хорошо объясняющее, что именно привлекло Герцена в его «поэме»: «Что же касается так называемой безнравственности моей книги, то тут я могу ответить: драматург, с моей точки зрения, не что иное, как историк, но превосходит последнего, так как воссоздает для нас историю, непосредственно переносит нас в жизнь того времени, предлагая не сухой пересказ, а характеры вместо характеристик и образы вместо описаний. Высшая задача драматурга — подойти как можно ближе к историческим событиям. Его произведение не должно быть ни нравственнее, ни безнравственнее самой истории. Господь создал историю не для чтения молодых девиц; не следует обвинять и меня в том, что моя драма тоже для этого не годится. Не могу же я сделать из Дантона и из бандитов революции идеальных героев! Если они распутничали, то и я должен был изобразить их распутниками; если они были безбожниками, то и у меня они должны были говорить как атеисты. В пьесе встречается несколько неприличных выражений: не вспомните, каким непристойным языком говорили в то время, — это же известно всему миру. Речь персонажей моей пьесы — лишь слабый отзвук действительности. Можно упрекнуть меня разве лишь в том, что я выбрал такой сюжет. Но это возражение давно опровергнуто. С этой точки зрения следовало бы осудить многие шедевры поэтического творчества. Поэт — не моралист, он задумывает и создает образы, оживляет прошедшие времена, а уж люди пусть извлекают из них уроки, как при изучении истории или наблюдении того, что окружает их в повседневной жизни. Если иначе подходить к делу, то нельзя изучать историю, потому что она рассказывает много неприличных вещей; на улицу надо выходить с завязанными глазами, а то, чего доброго, увидишь что-нибудь непристойное, остается только кричать „караул“, обвиняя бога в том, что он создал мир, где столько распутства и безобразия. Если же мне скажут, что художник должен показывать мир не таким, каков он есть, а каким он должен быть, то я отвечу, что не собираюсь вступать в соревнование с господом богом, который,

⁴⁰ Бюхнер Г. Пьесы; Проза; Письма. М., 1972. С. 293.

уж конечно, создал мир таким, как он должен быть. Что же касается так называемых идеальных поэтов, то я нахожу, что они изображают почти что сплошь марионеток с розово-голубыми носиками и деланным пафосом, а не людей из плоти и крови, чьи радости и горести вызывают сочувствие, внушают читателю восторг или отвращение. Одним словом, я за Гете и Шекспира, но не за Шиллера». ⁴¹

К. Гуцков, в большой степени ответственный за сокращения и изменения в тексте драмы, что было вызвано благими намерениями, желанием предотвратить запрет, точно назвал в некрологе Бюхнера эту операцию сильным смягчением «буйного демократизма», «духа санкюлотизма»: «Его „Дантон“ доставил мне немало хлопот, ибо вещи, которые Бюхнер там написал, выражения, которые он себе позволял, в нынешних условиях не могли быть напечатаны. Дух санкюлотизма бушевал в этой драме, „Декларация прав человека“ шествовала по ее страницам, увенчанная розами, но нагая. (. . .) Поэтическую флору книги образовывали цветы полевые и ртутные: первые рассыпала его фантазия, вторые — его дерзкая сатира. Чтобы не доставить цензору удовольствия кромсать драму, я взял эту миссию на себя и ножницами добровольной цензуры обрезал буйный демократизм этой поэзии. Тут только я почувствовал, что именно эти образы, принесенные в жертву нашим нравам и обстоятельствам, были лучшей и оригинальнейшей частью целого». ⁴²

Буйный демократизм и бушующий (даже распоясавшийся) санкюлотизм, ртутные, кроваво-порочные цветы — это, действительно, бросающаяся в глаза особенность драмы, сильно отличающая ее от других сочинений на темы революции (здесь ей близки произведения более позднего времени — роман А. Франса, драма П. Вейса). Народ в драме — неистовая стихийная сила, вышедшая из-под контроля, заполонившая улицы и площади, одержимая идеей мщениия, хрипло требующая хлеба и крови. По сути, единственная реальная сила. Голоса граждан и гражданок, солдат, трактирщиков, проституток («ртутные копи»), палачей звучат в драме грозно и мощно; многоголосый хор выражает мнение и волю народа, не идеализированного и очищенного от грязи, а подлинного, грубого, жестокого в своих требованиях. Над другими его чувствами преобладает ненависть ко всем богатым; аргументы его просты и наивны, а логика представляет длинную и прямую линию, незамысловато приводящую «врагов народа» на фонарь и гильотину: «У них и кровь-то не своя — они ее всю из нас высосали! Они нам говорили: убивайте аристократов, они хуже волков — мы аристократов перевешали. Они говорили: это король пожирает ваш хлеб — мы убрали и короля. Они говорили: вы из-за жирондистов голодаете — мы и жирондистов убрали. Потом они раздели мертвецов, а мы опять бегаем босиком и мерз-

⁴¹ Там же. С. 298—299.

⁴² Там же. С. 377—378.

нем. Но мы сдерем у них кожу с ляжек и сделаем себе из нее штаны, мы соскоблим с них весь жир и пустим себе в суп. К черту! Перебить всех, у кого нет дыр на локтях!»; «И всех, кто умеет читать и писать!»; «И всех, кто поглядывает на границу»; «Что? В платочек сморкается? На фонарь!»; «В августе и октябре кровь немножко покапала — и все, щеки у нас от этого краснее не стали. Плохо работает ваша гильотина! Нам проливной дождь подавай!». ⁴³

Анархия требует полного простора действий, объявляя отсутствие законов единственным законом. ⁴⁴ Истериически прославляется мессия, неподкупный спаситель, божий избранник: «Слушайте спасителя! Его сам господь послал избирать и судить; меч его поразит злодеев. Глаза его избирают, а руки вершат суд!». ⁴⁵ Но такое доверие народа, облеченное в ветхозаветные формы, не только не упрочивает власть Робеспьера, но и превращает его в марионеточную фигуру, игрушку в руках анархо-суеверной толпы. А в ней зреет недовольство, сознание, что бесчисленные жертвы и потоки крови реально ничего не дали народу. Гражданин Симон бросает солдатам традиционно-патриотические слова: «Вперед, граждане солдаты, отечество зовет на подвиг!». Но граждане солдаты ворчат; они по горло сыты революционной риторикой: «Лучше бы отечество на обед нас позвало! Сколько дырок в людских головах понаделали, а в собственных штанах не заделали ни одной». ⁴⁶ В этой неотразимой скептической реплике предвестие конца якобинской диктатуры, как и в криках женщин: «Гильотина муки не намелет!», «Самсон не годится в пекари!», «Мы хотим хлеба!». ⁴⁷

Робеспьер не годится в мессии и спасители, равно как и Самсон в пекари. Дантон и его друзья, казненные во имя торжества добродетели, лишь ускорят падение Неподкупного. Бюхнер, впрочем, не возлагает все бремя ответственности за эти казни на Робеспьера: тот не в силах управлять стихийным потоком, а народу, в сущности, безразлично, в какой последовательности «они» попадут на эшафот. Симпатии к Дантону быстро и легко заглушаются демагогичной речью: «У Дантона роскошные наряды, у Дантона роскошный дом, у Дантона красавица жена, он купается в бургундском, ест дичь с серебряных тарелок и спит с вашими женами и дочерьми, когда напьется. . . Дантон был такая же голытьба, как и вы. Откуда у него все взялось? Король подарил — чтобы он спас его корону. Герцог Орлеанский подарил — чтобы он украл для него корону. Интервенты подарили — чтобы он всех на предал. . . А что есть у Робеспьера? У добродетельного Робеспь-

⁴³ Там же. С. 78—81.

⁴⁴ «Так вот мы и есть народ, и мы хотим, чтобы не было никакого закона. А что это значит? Значит это — наша воля и есть закон; значит, именем закона нет больше никакого закона, значит — перебить их!» (Там же. С. 81).

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Там же. С. 112.

⁴⁷ Там же. С. 136.

ера! Вы же все его знаете?». ⁴⁸ Как раз такие грубые, примитивные аргументы действены; толпа прославляет добродетельного, неподкупного Робеспьера и требует смерти порочному «предателю» Дантону. Однако характерно, что единодушия в толпе нет; ее можно лишь на миг увлечь эфемерными обещаниями, которым она вряд ли в душе верит. Дантон Бюхнера знает цену капризным и переменчивым настроениям толпы, легко переходящей от любви к ненависти, от жестоких порывов к смирению, обожествлению хозяев и палачей: «Народ ведь как ребенок. Ему нужно все разбить, чтобы посмотреть, что там внутри». ⁴⁹

Создавая образ Дантона, Бюхнер стремился к исторической точности, часто почти без купюр и изменений воспроизводя его подлинные слова, хотя порой и отступая от истины (к примеру, он вкладывает в уста героя знаменитую фразу жирондиста Вернье: «Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей» ⁵⁰). Одновременно Дантон выступает и alter ego драматурга — героическим пессимистом и скептиком, познавшим «дьявольский фатализм истории». Дантон почти дословно «цитирует» письмо Бюхнера к невесте: «Надобно! Вот и у нас было это „надобно“! Кто осмелится проклясть руку, на которую уже пало проклятие этого долга? А кто сказал это „надобно“! — кто? Что это такое в нас прелюбодействует, убивает, крадет и лжет?

Марионетки. . . Марионетки, подвешенные на веревках неведомых сил. . . Нигде, ни в чем мы не бываем самими собой! Мечи, которыми рубятся призраки, — только рук не видно, как в сказках. . .». ⁵¹

Бюхнер отнюдь не прямолинейно, а, напротив, искусно «передает» свои личные, выстраданные мысли Дантону: того мучат воспоминания о сентябрьских днях, выливающиеся в покаянную исповедь, философскую медитацию. Дантон в драме — «мертвая реликвия» революции. Он добровольно избрал эту участь. Энтузиазм угас, вера оставила, скептицизм и усталость почти всецело овладели героем 10 августа и сентябрьских дней, спасителем Республики, ее признанным вождем и первым оратором. Утешение и развлечение Дантон находит в обществе женщин и друзей, предаваясь неге и пороку, презрительно отзываясь о добродетельно-целомудренном Робеспьере и не желая действовать во имя

⁴⁸ Там же. С. 137.

⁴⁹ Там же. С. 93.

⁵⁰ Герцен цитирует изречение Вернье в книге «С того берега».

⁵¹ Ср. с письмом — прологом к драме: «Я изучил историю революции и совершенно раздавлен дьявольским фатализмом истории. В человеческой природе я обнаружил ужасающую одинаковость, в человеческих судьбах — неотвратимость, перед которой ничтожно все и вся. Отдельная личность — лишь пена на волне, величие — чистый случай, господство гения — кукольный театр, смешна попытка бороться с железным законом; единственное, что в наших силах, — это казнить его; овладеть им невозможно. Теперь я не такой глупец, чтобы преклоняться перед парадными рысачами истории, перед ее столпами и остолопами. (. . .) Что это такое в нас лжет, убивает, крадет? Мне страшно думать дальше» (Бюхнер *Г. Пьесы; Проза; Письма*. С. 274).

личного спасения: «Жизнь надоела мне, и пусть ее забирают. Я жажду избавиться от нее»; «Смерть — только более простая, а жизнь — более сложная, более организованная форма гниения — вот и вся разница. И беда, что к этому способу гниения я привык; дьявол знает, привыкну ли я к другому»; «. . . уж лучше пусть меня гильотинируют, чем я сам буду рубить головы. Я сыт по горло»; «Все это шарлатанство мне надоело. Я сумею умереть достойно; это легче, чем жить». ⁵²

Таков рефлектирующий, гамлетизированный Дантон драмы, как бы перенесенный в 1830-е гг. Германии, мыслящий категориями «фаталистического» романтика Бюхнера. Герцен, конечно, не мог не видеть одностороннего освещения Дантона в драме Бюхнера. Он предпочитал героический образ титана революции, созданный «великими историками» Мишле и Карлейлем. Еще очевиднее субъективное изображение Бюхнером Сен-Жюста, непреклонного и сурового якобинца, речи которого уподоблены смертным приговорам: «Иди, иди, Сен-Жюст. Закатывай свои периоды, в которых каждая запятая — удар мечом, а каждая точка — отрубленная голова». ⁵³ Сен-Жюст Бюхнера — истинный вдохновитель расправы над Дантоном и его друзьями. Он буквально подталкивает слабого и колеблющегося Робеспьера, цинично обещая ему подготовить чудовищную «амальгаму»: «Уж даю тебе слово — я устрою славную трапезу: спекулянтов на закуску и иностранцев на десерт». ⁵⁴ Сознательно пренебрегая историческими и психологическими обстоятельствами, Бюхнер сочиняет речь Сен-Жюста, в которой пародирует гегелевскую идею поступательного развития природы и духа, трансформированную как философское оправдание террора всеобщим «железным законом»: «Нам предстоит сделать еще несколько логических выводов из этого принципа; неужели лишняя сотня трупов должна нас остановить? . . . (< . . . >) Революция подобна дочерям Пелия: она разубаивает человечество на куски, чтобы омолодить его. Из этого кровавого котла человечество, как земля из пучины потока, восстанет во всей своей первозданной мощи». ⁵⁵

Сомнительно, чтобы Герцена удовлетворила такая трактовка личности Сен-Жюста, которого он называл великомучеником революции, восхищаясь его силой духа, неуклонной последовательностью, страстной верой в великие идеалы. Другое дело Робеспьер Бюхнера, который судорожно цепляется за привычные формулы, без энтузиазма, почти механически им повторяемые («Оружие республики — террор, опора республики — добродетель. Без добродетели террор аморален, без террора добродетель беспомощна. Террор — это практическое осуществление принципа добродетели. Террор есть не что иное, как строгая и непреклонная справедли-

⁵² Там же. С. 125, 134, 101, 107.

⁵³ Там же. С. 131.

⁵⁴ Там же. С. 98.

⁵⁵ Там же. С. 117.

вость»),⁵⁶ и с грустью сознает, что уже почти никого из старых друзей нет рядом: «Мой Камилл! . . . Все от меня уходит. . . Вокруг пустыня. Я совсем один».⁵⁷ Это было отчасти близко раздумьям Герцена, пытавшегося решить мучившую его загадку, каким образом могли сочетаться в душе «резателей» 1790-х гг. стойкая преданность благородным идеям и принципам со скорыми и безжалостными приговорами друзьям и соратникам. Он, подобно Карлейлю, пытался проникнуть в мысли Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, понять психологическую подоплеку их поведения.

Герцена мало удовлетворили исторические и художественные предположения, объяснения, выводы, гипотезы. Большую ценность для него представляли мемуары, живые рассказы участников революции. И особенно то, чему он сам был свидетелем в настоящем, вдруг, необыкновенными чертами освещавшем загадки прошлого. Очень в этом смысле интересно признание Герцена в примечании к истории Э. Бартеlemi («Былое и думы»): «Какой комментарий дал мне этот человек к ужасам 93 и 94 года, к сентябрьским дням, к той ненависти, с которой ближайшие партии уничтожали друг друга! В нем я наглазно видел, как человек может соединять желание крови с гуманностью в других отношениях, даже с нежностью, и как человек может быть правым перед совестью, посылая, как Сен-Жюст, десятки людей на гильотину» (11, 78—79).⁵⁸

Было бы вообще наивно полагать, что драма Бюхнера сколько-либо значительно повлияла на давно уже сложившиеся представления Герцена о первой французской революции и ее деятелях. С другой стороны, вряд ли он обнаружил бы «великие красоты» в драме, содержание которой противоречило его мнениям. Разумеется, Герцен в полной мере оценил художественную яркость и смелость драмы, драматургическое искусство Бюхнера (пьеса Понсара довольно заурядна, она хороша лишь тем, что беспристрастна, не памфлетна). Важно и то, что статья «Шарлотта Корде» создавалась в разгар духовного кризиса Герцена, когда он сам писал о «демоническом начале истории», которое вдоволь «нахохоталось» в течение полувека над Руссо и его революционными учениками. Драма Бюхнера оказалась созвучной горьким, неутешительным размышлениям «европейского Сизифа».

⁵⁶ Там же. С. 85.

⁵⁷ Там же. С. 115—116.

⁵⁸ Приглядывался Герцен и к другим современникам. С юмором он писал московским друзьям о Ж. Боке: «Боке едет на всех парусах на галеры или в министры. (. . .) Я его просил на всякий случай заготовить мне свидетельство, что я уже расстрелян. Он меня обнадежил пресерьезно, что будут списки и что он, когда нужно, скажет . . . премилейший, я на нем изучаю всех этих сильных резателей 93 года. Боке сентиментален и свиреп, он готов расплакаться, как девочка, и холодно наделать зверства. Это французская черта. На днях я чуть с ним не поссорился до драки, уверяя его, что когда они одолеют, то еще хуже будет и что я тотчас уеду» (23, 114).

Отразилась драма «Смерть Дантона» и непосредственно в творчестве Герцена. Бюхнер создает поэтический образ Люсиль Демулен. Героиня драмы художественно сопоставлена с Офелией: безумный и вещий бред — песни, которые Люсиль поет под тюремными окнами. Герцен назвал Люсиль Демулен «Офелией революции», воспользовавшись поэтической фантазией Бюхнера.⁵⁹

6

Размышляя в статье «〈Шарлотта Корде〉» о протеизме Шекспира и *объективном* искусстве, Герцен отталкивался не только от драм Понсара и Бюхнера, но опирался и на собственный художественный опыт, на сложившуюся систему эстетических принципов, самым последовательным и блестящим образом воплощенных в историко-исповедальной книге «Былое и думы» и первоначально — в главных чертах, эскизно — в ранних художественных произведениях, начиная с рассказа «Первая встреча» («Германский путешественник»), который он, значительно переработав, ввел в автобиографическую повесть «Записки одного молодого человека».

Примечательно, что создавался рассказ синхронно с трудом Карлейля и драмой Бюхнера, в 30-е гг. XIX в. Для Карлейля, как и для Бюхнера, обращение к Великой французской революции диктовалось острой внутренней необходимостью. Это этапные произведения, в которых необыкновенно сильно выражено своеобразное исповедальное начало, *credo*, философия истории Карлейля и Бюхнера. Со своей стороны, Герцен придавал большое значение рассказу «Первая встреча», называя его своей «лучшей статьей», ставя гораздо выше других своих ранних беллетристических и публицистических произведений: «В нем выразился первый взгляд опыта и несчастья, — взгляд, обращенный на наш век, эта статья, как заметил Сазонов, невольно заставляет мечтать о будущем, и тише, тише. . . вдруг прерывается, показывая издали пророчество, — но оставляя полную волю понимать его» (21, 274).

Пожалуй, еще в большей степени это взгляд, обращенный на прошедший век: историческая, диалогизированная новелла, в центре которой сюжет «Гете и Великая французская революция». События и люди «исполинской революции» изображены бегло, но яркими, отчетливо очерченными штрихами. Главная же тема

⁵⁹ Поэтичен облик красавицы Люсиль Демулен и в «Истории. . .» Карлейля: «Молодая прелестная жена Камилла, обогатившая его не одними деньгами, бродит день и ночь вокруг Люксембурга, подобно беспокойному духу. Еще сохранились тайные письма к ней Камилла, покрытые следами его слез» (*Карлейль Т. Французская революция: История. С. 570*). Вскоре Люсиль проявит поразительную высоту духа, ободряя перед казнью робкую вдову Эбера, — атенста Эбера, яростным противником которого был Камилл Демулен. Теперь последовали за врагами на эшафот в одной «амальгаме» вдовы врагов.

задана выразительным эпиграфом — словами из пьесы Гете «Мятежные», получающими далее сложное и ироническое развитие: «Я не могу судить, что хорошо и что плохо в том, что делает французская революция. Я знаю только, что благодаря ей у меня этой зимой на несколько пар чулок меньше».⁶⁰

Герой-рассказчик — человек отнюдь не крайних взглядов, не якобинец и не карбонарий. Он придерживается широких и независимых мнений. Ему вняты и страстная ненависть «бешеного вандейца» Ларош-Жаклена, и мужественное поведение роялиста Малерба, отказавшегося от защиты и гильотинированного вместе с дочерью и зятем; разумеется, он не сочувствует их идеям, однако для него «они — герои, в них нет мистификации» (1, 118). Он объективный, непредвзятый свидетель, рассказывающий о наиболее примечательных и значительных встречах, начиная с той поры, когда его вдруг из «тихого и смиренного города» Франкфурта переместили в предреволюционный бурлящий Париж, — зрелище, потрясшее и захватившее шестнадцатилетнего юношу: «Это переселение сделало во мне чрезвычайный переворот».⁶¹

Полагая, что слушатели хорошо знакомы с событиями революции, «германский путешественник» лапидарно передает лишь свое общее впечатление, не вдаваясь в подробности («Что тогда было в Париже — вы знаете. Родственник, у которого мы жили, был главою какого-то клуба, которого члены беспрестанно толклись у него в доме, с яростными взглядами, с напудренными париками на голове и с ужасными речами в устах. Я с трепетом и недоумением смотрел, как они попирают ногами все святое, все прошедшее и как низвергают здание, под крышей которого живут», — 1, 110). Он умеет, когда это необходимо, точно, образно, всего лишь несколькими предложениями, охарактеризовать суть происходящего: «Брауншвейгский между тем издал свой смешной манифест, на который ему отвечали еще более смешным. Выживший из лет старик бранился с дерзким мальчишкой» (1, 110).

Разумеется, Герцен ввел в рассказ своего «личного друга» Анахарсиса Клоотса, к которому, как к «германцу», обратился с просьбой помочь с выездом из Франции отец юноши. Клоотс оказался совсем «не настоящим немцем». Сложилась комическая ситуация: соотечественник стал с энтузиазмом обращать юношу в революционную веру, посулил познакомить с Эбером («великим

⁶⁰ Эпиграф не мелочь: сразу расставлены акценты, определено авторское отношение к событиям и лицам. Взята именно такая цитата из Гете, а не другая, — хотя бы, скажем, та, которая вынесена в эпиграф к повести «Спектакль в честь господина первого министра» Н. Шмелева («Падение тронов и царств меня не трогает; сожженный крестьянский двор — вот истинная трагедия») и предполагает иной поворот темы «Гете и революция», близкий к ряду суждений Герцена и анти-тезе «Руссо — Гете» в книге «С того берега».

⁶¹ Существенно и то, что он лишен национальных предпочтений и предрассудков («не настоящий немец»). Его рассказ сильно контрастирует с сочинениями немецких беженцев, монотонными, ничтожными, однотипными, сделанными как бы под копирку, вроде «Путевых приключений беглеца из столицы французов во время великого переворота. Года 1792 от Р. Х.».

человеком») и добродушно пригрозил сообщить о его постыдном намерении эмигрировать: «Напрасно просил я безумного Клооца — он и слушать не хотел, говорил, что один враг рода человеческого может теперь думать об отъезде, что кто едет, тот агент Питта и Кобурга, ставил себя в пример и, гордо показывая засаленное платье свое, прибавлял: „Ты знаешь, как я был богат, — все отдал человечеству и все для него пожертвую. . . а ты хочешь бежать; стыдись; взгляни хоть на Сен-Жюста, — он не старше тебя, а как пламенно принимается он работать pour la république une et indivisible, pour l'émancipation du genre humain; он будет великий филантроп. . . Впрочем, ежели хочешь ехать, я первый выдам тебя, надобно очистить род человеческий от слабых. . .“. И все это говорил он не шутя и с полным убеждением» (1, 110—111).

Юноша не без страха внимают удивительному компатриоту, совсем не горя желанием познакомиться с «великим» Эбером. Не вдохновляет его и пример «великого филантропа» Сен-Жюста, о юности которого с восторгом и назиданием говорит борец «pour l'émancipation du genre humain». ⁶² Не следует, впрочем, забывать, что рассказывает умудренный жизнью человек, давно остывший, восстанавливающий прошлое — время, когда он не только трепетал, но и «как юноша восхищался их огненною деятельностью» (1, 466), заразившись санкюлотским духом и привыкнув к «jargon révolutionnaire». Глазами парижанина, впитавшего воздух свободы, юноша с недоумением, презрительно разглядывает солдат-интервентов — фантастический переход из нового, юного мира в старый, застывший в рабьем молчании, призрачный, закоряченный: «Я до того отвык от их физиогномии, до того привык к живым, одушевленным французам, что смотрел с некоторым удивлением на длинные, растянутые, неуклюжие лица австрийцев с их свинцовыми глазами, с их усами светлее щек и с их мундирами светлее усов. <...> Прибавьте, что они стояли по колена в грязи, оттого что не хотели переступить за лужу; что ни один мускул не

⁶² Французская революция — заря освобождающегося человечества. Деятели ее — молодые люди; юность нового мира, со свойственными ей романтическими порывами, идеализмом, горячностью, нетерпимостью, не растроченной в мелочах жизни силой. Титаны революции, Наполеон были именно деятелями, а не рефлектерами и теоретиками. «Человек жизни идет до конца, — размышлял Герцен, весьма озабоченный в дневниках 1840-х гг. проблемой «одействования», — до последних следствий. Человек рефлексии и теорий не идет дальше грани, поставленной им самим, и тут всегда, при благороднейшем стремлении, при безусловной чистоте, при таланте, он тормозит ход происшествий, а так как гора крута, его расширяет, как Жиронду. Ни Робеспьер, ни Наполеон не могли иметь предварительно определенного плана действий; они были живые органы, отдавшиеся событиям, участникам и развивателям их, и, наоборот, развивались сами» (2, 297). Юность придавала их деятельности неповторимый мощный характер, совершенно особенную «электрическую» силу: «Во Франции была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти С.-Жюсты и Гоши, Марсо и Демуланы, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми; ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих тридцати пяти лет» (8, 151).

двигался на их лице; что их рты были полуоткрыты; что это все дурно сделанные и облитые грязью статуи Командора из „Дон-Жуана“» (1, 111).

Описание армии интервентов глазами офранцузившегося «германца», привыкшего к якобинской свободе речей и движений, выразительно передает состояние Европы в критическую минуту столкновения двух миров.

Такова необходимая прелюдия к рассказу о встречах с Гете, участником кампании 1792 г. Гете эффектно выделен: особенная величественная стать, олимпийство во всем. От него веет холодом, властью; впечатление неприятное, давящее, гнетущее. И неотразимое, почти гипнотизирующее: «Величие и сила в правильных чертах лица, в возвышенном челе. Всякий человек, однажды взглянув на него, видел, что он ему не товарищ, — так подавляла, угнетала его наружность; его взор не протягивал вам руку на дружбу, но заставлял вас быть вассалом его, прощал вам вашу ничтожность. (...) Везде, где он проходил, вставали, кланялись, признавали его власть. Он принимал знаки уважения, как законную дань, то есть с той деликатностью, которая еще выше подымает его и еще ниже роняет их» (1, 112—113). Голова Зевса-громовержца, но принадлежащая не древнегреческому богу, а германскому олимпийцу («Все манеры показывали светского человека и аристократа, но печать германизма ясно обнаруживалась в особых приемах, которые мы называем *steif*» — 1, 113), «страшный взгляд» (рассказчику показалось, что тот его «придавил ногою»).

Впечатление неблагоприятное, но в самом точном смысле непредвзятое: у рассказчика даже в мыслях нет, что этот надменный и властный человек, столь пренебрежительно и поверхностно отзывающийся о революции, исполненный вражды к «неофранкам», и есть великий Гете, автор «Фауста», «Вертера», «Геца». В рассказе великого Гете нет, присутствует только Гете — адвокат старого мира и враг революции. Непосредственные впечатления «путешественника» во многом конструкция: в основе их некоторые произведения и письма Гете, воспоминания о нем современников, записи разговоров, сделанных И.-П. Эккерманом. Весь этот материал тщательно и избирательно подобран, ироническим образом развернут и «прокомментирован».

Натяжек и вымысла в рассказе нет. Он точен, базируется на реальных фактах, ясно говорящих о неприятии Гете революции. Современный биограф Гете, оценивая «безграничные усилия» писателя «поэтически овладеть, в его причинах и следствиях, этим ужаснейшим из всех событий», приходит, проанализировав целый ряд произведений, эпистолярных и устных высказываний Гете («Кампания во Франции», «Осада Майнца», «Анналы», «Разговоры немецких беженцев», так называемые «революционные драмы», завершённые или брошенные, «Герман и Доротея», книга Эккермана «Разговоры с Гете в последние годы его жизни» и др.), к выводу, пожалуй несколько преувеличенному, но в основном

верному: «Все замеченное и обобщенное им не было увидено достаточно пронизательным глазом». ⁶³

В рассказе Герцена неприятие Гете революции серьезно, обстоятельно исследуется и осуждается. Приводится разговор, в котором участвуют Гете, рассказчик, «герцогов сын» (все, что приносит Гете, говорится с оглядкой на его благосклонную реакцию) и седой полковник (тип немецкого военного, собирательный образ, что и подчеркивается: «в нем было немного Циттена и немного Блюхера» — 1, 114), откровенный и прямолинейный. Спорят, собственно, Гете и полковник, чьи мнения разделяет рассказчик. Сюжет спора навеян мотивами воспоминаний Гете «Кампания во Франци». Гете повествует там, как он рассказал «если не для увеселения, то для необходимой разрядки» высшим офицерам герцога Веймарского, приунывшим от неудач, «один из самых захватывающих эпизодов из жизнеописания святого Людовика». Кульминация эпизода — шуточные слова графа Суассона рыцарю Жуанвилу: «Сенешаль, пусть лают и скалят зубы эти собаки. Клянусь престолом всевышнего, — такова была его всегдашняя клятва, — об этом дне мы дома будем рассказывать своим дамам». «Исторический анекдот», согласно Гете, имел успех, утешил суровых военных: «Все заулыбались, мой рассказ показался им добрым предзнаменованием». ⁶⁴

Эта благостная ситуация в «Первой встрече» кардинально переосмысливается: благодарность испытывает один «герцогов сын», что же касается полковника, то последний, нимало не считаясь с авторитетом Гете, грубовато и метко возражает: «Хорошо утешенье! — сказал он глухим голосом, гордо улыбаясь и сжимая до того свою сигару, что дым пошел из двадцати мест. — Боюсь одного, что не *мы*, а *они* будут рассказывать нашим дамам об этой кампании» (1, 115). Вводя фигуру оппонента, Герцен размывает монологическую структуру книги Гете, где доминирует голос писателя, а все прочее фон и хор. Герцен, читатель весьма острый и ироничный, возможно, обратил внимание на то, что далеко не всегда отношения Гете с военными складывались так уж идиллически. Случалось Гете получать и обидный отпор. Так, старый заслуженный генерал во время парадного обеда просто прервал рассуждения штатского писателя: «Генерал хоть и очень учтиво, все же довольно решительно осадил меня: „Окажите мне великую честь, — сказал он, — посетить меня завтра утром; тогда мы с вами и поговорим обо всем дружески и вполне откровенно“». ⁶⁵ Гете не очень приятно это воспоминание — и он круто меняет сюжет, переходя к своим занятиям «теорией цветов». Аналогично и в рассказе Герцена после бесцеремонного ответа полковника Гете отступает в область науки, демонстрируя заодно равнодушие к текущему, временному, к политике: «Мир политики мне совершенно

⁶³ Конради К.-О. Гете: Жизнь и творчество. М., 1987. Т. 2. С. 20.

⁶⁴ Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1980. Т. 9. С. 294.

⁶⁵ Там же. С. 346.

чужд; мне скучно, когда я слушаю о маршах и эволюциях, о прениях и мерах государственных. Я не мог никогда без скуки читать газет; все это что-то такое преходящее, временное да и вовсе чуждое по самой сущности нам. Есть другие области, в которых я себя понимаю царем: зачем же я пойду без призыва, дюжинным резонером, вмешиваться в дела, возложенные провидением на избранных им нести тяжкое бремя управления? И что мне за дело до того, что делается в этой сфере!» (1, 312).

Слова «дюжинный резонер», прямо задевавшие полковника, последним были очень замечены. Он их вспоминает и во время второй встречи (мотив, отсутствующий в рассказе, но введенный в повесть, где вообще усилена роль полковника). Собственно, в прямом смысле второй встречи с Гете не было. Встречаются рассказчик и полковник, наблюдающие издали Гете в театре на премьере фарса писателя «Гражданин генерал» (афористичное определение произведения, отсутствующее в повести, — «маленькая насмешка над огромным явлением, которое все имело в себе, кроме смешного», — 1, 116). И на этот раз Герцен опирается на воспоминания Гете о провале пьесы («Кампания во Франции»): «Яростным свидетелем моего озлобленного юмора оказался мой „Гражданин генерал“. (...) Пьеса произвела самое дурное впечатление, даже на друзей и благожелателей. Желая спасти себя и меня, они в один голос утверждали, будто пьеса написана не мной, а каким-то незадачливым литератором, я же только чуть-чуть подправил ее и, каприза ради, подписал своим именем».⁶⁶ Герцен и показывает, почему пьеса провалилась, не доверяя словам Гете о его безразличии к мнению зрителей и критиков: «Публика не смеялась, да и, по правде, насмешка была натянута и плосковата. Гете сидел в ложе с герцогом. Я издали смотрел на него и от всей души жалел его: он понял очень хорошо равнодушие, кашель, разговоры в партере и испытывал участь журналиста, попавшего не в тон» (1, 313). Полковник жалости не испытывает, недвусмысленно обвиняя Гете в непоследовательности, лицедействе, странном «смехе» над трагическими событиями мирового масштаба: «Что же Гете тогда толковал, что политика ниже его, а теперь пустился в памфлеты? Я — дюжинный резонер и не понимаю тех людей, которые хохочут там, где народы обливаются кровью, и, открывши глаза, не видят, что совершается перед ними. А может быть, это право гения?..» (1, 313).

В том, что Гете гений, согласны все участники своеобразной дискуссии в рассказе и повести («этот великий человек, развивавший целый мир высоких идей, этот поэт, удививший весь мир», — 1, 116), но Гете — придворный поэт, Гете, то высокомерно отворачивающийся от политики, то вдруг самым несчастным образом

⁶⁶ Правоучительные сентенции помещика, выражающего мнения угнетенного событиями Гете, неприятно режут слух и сегодня: «Эпилог пьесы изобилует изречениями — из уст помещика, при чтении которых мы, дети сегодняшнего дня, лишь изумляемся, что автор не вкладывал в них иронии, а в том самом 1793 году всерьез рассматривал их как исчерпывающий ответ на поставленные временем вопросы» (Конради К.-О. Гете: Жизнь и творчество. Т. 2. С. 31).

вмешивающийся в нее поверхностным и ретроградным памфлетом, Гете — мистификатор,⁶⁷ Гете, насилующий «свой мощный гений», осуждается безжалостно. Главная причина такой оценки — неприятие им самого значительного события новой истории и мелочная борьба с ним: «Не политики — симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общею жизнью человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных, они должны на него действовать, в какой бы то форме ни было». ⁶⁸ Вот потому-то рассказчик, мыслям которого сочувствует (а во многом и разделяет их) Герцен, «готов раззнакомиться с тайным советником Гете, который пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества, непрерывно занимаясь своею биографией» (1, 120).

Такая точка зрения отвечает неприятию Герценом всех видов идолопоклонства, слепого преклонения перед великими людьми. Ему противен рутинно-почтительный тон *ex officio* жизнеописаний гениев, тщательное сокрытие и замазывание теневых явлений, «закулисных» обстоятельств. Трензинский (тот же «германский путешественник», но превратившийся в поляка, которому придано внешнее сходство с Чаадаевым) выражает мнение Герцена, одновременно полемическое и обобщенно-философское, объясняющее, почему колоссальная фигура Гете оказалась «сокращенной», пригрывающей даже в сравнении с «каким-то полковником»: «Все мечтатели увлекаются безусловно авторитетами, строят себе в голове фантастических великих людей, односторонних и, следовательно, не верных оригиналам. Лафатер, читая Гете, составил идею его лица по своей теории; через несколько времени они увиделись, и Лафатер чуть не заплакал: Гете живой нисколько не был похож на Гете a priori. (...) В том-то и дело, что все живое так хитро спяно из множества элементов, что оно почти всегда стороною или двумя ускользает от самых многообъемлющих теорий. Отсюда ряд ошибок. Когда мы говорим о римлянах, у нас все мелькает перед глазами театральная поза, цивические

⁶⁷ Признания Гете в «Анналах» (о том, как он мистифицировал Ж. де Сталь) истолковываются рассказчиком в очень широком, символическом смысле: «О уморительный документ пустоты нашего века! Вместо симпатий гения, таланта, славы этот первый мужчина своего века с этой первой женщиной встречаются в масках, обманывают друг друга; один представляет из себя мрачного поэта Тевтонии, мечтающего о высшем мире, и в душе смеется; другая представляет чувствительное сердце, плачет о политических событиях, страх жалеет о убитых, придает себе вид отчаяния — и еще более смеется в душе. И как безжалостно Гете приводит за кулисы этой комедии! Удивляюсь гению этого человека, но любить его не могу» (1, 119).

⁶⁸ Некоторые крайности, слишком пристрастные суждения «путешественника» в повесть не войдут, в частности такое: «... этой-то истинности и нет в Гете, ее нет в большей части его сочинений; он *парадирует*, он на сцене театра при свете ламп, а не на сцене жизни при свете солнца» (1, 118). В «Письмах из Франции и Италии» Герцен вновь вернется к теме «Гете и Великая французская революция», упрекнув «Протея» в непростительной глухоте: «Гете, который, по превосходному выражению Баратынского, умел слушать, как трава растет, и понимать шум волн, был туг на ухо, когда дело шло о подслушивании народной жизни, скрытной, неясной самому народу, не обличившейся официальным языком» (5, 102).

добродетели, форум. Будто жизнь римлян не имела еще множества других сторон!» (1, 314).

С мыслями Трензинского гармонирует критическое отношение Герцена («Капризы и раздумье») к книгам И.-П. Эккермана и О.-Э. Лас-Каза; ему нестерпима мысль о роли летописца при великих, роли, подавляющей личное начало, исключаящей независимое, диалогическое общение: «Не только ума недостаточно для сближения, но даже гения; я могу благоговеть перед Гете — но что бы мы с ним стали делать, если б жизнь свела нас? Не всякому дан свыше талант быть Эккерманом или Лас-Казом» (2, 101). Рассказ и есть своего рода художественная фантазия Герцена, попытавшегося представить это «если бы»: «встречи» и разговоры с Гете в эпоху Французской революции.

Герцен счел необходимым в послесловии к повести («Примечание нашедшего тетрадь») «сказать несколько слов о рассказе Трензинского относительно Гете», чтобы предотвратить возможность недоуменных толкований: «Больно было бы мне думать, что рассказ этот сочтут мелким камнем, брошенным в великого поэта, перед которым я благоговею» (1, 315). Герцен, довольно неожиданно сближая героя с Фридрихом II, разъясняет, почему Трензинский, «человек по преимуществу практический, всего менее художник», мог смотреть с такой «бедной точки зрения» на Гете: «. . . люди практической сферы редко умеют свой острый ум прилагать к суждению о художниках и о их произведениях. Фридрих II, прочитав „Геца фон Берлихингена“, сказал: „Epcoge une mauvaise tragédie dans le genre anglais!“ Гете простил ему это суждение от всей души» (1, 316).

Герцен не очень последовательно отнес Трензинского к «людям практической сферы»; такое определение больше подходит к главному оппоненту Гете — полковнику. Трензинский обладает тонким, развитым эстетическим вкусом. Он, как позднее сам Герцен в статье «〈Шарлотта Корде〉», обращается к высокому авторитету Шекспира, художественное мышление которого имеет огромные преимущества перед мышлением философским: «Живая индивидуальность — вот порог, за который цепляется ваша философия, и Шекспир, бесспорно, лучше всех философов, от Анаксагора до Гегеля, понимал *своим путем* это необъятное море противоречий, борений, добродетелей, пороков, увлечений, прекрасного и гнусного, — море, заключенное в маленьком пространстве от диафрагмы до черепа и спаянное неразрывно в живой индивидуальности. . .» (1, 314).

Дневники Герцена 1840-х гг. показывают, что ему лично близка была «бедная точка зрения» Трензинского. Герцен противопоставляет двух немецких мыслителей — Гете и Форстера. Восхищается широким взглядом Форстера, своеобразной гармонией в его поступках между мыслью и действием. Герцену явно ближе путь, избранный Форстером: «Читаю письма Форстера, знаменитого майнцского депутата при Конвенте 93 года. Удивительная натура: всесторонняя гуманность, пламенное желание практиче-

ской деятельности, энергия его резко отличают от германцев того времени. <...> Когда вспомню я, как, переламывая тяжелую скуку, я заставлял себя читать переписку Гете с Шиллером, где иногда проблескивают мысли гениальные, затерянные в филистерские и гелертерские подробности, с поглощающим интересом этих писем, становится странно. Жизнь полная выше гениальной одно-сторонности» (2, 330).

Герцена покорила именно натура Форстера, деятельная, живая, глубокая, органически чуждая духу филистерства и гелертерства, обладающая редкой способностью понимания и сочувствия: «Удивительно полная, реальная, ясно и глубоковидящая натура. <...> С 1783 года настает решительная реакция и полное развитие сил и самосознания, и тут Форстер появляется лицом великим, достигающим колоссальности в 1791, 92, 93 годах. Эпоха его переворота, от религиозных мечтаний к трезвому сознанию, бесконечно занимательна» (2, 331—332): Герцену дороги этапы духовного развития Форстера, направление этого движения: он видел здесь параллель собственному духовному и жизненному опыту, трудному процессу освобождения от идеально-романтических представлений. Вершина биографии Форстера — его политическая и литературная деятельность в эпоху революции, когда он в постижении действительности решительно оставил далеко позади своих гениальных соотечественников: «Поразительнее всего у Форстера необыкновенный такт понимания жизни и действительности; он принадлежит к тем редким практическим натурам, которые равно далеки от идеализма, как от животности. Нежнейшие движения души понятны ему, но все они отражаются в ясном, светлом взгляде. Этот ясный взгляд и симпатия ко всему человеческому, энергическому раскрыл ему тайну французской революции среди ужасов 93 года, которых он был очевидец» (2, 333).

Дневниковые записи Герцена не просто созвучны с «гетевским» сюжетом в «Первой встрече» и «Записках одного молодого человека». Они позволяют определить и меру исповедально-философской автобиографичности произведений, и неизбежность обращения Герцена к грозовой эпохе XVIII в. Это вовсе не случайные «опыты» создания произведений в историческом роде. Расставлялись философско-идеологические вехи, подводились первые итоги духовного развития, оценивалась в сопоставлении с героическим прошлым современная эпоха («остановка в грязи»), закладывался эстетический фундамент «Былого и дум».

7

Самую художественную из своих повестей «Долг прежде всего» (1847) (ее психологической глубиной, своеобразным, ярким языком, отточенностью деталей быта, тонким юмором восхищались, как уже отмечалось, Белинский и Л. Толстой) Герцен не завершил. По сути, только развернул экспозицию-хронику рода Столыгиных, в которую неотъемлемой частью вошли эпизоды

времен взятия Бастилии. Герцен, с характерным для него умением сжато воссоздавать психологический климат эпохи, мастерски описывает предреволюционный Париж: «Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкие разговоры, грозные возгласы и движения — все показывало ту лихорадочную возбужденность, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, у камней бился пульс, в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая душу на злобу и беспокойство, на охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрушений, на все, чем были полны писатели XVIII века» (6, 276).

Герцен помещает в самую гущу грозных событий «северного маркиза» Столыгина и его воспитателя господина де Дрейяка, суетного и не очень последовательного, но, бесспорно, типического пропагандиста просветительских идей в «варварских» землях: «Само собою разумеется, что наш гувернер был поклонник Во-венарга и Гелвеция, упивался Жан-Жаком, мечтал о совершенном равенстве и полном братстве, что не мешало ему ставить перед своей звучной фамилией „Дрейяк“ смягчающее „де“, на которое не имел права. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и вообще о христианстве и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения» (6, 273).

Ярко описана прогулка трусоватого и тщеславного адепта совершенного равенства и братства по Парижу 14 июля 1789 г., когда его, как «аккапариста» и «аристократа», чуть было хладнокровно и добродушно не вздернули на фонарь. Столкновение с революционной действительностью произвело решительную перемену в свободолобивых настроениях де Дрейяка, затосковавшего о тихой и сытой жизни «на варварских, но покойных берегах Невы», заставило вспомнить и о католическом боге: «„О боже мой, боже мой, пощади нас и помилуй“, — бормотал Дрейяк, изменяя закону тяготения и забывая, что Платон бога называл „великим геометром“» (6, 279).⁶⁹

В отличие от перетрусившего гувернера его способный ученик, так радовавший француза ловким цитированием мест «из „Кандида“, из „Девы Орлеанской“, из „Жака Фаталиста“» (6, 275), с большим удовольствием наслаждается бурлящей парижской жизнью, пугая «смелостью опасных мнений двух старых маркизов», и без того созревших для побега из мерзкого Вавилона в свои имения. Для него и взятие Бастилии — занятное театральное представление, замечательный сюжет для эффектного рассказа в аристократическом салоне. «Гиперборейский маркиз», внешне

⁶⁹ Случаем избежавший фонаря, Дрейяк меняет тактику и в общении со слугами, придерживающимися опасного обычая величать его «шевалье»: «Все люди, — говорил он гарсону, который вошел, чтобы вынести чайник, — равны, все люди братья и могут отличаться только гражданскими добродетелями, любовью к народу и к неотъемлемым правам человека» (6, 279).

похожий на Кауница, — типичный представитель цивилизованного, усвоившего просветительские идеи русского образованного меньшинства, умом постигшего многое, и, в сущности, зритель, посторонний наблюдатель на Западе, привилегированный турист. Тип метко схвачен аббатом: «...меня поражает его способность все понимать и ни в чем не брать участия; для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как сказание о Сезострисе. Это какой-то посторонний всему. (...) Это болезненное произведение образования, привитого к корню, не нуждавшемуся в нем» (6, 277).

Слова аббата созвучны раздумьям Герцена над характером и формами русского «европеизма». Столыгин — один из тех «неофитов цивилизации», которые «с жадностью набросились на чувственные удовольствия», но до чьих душ «не доходили торжественные звуки набата, призывавшего людей к великому возрождению» (7, 183). До других, более чутких (не только Радищев, фаланга декабристов, но и Карамзин), эти звуки «доходили», отражаясь в их словах и делах.

Герцен обратился в повести к сюжетам опасным и запретным. П. В. Анненков вспоминал: «Он начал повесть из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее и не усомнился послать рассказ в „Современник“. Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: „Г(ерцен) с ума сошел, посылая нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и забытое“. Повесть, разумеется, не попала в печать. . .».⁷⁰ Но Герцен не донкихотствовал: картины революции продолжали тему, достаточно ясно обозначенную в «Первой встрече» и «Записках одного молодого человека». Встреча с Парижем-Иерусалимом оживила воспоминания о «снах революции», определенным образом направив художественную фантазию. Естественно возник благодатный, интереснейший сюжет: русский дворянин с французским гувернером в Париже 1789 г.

Параллельно рождались и другие сюжеты из времен первой революции, конспективно, эскизно набросанные в «Письмах из Франции и Италии». Один из них навеян посещением Лиона, города, который «был театром страшного наказания в 93 г.». Герцен пунктирно восстанавливает хронику страшных дней Лиона, с симпатией очерчивая фигуру Кутона («одно из чистейших лиц великой драмы»), посланного исполнить неумолимый и жестокий приказ Комитета общественного спасения, сделавшего все, чтобы предотвратить массовые казни и расправы, но мало преуспевшего в этом по причинам, которые верно указаны Герценом: «Главный враг восставших лионцев не был ни Конвент, ни якобинцы, а лионская чернь, которую они морили с голоду, унижали, теснили в продолжение целых поколений, которой фанатического представителя (Шалье. — В. Т.) они казнили самым страшным образом» (5, 72).

⁷⁰ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 311.

Новые, поистине свирепые исполнители, да и вообще жестокая, бессмысленная резня вызывают у Герцена явно негативные эмоции, все-таки, не господствующие над рассудком и логикой, — в цепи времен мрачно-кровавым звеном выделяется новейшая история Лиона вплоть до 1831 г. с неизменным чередованием «красных» и «белых» мятежей, «красного» и «белого» терроров: «На этот раз Конвент угодил им (лионской черни. — В. Т.), он послал Карье и Фуше, — Карье, которым гнушался Комитет общественного спасения, и Фуше, которым не гнушались ни Наполеон, ни Реставрация. Все, что не успело спастись при Кутоне, пало под ударами гильотины, кровь струилась на площади Hôtel de Ville, гильотину перенесли на мост, и Рона уносила обезглавленные трупы; толпа осужденных была расстреляна en masse. Карье и Фуше смотрели из окна на эту казнь — что они думали? Кто их знает! Чернь была удовлетворена, месть ее удалась, но она не предвидела, что кровь даром не проходит, что и на улице буржуазии будет праздник, что через сорок лет она отомстит черни — и как» (5, 73).

Карье и Фуше, из окна наблюдающие резню и расстрелы, это картина из исторического рассказа или романа.⁷¹ Каррье в Лионе не был. Герцен допускает эту и другие неточности (совершенно забывает, например, главного «героя» — Колло д'Эрбуа). В самих неточностях есть, впрочем, своя логика и закономерность. Видимо, в сознании Герцена слились разные эпизоды якобинского террора, и рядом стояли зловещие, мрачные фигуры беспринципного политика Фуше, призывавшего «идти к свободе по трупам», и палача Нанта Каррье, вошедшего в историю как изобретатель «нояд», апокалиптическое описание которых дает Карлейль.⁷²

⁷¹ Вполне вероятно, что, бродя по городу, Герцен вспоминал «поразительной художественной силы» лионские картины «Истории...» Карлейля: «Революционный трибунал и военная комиссия (. . .) гильотинируют, расстреливают, делают все, что могут: в канавах площади Терро течет кровь; Рона несет обезглавленные трупы. Говорят, Колло д'Эрбуа был некогда освистан на лионской сцене: но каким свистом, каким мировым кошачьим концертом или хриплой адской трубой освистете вы его теперь, в этой новой роли представителя Конвента. — с тем, чтобы она более не повторялась? Двести девять человек перешли через реку, чтобы быть расстрелянными в массе мушкетами и пушкой на бульваре Бротто. Это уже вторая партия осужденных; первая была в семьдесят человек. Тела первых были сброшены в Рону, но Рона выбросила некоторые на берег, поэтому вторая будет погребена в земле. Общая длинная могила вырыта; осужденные стоят, выстроенные рядами, около пустого рва; самые молодые из них пьют марсельезу. Якобинская национальная гвардия дает залп, но должна снова стрелять, и еще раз; а потом встать за штыки и заступы, потому что, хотя все осужденные упали, но не все мертвы; и начинается бойня. Слишком ужасная, чтобы описывать ее. Сами национальные гвардейцы, стреляя, отворачиваются. Колло, вырвав мушкет у одного из них, прицеливается с невозмутимым видом, говоря: „Вот как должен стрелять республиканец!“» (Карлейль Т. Французская революция: История. С. 544—546).

П. А. Кропоткин пишет о лионской бойне как об одном из самых прискорбных эпизодов революции: «С грустью приходится сказать, что месть республиканцев была ужасна. Кутон, по-видимому, был склонен к политике примирения, но террористы одержали верх в Конвенте (. . .) своими казнями и расстрелами „в кучу“ Колло нанес страшный вред революции» (Кропоткин П. А. Великая французская революция. 1789—1793. С. 356—357).

⁷² «Город Нант погружен в сон, но *денюта* Каррье не спит, и рота Марата

Еще в ранних дневниках Герцен, сравнивая Петра I и деятелей Конвента и пытаясь определить свое отношение к жестокостям, крайностям, сопровождавшим революционные преобразования, приходил к выводу «... не всех актеров 93 года можно любить...» (2, 348). Среди тех «актеров», которых Герцен любил, были не только упомянутые неоднократно ранее его «личные друзья», но и Мирабо, «милые жирондисты», особенно Кондорсе («один из умнейших деятелей французской революции» — 10, 149) и Колиньи («лучший из жирондистов», с которым он сравнивал Т. Н. Грановского, — 9, 123).⁷³

Но к таким деятелям революции, как Каррье⁷⁴ и Фуше («палач Лиона» был, в глазах Герцена, человеком, который «основал

в шерстяных колпаках не спит. Зачем снимается с якоря в двенадцатом часу ночи это плоскородное судно, эта барка с сидящими в ее трюме девяносто священников? Они отправятся на Бель-Иль? Посредине Луары, по данному сигналу, дно судна раздвигается, и оно погружается в воду со всем своим грузом. „Приговор к изгнанию, — пишет Каррье, — был исполнен вертикально“. Девяносто священников с их гробом-баркой лежат на дне реки! Это первая из *Noyades*, которые мы можем назвать *потоплениями* Каррье, сделавшимися знаменитыми навеки. (. . .) Но зачем жертвовать баркой? Не проще ли сталкивать в воду со связанными руками и осыпая свинцовым градом все пространство реки, пока последний из барахтающихся не пойдет на дно. Не спящие большие города Нанта и окрестных деревень слышат стрельбу, доносящуюся ночным ветром, и удивляются, что бы это могло значить? В барке были и женщины, которых красные колпаки раздевали донага. (. . .) И маленькие дети были брошены туда, несмотря на мольбы матерей. (. . .) Потом и дневной свет становится свидетелем носяд; женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают. Это называют „республиканской свадьбой“. (. . .) Окаменевшие, не знающие больше страдания, бледные, вздутые тела жертв беспорядочно несутся к морю волнами Луары; прилив отбрасывает их обратно; тучи воронов затемняют реку; волки бродят по отмелям; Каррье пишет: „*Quel torrent révolutionnaire; какой революционный поток!*“ Человек свиреп, и время свирепо. Таковы носяды Каррье; их насчитывают двадцать пять, потому что все сделанное во мраке ночи рано или поздно выходит на свет Божий и не забывается в продолжение веков» (*Карлейль Т.* Французская революция: История. С. 547—549).

Отнюдь не склонный преувеличивать масштабы якобинского террора, которому предшествовал не менее ужасный «белый» (убийство Шаретта), Кропоткин о нантских потоплениях (вслед за Мишле) пишет как о массовом безумии, кошмаре: «Род помешательства, подобно тому, говорит Мишле, которое замечалось в городах во время чумы, овладело бедной частью населения, а комиссар Конвента Каррье, темперамент которого как раз подходил к такого рода припадкам ярости, предоставил страстям разыграться без удержу. Сперва начали топить в Луаре священников и кончили тем, что истребили более 2 тыс. человек, мужчин и женщин, сидевших в нантских тюрьмах» (*Кропоткин П. А.* Великая французская революция. 1789—1793. С. 354).

⁷³ Герцен любил сравнивать современников (и не только) с деятелями революции. Кетчер напоминал ему Марата («с тем же большим ростом, с тою же резкой чертой пренебрежения на губах и с тем же (. . .) озлобленно-печальным выражением. . .» — 8, 359—360); Белинский — Робеспьера (2, 242); консервативного «западника» Чичерина он метко назвал «Сен-Жюстом бюрократизма» (11, 300). «Неистовых патриотов» вроде Самарина Герцен окрестил «Робеспьерами монархии» (27, 498). Огареву писал, посмеиваясь над его экстремистскими настроениями, сочетающимися с редкой добротой и сердечностью: «Настоящий ты мой Робеспьер — с одной стороны грозный, с другой — пасторальный и сентиментальный. . .» (30, 145).

⁷⁴ Примечательно, что деспота и самодура Тюфяева Герцен воображал как раз в роли Каррье («был бы свирепым комиссаром Конвента в 94 году — каким-нибудь Каррье» — 8, 236).

целую теорию, систему, науку шпионства», — 10, 149), он относился с неприязнью и даже отвращением. Герцен этих «актеров» часто объединял, иногда присоединяя к ним Фукье-Тенвиля.⁷⁵

Повествуя в «Былом и думах» об увлечении Кетчера идеями и героями революции, Герцен писал: «Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде, с рефлексиями и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста — поглотили его. Отчета Кетчер и тут себе не давал. Он брал французскую революцию, как библейскую легенду; он верил в нее, он любил ее лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти; за кулисы его ничто не звало» (9, 226). Отношение Герцена к революции только в самые юные годы было таким «шиллеровским». Скоро наступило время «отчета», частых экскурсий «за кулисы». Личные «пристрастия и ненависти» у Герцена, разумеется, были; он их не скрывал, но считал неуместным слишком заострять внимание на субъективно-эмоциональной стороне дела, а нередко и сдерживал себя, переводил разговор в обобщенно-философскую и историческую плоскость.

8

К лионскому сюжету Герцен более не возвращался. В его художественные планы изображение эпизодов якобинского террора не входило. Привлекали другие события и герои. Постепенно вырисовывался и любимый исторический сюжет: Дон-Кихот революции, переживший свое время. Зерно замысла есть уже в «Письмах из Франции и Италии». Герцена поразили обстоятельства смерти в Ницце девяностошестилетнего якобинца, члена Конвента А.-Ф. Сержана (возможно, он узнал об этом из прессы или рассказов знакомых): «Сержан будировал Францию, недовольный умеренностью Конвента. Закоснелый террорист умер, сильно опечаливши иезуитов. Они хотели воспользоваться апоплексией и предсмертной слабостью, чтоб обратить его и заставить отречься от прежней жизни своей. Такое обращение на путь истины было бы очень казисто. Но Сержан так же мало испугался паралича и иезуитов, как некогда гильотины и палачей, он приподнялся и, собравши последние силы, сказал стоявшим возле его постели, что если б ему пришлось снова повторить свою жизнь, то он снова играл бы ту же роль в событиях, что совесть его покойна, — а Сержан участвовал в Сентябрьских днях!» (5, 75).

⁷⁵ Возмущенный чувством Муравьева-вешателя, Герцен писал в статье «Протест» (1863): «Тост Муравьеву — историческое событие. В пущее время разгара французской революции мы не помним, чтоб в Париже пили за Карье или Фуше, ни даже чтоб делали овации литературным помощникам Фукье-Тенвиля, журнальным *rougeoyeurs de la guillotine* — „поставщикам гильотины“» (17, 216). Характерна и формула, употребленная Герценом в статье «Ответ И. С. Аксакову» (1867): «Фукье-Тенвиля православия и народности» (19, 250).

Рассказ об упрямом яacobинце — своеобразная месть Герцена затхлой и консервативной Ницце, где даже газета «Journal des Débats» оказалась запрещенной иезуитами. Это любопытный, с удовольствием приведенный и заменивший «отчет» о Ницце факт, которому суждена была долгая, двадцатилетняя жизнь: престарелый яacobинец, окруженный армией клерикалов, великой силой духа одерживающий победу над врагами на смертном одре, остро запомнился Герцену. В «Концах и началах» (1862—1863) Дон-Кихоты революции будут помещены в самом фокусе повествования, на стыке «концов» и «начал». Тип одновременно трагический и героический. Его и предлагает Герцен современному Сервантесу.⁷⁶

Дон-Кихот революции — тип высший, идеальный, *предельный*; Монблан, возвышающийся над меркантильной, торгашеско-полицейской, равнинной Европой: «Суровый, трагический тип этот исчезает, — исчезает, как беловежский зубр, как краснокожие индейцы, и нет художника, который бы пометил его черты, старые, резкие, носящие на себе следы всех скорбей, всех печалей, идущих из *общих* начал и из веры в человечество и разум. <...> Это вершины гор, которыми заключается хребет XVIII столетия, ими он достигает своего предела и замыкается, ими обрывается ряд усилий подняться. <...> Титаны, остающиеся после борьбы, после поражения, при всех своих титанических стремлениях, представителями неудовлетворенных притязаний, делаются из великих людей печальными Дон-Кихотами. История подымается и опускается между пророками и рыцарями печального образа» (16, 150—151).

Герцен и стал тем художником, который увековечил Дон-Кихота в революции в книге «Концы и начала» и повести «Доктор. Умирующие и мертвые». В «Концах и началах» он создает величественную и торжественную поэму, вдохновенный некролог, философско-элегическое раздумье. Это «Марсельеза» Герцена, плавно переходящая в «Реквием»:

«Святые Дон-Кихоты, вам легка земля!

Эти фанатические верования в осуществимость гармонического порядка, общего блаженства, в осуществимость истины, *потому что она истина*, это отрешение от всего частного, личного, эта преданность, переживающая все испытания, все удары, — это-то и есть вершина... Гора окончена, выше, дальше — холодный воздух, мгла, ничего. Опять спускаться! Отчего нельзя продолжать. <...> Так нет — у каждого геологического катаклизма свой роман, своя поэма гор, свой хребет, свои гранитные, базальтовые личности, подавляющие своим величием низменные бассейны. Памятники планетных революций, они давно обросли лесами и мохом в свидетельство тысячелетнего застоя потом. И наши

⁷⁶ «Тот художник, который здесь всмотрится в *дедов* и *внучат*, в *отцов* и *детей* и безбоязненно, беспощадно воплотит их в черную, страшную поэму, тот будет надгробный лауреат этого мира» (16, 149).

забежавшие пионеры революции оставили в истории свои Альпы; следы их титанических усилий не прошли и долго не пройдут» (16, 153).

Толчком к поэме о «пионерах революции» послужил роман В. Гюго «Отверженные», эссе о котором Герцен органически вросил, влил в ткань своих историко-философских раздумий. Роман во многом не удовлетворил Герцена: показался громоздким, невероятно затянутым, психологически монотонным («не-нужные и чисто субъективные страдания Жан Вальжана, так утомительно подробно рассказанные в романе-омнибусе Гюго», — 16, 154). Вступая в спор с романистом, Герцен расставляет свои акценты, — так сказать, общеевропейские, а не только русские. Он подчеркивает — отчасти совпадая с Достоевским — социально-психологическую сущность неутомимого и жестокосердного сыщика Жавера, превращая героя Гюго в эмблему Франции Луи Бонапарта: «Мы слишком мало французы, чтоб понимать такие идеалы, как Жан Вальжан, и сочувствовать таким героям полиции, как Жавер. Жавер для нас просто отвратителен. Вероятно, Гюго не думал, чертя эту совершенно национальную фигуру шакала порядка, какое клеймо он выжиг на плече своей „прелестной Франции“» (16, 154). Фигура Мариуса показалась Герцену неясной. Воспользовавшись некоторыми чертами мирозерцания и характера героя, Герцен определяет место «типа» в длинном историко-философском и литературном ряду.⁷⁷

Но более всего Герцена интересует Жан Вальжан — «святой каторжник, Илья Муромец из тулонских галер. . .» (16, 154). Однако и тут Герцену многое кажется чуждым во внутреннем мире героя, натянутым, придуманным. Герцен отвергает эстетическую и психологическую чрезмерность, нарушающую целостность образа, который он, по сути, пересоздает в полемике с художником: «В Жан Вальжане нам только понятна его внешняя борьба доброго, несчастного зверя, травмированного целым обществом. Внутренняя борьба его для нас остается посторонней; этот сильный человек мышцами и волей, в сущности, чрезвычайно слабый человек <...> он исполнен суеверия. Он верует в клеймо на плече; он верует в приговор; он верует, что он отверженный человек, оттого что тридцать лет тому назад украд хлеб, да и то не для

⁷⁷ «Я не знаю, что Гюго хотел сделать с Мариусом, для меня он в своем поколении такой же тип, как Жавер в своем. В инстинктах этого молодого человека мерцают каким-то отблеском другого дня благородные и горячие порывы, без рассуждения, без корня, почти без смысла — по преданию, по примеру. В нем и закваски XVIII века больше нет — этой неутомимой потребности анализа, критики, этого грозного вызова всего на свете на провер ума; у него и ума нет, но он еще добрый товарищ, пойдет на баррикаду, не зная, что потом; он живет по готовому и, зная à code ouvert, что *добро и что зло*, так же мало беспокоится об этом, как человек, знающий достоверно, что скоромное есть грешно в пост. На этом поколении окончательно останавливается и начинает свое отступление революционная эпоха; еще поколение — и нет больше порывов, все принимает обычный порядок, личность стирается, смена экземпляров едва заметна в продолжающемся жизненном обиходе» (16, 155).

себя. Его добродетель — болезненное раскаяние; его любовь — старческая ревность» (16, 154),

Только трагедия одиночества, безответная любовь Вальжана к «детям», в глазах Герцена, представляют истинный символическо-драматический интерес. Извечен конфликт между «отцами» и «детьми», но здесь он осложнен страстностью чувства старика-юноши (гипертрофия чувства) и холодной уравновешенностью молодого поколения, «пошлеющего», шагнувшего в безыдеальную мещанскую эпоху. «Отцы» и «дети» как бы поменялись местами. Отчуждение между поколениями приблизилось к трагической черте, полному непониманию и разрыву. Так Герцен незаметно и плавно приближает роман Гюго к собственной поэме о «пионерах революции», обнаруживая некую общую точку в трагических судьбах Жана Вальжана и старых якобинцев. Эта точка — финал «Отверженных», где «натянутое существование» «святого каторжника» «поднимается до истинно трагического значения (...) от бездарной ограниченности Козеттина мужа и безграничной неблагодарности ее самой» (16, 154). Правда, это не более чем идущее до определенной черты социально-психологическое средство персонажей, сходство ситуаций, впрочем достаточное для того, чтобы от трагедии героя Гюго перейти к другой трагедии, чтобы, соединить героев, сразу же их развести: «И тут Жан Вальжан действительно граничит с нашими стариками — раскаяние одного и правота других смешиваются в жгучем страдании. Ртуть термометра, замерзшая в пулю, обжигает, как раскаленная пуля из свинца. Сознание правоты, отхватывающее полсердца, полсуществования, стбит угрызения совести, и еще хуже: тут есть искупление исповеди, вознаграждение, там — ничего» (16, 154—155).

Герцен глубоко прочувствовал художественную правду и гуманистическую мысль романа, содержание которого пропущено сквозь призму его собственных раздумий и воспоминаний. И он не может не бросить упрека «неоякобинцу» Гюго, прошедшему мимо трагедии «пионеров революции», вернее только чуть-чуть и «погранично» ее затронувшему: «Великий ритор и поэт, между скорбными существованиями французской жизни, чуть коснулся величайшей скорби в мире — старца, юного душою, окруженного больше и больше мельчающим поколением» (16, 154). Этот существенный пробел и восполняет Герцен, вспоминая встречи с «апостолами» и, конечно, стоическую смерть Сержана. А так как надежды на появление нового Сервантеса слабы, то пусть по крайней мере сохранится «фотография» «последних часовых идеала», отретушированная рукой Герцена: «Смерть давала все больше и больше знать о своем приближении; старый пожелтый взгляд становился суровее, уставал от напряжения, высматривая смену, отыскивая, кому сдать честь и место. — Сыну? Старик хмурится. — Внуку? Он махнул рукой. Буйный король Лир в демократии, куда ни обращает он угасающий взгляд свой — к при-
сным, — везде его встречает непониманье, безучастье, осуждение,

полускрытый упрек, мелкие счеты и мелкие интересы. Его якобинских слов бояться при посторонних, ему просят прощение, указывая на изредевшие седины. Его невестка мучит его примирением с церковью, и иезуитский аббат шныряет по временам, как мимо-летний ворон, посмотреть, сколько еще сил и сознания, чтоб поймать его богу в предсмертном бреде» (16, 151—152). А далее следуют сплошные восклицательные знаки, подчеркивающие неисчерпаемую глубину страдания «отцов»: «Что вынесли эти люди *последнего* прилива, оставленные отливом в тине и слякоти! Что выстрадали эти *отцы* с своими *детьми*, одинокие в своих семьях больше, чем монахи в своих кельях! Какие страшные столкновения всякого часа, всякого дня! . . . Какие минуты *у*стали и отчаяния!» (16, 153).

Герцен развертывает поэтический план романа (или трагедии) для современных Сервантеса и Шекспира. Конспективно излагает и одну главу (или акт) будущего произведения: трогательная дружба «короля Лира в демократии» и гражданина Кента («какой-нибудь темный сподвижник Сантера, солдат армии Марсо и Гоша, гражданин Спартакюс-Брютюс-жюниор, детски верный своему преданью и гордо держащий лавочку рукой, которой держал пику с фригийской шапкой», — 16, 152). Дружба скрашивает одиночество; якобинцы, вспоминая былые героические дни («старину с ее огромными надеждами, с ее великими событиями») и печальную хронику последовавших за ними отступлений, реставраций, предательств («Талиена и Барраса, Реставрацию с своими *safards*, короля-лавочника et ce traître de Lamartine»), согреваются общей верой, святым донкихотством: «Оба *знают*, что час революции пробьет, что народ проснется, как лев, и снова поднимет фригийскую шапку. . .» (16, 152).

Кульминацией главы (или акта) должна, естественно, стать сцена похорон одного из ветеранов. Герцен сопровождает своими атеистическими, скептическими и одновременно эгегическими комментариями «молитву» осиротевшего старца: «Разум и справедливость восторжествуют, разумеется, сперва во Франции, потом во всем роде человеческом; и „vive la republique, une et indivisible!“ — молится старец восьмидесятилетними губами, так, как другой старец, отдавая с миром дух свой господу, шепчет ему: „Да придет царствие твое“, — и оба спокойно закрывают глаза и не видят, что ни царство небесное, ни единая и нераздельная республика во Франции вовсе не водворяются, и не видят потому, что дух их принял с миром не господь, а разлагающееся тело» (16, 152—153).

Эта вера несмотря ни на что, вера, перед которой и смерть — фантом. Все в глазах верующего временно, тленно, преходяще: туман, скрывающий солнце, но бессильный вечно держать его в плену. Вера питает дух и, как известно, горами движет, но она слепа. Преклоняясь перед «святыми отцами» революции, Герцен корректирует «судом разума», историческим опытом, знанием их веру. У Герцена нет и не может быть «бездны упований». Блажен-

ству безумия он предпочитает «несчастье» знания, которое властно указывает, что природа безжалостна и история не имеет libretto, а представляет бесконечную импровизацию.⁷⁸ Закат жизни якобинцев совпал с безрадостной исторической импровизацией на тему «застоя и буржуазно-полицейского нового порядка» в Европе вообще и во Франции в особенности. Герцен видит всеевропейский кризис идеалов, измельчание и пустоту в общественной жизни; умирают последние якобинские «зубры», сходят со сцены последние Дон-Кихоты последних революций — Кошут, Мадзини, угасает пульс старого мира. Наступает штиль, надвигаются сумерки: «Все прежние идеалы потухли, *все до единого*, от распятия до фригийской шапки (. . .) с каждой Голгофы громче и громче раздается: „У меня нет свободы!“, „У меня нет равенства!“, „У меня нет братства!“. И обманутая надежда тухнет одна за другой, бросая догорающие лучи на печальные образы Дон-Кихотов, упорно не желающих слышать голоса с Голгофы. . . Они машут людям, чтоб те шли скорее за ними, и один за другим исчезают в мгле зимних сумерек» (16, 178—179).

Неутешительная картина, печальный итог. Но итог ли? Герцен — диалектик и осторожный прогнозист не был ни оптимистом, ни пессимистом. Печально, конечно, падение кумиров и оскудение идеалов, но хорошо то, что «оптический обман не обманывает больше» (16, 178). Обманы исчезли при свете разума. И эта «отрицательная» и беспощадная работа разума по-своему полезна и необходима: «Нет, не пойдет человек нашего времени ни за один развенчанный идол с тем светлым самоотвержением, с которым шел его предок на костер за право петь псалмы, с той гордой самоуверенностью, с которой шел его отец на гильотину — за единую и нераздельную республику. Ведь он знает, что ни псалмы, петые по-немецки, ни освобождение народов по-французски ни к чему не ведут» (16, 180).

9

В самом конце жизненного пути, так нелепо оборвавшегося, Герцен вновь вернулся к дорогому ему образу Дон-Кихотов революции (Дон-Кихотов особого, высшего разряда: «Дон-Кихот — один из самых трагических типов людей, переживающих свой идеал», — 16, 166). Работе над повестью с символическим названием «Доктор. Умиравшие и мертвые» предшествовало перечитывание шедевров Карлейля и Мишле, знакомство с новыми книгами о событиях и людях Великой французской революции, заметно повлиявшими на содержание последнего художественно-

⁷⁸ «В истории все импровизация, все воля, все *ex tempore*, вперед ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль куда хотят, куда только есть дорога, — а где ее нет, там ее сперва проложит гений» (6, 36).

го произведения Герцена, на появление в нем русских мотивов, продолжающих сюжет, который был прерван в повести «Долг прежде всего».

С удовольствием пишет Герцен Н. П. Огареву в конце марта 1865 г. о новых книгах, выделяя монографию об Анахарсисе Клоотсе: «На дороге мне много помогала книга, взятая в Париже и только что вышедшая — „Anacharsis Cloots“. В последний год явились чрезвычайно замечательные вещи о революции — явление совершенно в особом S.-Just, Robespierre, Marat и Cloots направлении» (28, 51).⁷⁹ Чтение часто сопровождалось полемикой. Э. Кине, «изумительному автору, который с таким совершенством нарисовал картину реакции, вторгнувшейся, когда Робеспьер остановился перед католицизмом и средневековьем...» (28, 124), Герцен возражает по целому ряду вопросов старой и новой истории.⁸⁰ Герцен полемизирует с консервативными концепциями Кине, который увидел в идеях Гракха Бабефа и социал-утопистов только преувеличения, ошибки, нелепости. Позиция Герцена принципиально иная; возражая Кине, он афористично формулирует свою точку зрения (почти буквально он воспроизведет ее в письме 5 цикла «Письма к будущему другу»): «Крайности Бабефа, утопии почти всех социальных учений нисколько не опровергают суть дела. Напротив, сила бреда свидетельствует о силе болезни. Галлюцинации подтверждают заболевание — дают право на патологическое заключение. Если терапия не удалась — из этого не следует, что вопрос следует обойти, — к тому же, как мы видим, это невозможно. Социальный, экономический вопрос — *Magnit ignotum* нашего времени» (28, 131).

Заинтересовала Герцена и книга французского публициста-эмигранта М. Дюфресса «История права мира и войны с 1789 по 1815» (1867), но не собственно историческим повествованием: он отнесся с пониманием к чувству отчаяния, которое владеет ее автором («...старик повернулся к прошедшему и с глубокой печалью показал его исхудалым потомкам. Настоящее ему незнакомо, чуждо, противно. Из его кельи веет могилой, от его слов дрожь пробирает постороннего» — 11, 505). Герцен приводит в «Былом и думах» (11, 505) полные усталости и разочарования слова Дюфресса, явно предпочитая этот искренний и горестный плач высокомерной и утешительной риторике В. Гюго. Вырвавшиеся из сердца признания Дюфресса (и Кине) дороги, отчасти близки Герцену; однако для него очевидна и их уязвимость, обусловленная оскорбленным национальным самолюбием и идеализмом романтиков революции: «Кине и Марк Дюфресс скорбит об осквернении храма своего, храма народного представительства.

⁷⁹ Имеются в виду следующие книги: *Hamel E.* 1) *Saint-Just, extrait de la biographie universelle.* Paris, 1863; 2) *Histoire de Robespierre, d'après des papiers de famille, des sources originales et les documents inédits.* Paris, 1865. V. 1; *Avenel G.* *Anacharsis Cloots, l'orateur du genre humain.* Paris, 1865; *Baugeard A.* *Marat, l'ami du peuple.* Paris, 1865. V. 1—2.

⁸⁰ Речь идет о книге: *Quinet E.* *France et Allemagne.* Paris, 1867.

Они скорбят не только об утрате во Франции свободы, человеческого достоинства, они скорбят о *потере передового* места, они не могут примириться с тем, что империя не предупредила единства Германии, они ужасаются тому, что Франция сошла на *второй план* (. . .) Марк Дюфресс с раздраженным смирением говорит, что он не понимает *новых вопросов*, т. е. экономических, а Кине ищет того бога, который сойдет, чтоб наполнить пустоту, оставленную потерей совести . . . Он прошел мимо их, они его не узнали и допустили его распятие» (11, 506). Слова Дюфресса и Кине напомнили Герцену отчаяние и проклятия двадцатилетней давности («Письма из Франции и Италии», «С того берега»). Герцен читает их глазами уже переболевшего человека. Ему понятны разочарование и пессимизм французских публицистов; ему ясно и то, что они стоят «спиной к выходу». Герцену видны и «светлые точки» в современном Париже (пусть «слабые, дальние»), «известны великие вопросы, которых не знает Марк Дюфресс» (11, 509).

Любопытной показалась Герцену и книга Ж. Кларти, о которой он в январе 1868 г. писал Н. А. Герцен: «. . . взял „Les derniers Montagnards“ — par Jules Claretie. Это возмущение 3 прериала и процесс Ромма и др (угих) мы читали у Мишле, вкратце — а это то же, да, совершенно то же — я и ее пришлю» (29, 259).⁸¹ О книге Кларти Герцен писал и Ж. Мишле: «Я только что закончил том (. . .) о последних монтаньярах, — как величественно ваше прошлое!».⁸² Вскоре он познакомился с автором «славной книжки» в Брюсселе у В. Гюго; встречался с Кларти Герцен и позже. «Вчера я обедал у романиста и историка Кларти, — писал он в октябре 1869 г. Огареву. — Он очень милый и дельный человек» (30, 216).⁸³

Изобретатель нового революционного календаря, человек удивительной душевной красоты, идеалист и романтик, стоически преданный революции и республике, Ромм потеснил других исторических «друзей» Герцена. И герой последней повести Герцена

⁸¹ Les derniers Montagnards: Histoire de l'insurrection de prairial an 3 (1795) / D'après les documents originaux et inédits; Par Jules Claretie. Paris, 1867.

⁸² Герцену были известны обстоятельства жизни и смерти Ромма и его друзей-монтаньяров по книгам Мишле, Кине (речь в данном случае идет о гл. 4 («„Последние из римлян“. Смерть Субрани, Ромма, Гюйона») кн. XX работы Кине «La Révolution» (Paris, 1866)), Карлейля (в последней сжато и образно описана смерть Ultimi Romapogit: «. . . старый Риль прострелил из пистолета свою старую седую голову; разбил свою жизнь на куски, как он это сделал с дароносицей в Реймсе. Ромм, Гужон и другие стоят перед наскорю назначенным военным трибуналом. Услышав приговор, Гужон вынул нож, пронзил им свою грудь и, передав его своему соседу Ромму, упал мертвым. Ромм и почти все остальные сделали то же самое: римская смерть пронеслась как бы в электрической цепи, прежде чем успели вмешаться ваши судебные пристава!» (Карлейль Т. Французская революция: История. С. 606)). Но почетное, видное место Ромм занял среди «личных друзей» Герцена после книги Кларти.

⁸³ Кларти принадлежит некролог Герцена «Погребальный салют. Гражданин мира» (La Cloche. 1870. 29 janv.); см. также: Новый мир. 1959. № 6. С. 275—278 (воспоминания Кларти о встречах с Герценом).

Лукас Ральер (а «по собственному усмирению» — гражданин Тразеас-Гракс Ральер), последний из могикиан революции — преданный ученик Ромма и Гужона, уцелевший в 1795 г. вопреки собственному желанию.⁸⁴ Пылкую преданность учителям и соратникам Тразеас-Гракс пронес через десятилетия, бережно сохраняя «сокровища» «габатерку» Ромма, «его портрет, деланный учеником изменника Давида, „барона Давида“», «шейный платок Гужона, покрытый его кровью. . .» (20, 538). Ральер с удивительной энергией и настойчивостью добивается справедливости для друзей спустя полвека после казни, когда уже никому дела не было до Ромма и Гужона («. . . собирал непровержимые доказательства, что гарантии, даваемые законом всякому преступнику, не были взяты в уважение при процессе „последних римлян“ и великих патриотов. . .» — 20, 536).

Доктор в повести не только выражает, но и повторяет суждения самого Герцена в «Концах и началах» и других произведениях о якобинцах 1790-х гг. и — шире — вообще об удивительных и цельных людях XVIII в.: «Я их ставлю ужасно высоко. Таких людей больше нет. . . должно быть, на людей бывает урожай, как на виноград. Кажется, условия те же, а один год из десяти вино лучше, — говорят, от кометы» (20, 529).⁸⁵ Герцен реализует в повести поэтический план, подробно развернутый в «Концах и началах». Пожалуй, повесть даже суше поэтического плана, где доминируют контрасты, торжественно-возвышенная лексика, мощно звучит мотив трагического одиночества «беловежских зубров». В «Концах и началах» обнаженнее проступают боль и гнев Герцена: это поистине героико-философская поэма в высоком стиле.

Особый интерес в «Докторе. . .» представляет русская тема, продолжение «революционных» страниц повести «Долг прежде всего» («Русские в Париже 1789 года»), своеобразное дополнение к книге «О развитии революционных идей в России» и «художественная» параллель к одной из последних историко-публицисти-

⁸⁴ «Суд, приговоривший Ромма и Гужона с товарищами к гильотине, испугался их великого самоубийства и на скорую руку объявил Тразеаса-Гракса с множеством людей, захваченных для уголовного *corps de ballet*, невинными. Ральер вовсе не хотел быть оправданным, а сам явиться обвинителем; с этой целью он писал судьям записки с разными нежностями, вроде: „Убийцы республики, изверги и изменники рода человеческого“ . . . но его не слушали: жертв было больше не нужно. Ральера вытолкали против воли из тюрьмы» (20, 530).

⁸⁵ Ср. с размышлениями Герцена в статье «Князь Сергей Григорьевич Волконский» (1866): «Удивительный краж людей. . . Откуда XVIII век брал творческую силу на создание гигантов везде, во всем, от Ниагары и Амазонской реки до Волги и Дона? . . . Что за бойцы, что за характеры, что за люди!» (19, 17) — и «Былом и думам»: «Прошрое столетие произвело удивительный краж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе — отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в „окно“ гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур, прошрое столетие, напротив, вызвало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиваться, как в уродство» (8, 87).

ческих работ Герцена («Études historiques sur les heros de 1825 et leurs predecesseurs, d'après leurs mémoires (Исторические очерки о героях 1825 года и их предшественниках, по их воспоминаниям)») (1868), где Герцен подробно пишет о Жильбере Ромме — воспитателе будущего сенатора Павла Александровича Строганова и проводнике его по революционному Парижу: «Во время пушей славы Тероань де Мерикур и пушего разгара революции, еще не совсем заступившей в кровь, ходил суровый Ромм, один из „последних римлян“, как его назвал Кине, святой самоубийца, которого образ с двумя-тремя товарищами печально стоит при выходе из революции, и с ним юноша, его воспитанник. С ним же видали Ромма в своей section, председательствовавшего в самые бурные дни трагедии. Ромм сильно любил юношу — и говаривал ему часто: „Не забывайте дома, что вы видите здесь, храните ваше сердце и ваши убеждения“.

Это был граф Строгонов.

Граф Строгонов был в 1801 одним из советников государя, который одобрял его мысль об освобождении. Он и писал проект, забракованный Кочубеем, Чарторижским и всем тогдашним „Comité de Salut public“. . .» (20, 647).

Столь необычный, удивительный исторический факт совершенно естественно показался Герцену знаменательным, даже символическим. Писатель не преминул ввести волновавший его сюжет в повесть: «Как-то вечером в 92 году Ральер сидел у Теройн де Мерикур — туда пришел Ромм и с ним какой-то юноша. Юношу Ромм воспитывал и любил, как сына. Он говорил об нем с восторгом как о будущем представителе бессмертных начал революции в России. Мальчик этот должен был получить тысяч тридцать крестьян — и клялся Ромму их освободить» (20, 530). Юноша (мальчик), как далее прямо указывается, — Строганов (в искаженном французском варианте — «le citoyen comte Strongenoff»).

Почти все источники (устные или рукописные), из которых черпал Герцен сведения о Строганове, нам неизвестны. Сведения эти в основном верны. О «негласном комитете», названном Александром I «в шутку» «comité de salut public», записке П. А. Строганова «Об установлении состояния крестьян», поданной императору в 1801 г., его же трактате «О расширении прав покупки населенных земель и об ограничении при использовании этого» (предлагалось превратить крестьян в «фермеров», урегулировать их повинности, предоставить право покупки населенных земель недворянам) Герцен знал по публикации М. И. Богдановича «Первая эпоха преобразований императора Александра I» (Вестн. Европы. 1866. № 3; здесь же приведены записи П. А. Строганова — «Извлечение из „Заседаний комитета“ 1801 года»).

Понятно, что писатель воспользовался преимуществом художника перед историком, домыслив некоторые эпизоды и детали. Замечательны страницы, посвященные поездке Ральера в Россию: фантастические, граничащие с безумием, приказы Павла I, раз-

молвка французского монтаньяра с графом Строгановым.⁸⁶ Художественная «фантазия» Герцена точна исторически и психологически. Если бы Ральер встретился со Строгановым, результат был бы именно таким, каким он описан в повести: «После смерти Павла Ральер таки добрался до Строгонова — он тотчас сообщил ему проект преобразования России, основанный на уничтожении крепостного сословия, дворянства, чинов, привилегий, на превращении церквей в школы и аршинов в метры и пр. Строгонов находил его проект замечательным, но преждевременным. Ральер надулся и воспользовался первой войной с Францией, чтоб уехать в Молдо-Валахию» (20, 532).⁸⁷

Фактов Герцен не искажает. Ромм действительно был писателем юного графа в России, сопровождал его вместе с крепостным человеком, будущим знаменитым архитектором Ворониным, в Швейцарию, где продолжал энергично и целенаправленно руководить образованием русского аристократа, прививая ему идеи просвещения, европейской науки. Энциклопедически образованный и радикально настроенный философ и математик был выдающимся педагогом и воспитателем, имел огромное влияние на юношу. В Париже Ромм и Строганов, увлеченные революционными событиями, регулярно посещают заседания Национального собрания; Строганов принимает новое имя «гражданина Отчера». Граф участвует в заседаниях организованного в 1790 г. Роммом общества «Друзья закона», «архивариусом» которого была А. Терауан де Мерикур (граф влюбился в «деву революции»). Записался Строганов и в Клуб якобинцев; после вступления совершил паломничество в Эрменонвиль, чтобы почтить память создателя «Эмиля» и «Общественного договора» (якобинский диплом он хранил столь же бережно, как герой повести Герцена табакерку Ромма и шейный платок Гужона). Даже собрания «бешеных» посещал граф вместе с учителем. О настроениях Строганова превосходно свидетельствуют строки из его гордого и горячего письма в ноябре 1790 г. гувернеру двоюродного брата: «Сударь, я только что получил письмо, которое вы написали г. Ромму. Хотя вы заявили, что все, что вы пишете, это только лишь предположения, они достаточно основательны, чтобы мы предприняли все, что в наших силах, чтобы предотвратить готовую разразиться

⁸⁶ Бесподобны и типично герценовские иронические параллели: «Думать надобно, что такое странное сходство павловских мер с мерами Комитета общественно-го спасения не совсем были антипатичны Ральеру — он не поехал и заказал себе мундир, который оказался ненужным, потому что если Тразеас-Грахх неожиданно остался в Петербурге, то Павел оставил этот город также невзначай и по экстренному поезду» (20, 532).

⁸⁷ Герцен не был, естественно, знаком с воспоминаниями тестя Строганова, содержащими ценнейшие документы и свидетельства; он непременно воспользовался бы рассказом о графе, вспоминающем свою революционную молодость: «... становился странен, чудил и вдруг ни с того ни с сего уходил в комнаты своих слуг, садился с ними запросто обедать и наслаждался равенством» (*Николай Михайлович, вел. кн. Граф Павел Александрович Строганов (1774—1817): Историческое исследование эпохи императора Александра I.* СПб., 1903. Т. 1. С. 216).

грозу. Вследствие этого мы принимаем официальное предложение, которое вы нам делаете. Вы пишете в своем письме, что я обвиняюсь в том, что я, вместе с некоторыми русскими, подписал письмо в Национальную ассамблею с просьбой предоставить нам место в амфитеатре на празднике Федерации, и прибавляете, что, если обвинение окажется обоснованным, въезд в Россию мне будет запрещен. Обвинение ложно, так как я узнал о существовании адреса только после того, как он был прочитан у решетки Национальной ассамблеи. Если же избирают этот предлог за неимением других, то их вполне достаточно: я член якобинского клуба, дважды я участвовал в дебатах у решетки Национальной ассамблеи (...) я присутствовал почти на всех заседаниях Национальной ассамблеи и протоколировал их, и вообще все мое поведение с момента начала Революции слишком ясно обозначает мой образ мыслей. Итак, если хотят меня окончательно обвинить, то оснований для этого достаточно». ⁸⁸

Выразил Строганов в письме и желание остаться во Франции, но был срочно по требованию императрицы вывезен из ужасного Парижа кузеном Новосильцевым. Такова история революционных заблуждений юного графа Строганова ⁸⁹ — характерный и яркий эпизод русско-французских связей и одновременно значительная страница начального этапа русского освободительного движения, детали которого «принадлежали к самой высшей аристократии» (20, 229).

10

Финал последней повести Герцена мрачен. Мягкие лирические тона «поэмы» о Дон-Кихотах революции в «Концах и началах» сменили будничные, прозаические, серые. «Перевернут» в повести и мажорно-мстительный рассказ о «террористе» Сержане, который так опечалил своей непреклонностью иезуитов, этих черных тараканов («scafards»). Вместо умиротворяющей картины похорон («Концы и начала») в повести изображено надругательство над верой якобинца, предательство, омрачившее его последние мгновения, и издевательская клерикальная инсценировка на кладбище. Фальсификация и глумление. Последняя и самая циничная точка мерзкого фарса — статья, воспроизводящая речь отца Амаранта со всеми присущими ей красотами продажного красноречия, от которых в гробу должен был бы перевернуться гражданин Тразеас-Гракх: «Родившись в те несчастные времена, когда легко-

⁸⁸ Там же. Т. 2. С. 301—302.

⁸⁹ Добавим, что не только Строганов и Воронихин оказались вовлеченными в «орбиту» Ромма. Рекомендательное письмо к Ромму имел «путешественник» Н. М. Карамзин, который встречался с учителем и его аристократическим русским учеником в революционном Париже (об этом подробно пишет Ю. М. Лотман в упомянутой ранее книге «Сотворение Карамзина»; там же приведена новейшая русская и зарубежная литература о Ромме и других «последних римлянах»).

мыслие Аруэта и верующее неверие Жан-Жака считались наукой, а ненависть к церкви — любовью к народу и образованию, Ральер в молодых годах дерзко закрыл себе врата церкви. Гордость полвека воспрещала ему сознаться в своей ошибке, и только в последние дни — благодаря кроткому влиянию добродетельной жены своего сына — старец смирился перед Искупителем, и церковь поспешила принять дух его с миром. (. . .) И еще помолимся о державном народе французском и испросим благословения господня на нашу христоролюбивую республику, на ее градоначальников, военачальников и представителей» (20, 546—547).

Вообщее тональность повести желчная, саркастическая. Мирозерцание доктора чересчур «анатомическое», сплюснутая «закулисная» сторона жизни, а диагноз безотраден: еще один приговор в творчестве Герцена одряхлевшей, мещанской Европе, старому, уходящему в ночь миру. Герцен почти во всем разделяет мнение доктора. И все-таки это уже прошедшая боль, пережитое, «былое». Герцен «прерывает» философствование доктора, вводя эпилог — отклик на самые последние события, «опередившие» старые мысли и принявшиеся без зова и спроса за свой «реальный комментарий»: «Рассказ доктора о гражданине Ральере я писал в начале марта 1869. Через несколько месяцев гроза, давно собиравшаяся, разразилась без ударов и потрясений. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франции изменилась. Равновесие, устроившееся от начала реакции после 1848, нарушилось окончательно.

Явились новые силы и люди» (20, 555).

Герцен менее всего кабинетный философ, уединенный мыслитель, посторонний «зритель» и бесстрастно-объективный наблюдатель. Он выдающийся журналист и опытный, тонкий, чуткий политик, хорошо знающий, что есть время раздумий, медитаций, «философствований», подведения итогов и есть время действия, борьбы. Как только резко переменялась ситуация в Париже и Франции, завершился двадцатилетний период упадка, стагнации, он почти всецело уходит в современность, радуясь наступающей «грозе». Герцен почувствовал начало перелома, подземные толчки надвигающейся европейской революции: «Я думаю, что есть силы у Запада, пробуждающиеся к свету, которые могут оплодотворить разумом и спасти организм. (. . .) Силы эти, оставленные на свою злобу, уже подняли голову; это уже не Гарибальди, и не 93 год, и не Июньские дни — работничьи лиги и фенианизм» (20, 608).

Осенний Париж 1869 г. поразил Герцена. Он с подъемом писал Огареву о радостных переменах, иронически освещая при этом фигуру хладнокровного наблюдателя позитивиста Г. Н. Вырубцова, «объективная» бесстрастность которого представляется смешной и нелепой посреди «электрического» движения: «Здесь хаос, и мы бродим на вулкане. Жалею, что всех впечатлений не передашь, — эта страница парижской жизни стоит томов. Положение гораздо больше натянуто, чем издали кажется. Левая сторона окончательно в параличе — и не встанет — но и побившие

ее друг друга ненавидят до. . . до героизма, т. е. до сумасшедшей отваги, — и тут опять эти люди становятся хороши до поэзии — и в этом пекле, в этой электрической атмосфере, близкой к грозе, глаз приятно останавливается на нетающей, светлой, ледяной фигуре Вырубова, который обо всем рассудил, привел в порядок, радуется прогрессу — не печалится регрессу» (30, 222—223). Герцена, напротив, воздух надвигающейся грозы пьянит, внушая надежду. «Сны революции» на глазах превращаются в явь, которая и радует и страшит. Но суть и направление движения окончательно прояснились, отлившись в четкие, пророческие тезисы политического «завещания» («К старому товарищу»): «Как перед 1789 обмирание мира средневекового началось с сознания несправедливого соподчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников. Как тогда упрямство и вырождение дворянства помогло собственной гибели, так и теперь упрямая и выродившаяся буржуазия тянет сама себя в могилу» (20, 577).

На такой оптимистической ноте, пожалуй, можно было бы завершить главу и книгу, прибавив еще по давно сложившейся фанфарно-риторической традиции несколько слов о «молодых штурманах бури» и их детях. Однако тем самым была бы сильно искажена позиция Герцена. Проницательно определив грозовую ситуацию в Западной Европе, оценив новые силы, пришедшие в революцию, лично захваченный движением, Герцен не спешит с прогнозами и далеко не уверен в быстрых и эффективных результатах борьбы. Он по-прежнему очень осторожен, зная, сколь трудны и извилисты пути истории, зная, что «объективная истина», «справота» дела, законность и неизбежность требований еще далеко не все: «„Рано или поздно истина всегда побеждает“. А мы думаем, *очень поздно* и *очень редко*. Разум спокоен века был недоступен или противен большинству» (11, 509).⁹⁰ Еще только начинается гроза, а мысль Герцена забегает вперед, включая недавние события в определенный исторический ряд, что предполагает разные варианты «V акта», в том числе и трагические. Уже появляется дневниковая запись, — возможно, проспект новой работы Герцена. Краткий очерк новой истории, доведенный до последних дней, обращенный *лицом* к современности:

«Я был накануне 24 фев⟨раля⟩ в Париже и писал мои письма об нем. Я был при Июньской борьбе, при Римской демонстрации и — судьба опять достается мне через двадцать лет — схватить несколько черт.

Одна фаланга за другой является с страшной быстротой на платформе — и одна фаланга за другой падает в пропасть. . . или

⁹⁰ «Что будет — не знаю, я не пророк, — писал он в январе 1870 г. Огареву, — но что история совершает свой акт здесь — и будет ли решение по + или —, но оно будет здесь, что ясно до очевидности, — а из этого еще яснее, что до окончания V акта и до занавеси — жить лучше здесь. Даже чисто зрителем» (30, 299).

в грязь — но невозможно держаться. . . Это Monte rosa — не к чему привязать веревку — грунта нет. Грунт только в социальных подземельях.

Оттого — правые и виноватые, смелые и осторожные одинаково валятся, столкнув своих врагов, и через них их столкнувшие непосредственно падают.

Это лестница девяностых годов.

Даже язык тех страшных лет повторяется» (30, 517).

Чувствуется, что Герцена радует новая борьба и смущают революционные «corsi e ricorsi». Смущают и тревожат. «Лестница девяностых годов» представляется лестницей Иакова, ступенек которой не счесть. Он сам некогда ступил на нее в отчаяние, горя «бушоттовским терроризмом», и, высоко поднявшись, дошел до 1870 г., кануна Парижской коммуны и собственной смерти. Сомнения и тревоги Искандера очень понятны, у них прочное «историческое» основание. «Язык тех страшных лет» будет повторяться и спустя много лет после смерти Герцена. Другие поколения привыкнут к зловещему словосочетанию «враг народа», к новым и куда более циничным законам о «подозрительных». Познают такой террор, перед которым якобинский выглядит просто небольшим театральным представлением, первой и еще очень робкой «пробой пера». Конечно, исторические аналогии и параллели условны, но они все же неизбежно возникают и, следовательно, до известной черты правомерны. Приходится с грустью признать, что тревога, предупреждения, советы, напоминание об исторических уроках, содержащиеся в «завещании» Герцена, были «старыми товарищами» или отвергнуты, или плохо поняты. Странная судьба завещаний, последних «писем» к «старым товарищам». Как раз «старые товарищи» непростительно небрежно их читают, увлеченные текущей работой и фракционной борьбой. И только после колоссальных ошибок, бесчисленных жертв и невымыслимых бедствий они запоздало объявляются пророчествами.

В цикле философско-публицистических писем «К старому товарищу», как и в других произведениях, созданных в эмиграции, почти все обращения Герцена к событиям и людям Великой французской революции теснейшим образом связаны с размышлениями о различных путях русского освободительного движения. Признавая Интернационал Маркса реальной организованной силой, Герцен тем не менее вовсе не питал иллюзий насчет быстрых и радикальных перемен в Европе, не говоря уже о России, пока стоящей в стороне от этого нового и с каждым годом все более крепнущего движения. К насильственным, кровавым способам решения главнейших социально-политических проблем Герцен относился по-прежнему без энтузиазма, настороженно, явно больше симпатизируя мирному, органическому преобразованию, при котором удалось бы не только сохранить из старого мира все, «что в нем достойно спасения», но и «оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное» (20, 581). Тотальной ломке Герцен противопоставляет сделки, компромиссы, «практи-

ческие облегчения», прямому, гильотинному (в России, естественно, топор вместо французской гильотины) пути гражданской войны и террора — диагонально-эволюционный путь, радикально-лозунговым призывам «идти на какой-то бессмысленный бой разрушения» — проповедь.

Совершенно закономерно (консеквентно) и последняя работа Герцена завершается воспоминанием о революции 1789—1793 гг., точнее о деструктивно-разрушительных гетерогенных явлениях, сопровождавших ее. Это элегический, а равно и «педагогический» — напоминание «старым товарищам» и «молодым штурманам будущей бури» об исторических уроках, — финал. «Молодые штурманы будущей бури» — знаменитое определение из главы «Молодая эмиграция» («Былое и думы»). Знаменитым оно стало после того, как вошло в статью В. И. Ленина «Памяти Герцена», о чем непременно упоминается в работах о Герцене и комментариях к его мемуарам. Вот, в частности, цитата из академического комментария: «С подлинным историческим оптимизмом и глубокой проницательностью Герцен увидел в революционерах-разночинцах наших „молодых штурманов будущей бури“». В своей статье о Герцене В. И. Ленин использовал эту замечательную характеристику молодых революционеров» (11, 714—715).⁹¹ Верно здесь только указание на факт использования Лениным «замечательной характеристики», но — по очень понятным причинам — ничего в комментарии не говорится о том, что цитата стала неотъемлемой частью политического контекста статьи «Памяти Герцена», функционально трансформировавшись. Вообще апелляция к положениям статьи Ленина без учета конкретной политической обстановки и конкретной полемической задачи, замечу попутно, ведет к догматизму, созданию стереотипов и тех идеологических «формул», о которых с горечью писала Л. Я. Гинзбург. Рассуждать о подлинно историческом оптимизме Герцена, отталкиваясь от содержания главы «Молодая эмиграция», не приходится. Что же касается «глубокой проницательности», то она ярко выразилась как раз в историко-психологическом анализе новейшей формации радикалов, развитом и продолженном в статье «Еще раз Базаров» (1868) и письмах «К старому товарищу». Герцен не «винит» «молодых штурманов», но и не щадит, давая им такую суммарную аттестацию: «Люди эти, очень молодые, покончили с идеями, с образованием; теоретические вопросы их не занимали отчасти оттого, что они у них еще не возникали, отчасти оттого, что у них дело шло о приложении. <...> В некоторых случаях они были отвлеченно правы, но сложного и запутанного процесса уравнивания идеала с существующим они не брали в расчет и, само собой разумеется, свои мнения и воз-

⁹¹ В том же комментарии энергично разоблачаются (дань контрпропаганде) все другие попытки «использования» главы: «Реакционная печать пыталась использовать эту главу для того, чтобы фальсифицировать содержание и направленность идейной эволюции Герцена в последние годы его жизни» (11, 714).

зрения принимали за воззрения и мнения целой России» (11, 341). И далее Герцен еще раз подчеркивает: «. . . если они и знали известный слой Петербурга, то России вовсе не знали и, искренно желая сблизиться с народом, сблизались с ним книжно и теоретически» (11, 343).

К этой сдержанной общей формуле примыкают суждения о «более свирепых» нигилистах, «Собакевичах и Поздрых нигилизма» (Герцен проводит рискованную и злую параллель между ними и сентябрьскими мясниками, робеспьеровскими чулочницами), которые также заслуживают внимательного и серьезного изучения, «потому что и они выражают временной *тип*, очень определенно вышедший, очень часто повторявшийся, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя» (11, 350). Герцен исследует генезис, почву, «физиологию» нигилизма, естественно ярче всего сказавшиеся в его крайних («чересчурная крайность») представителях: «Передняя, казарма, семинария, мелкопоместная господская усадьба, перегнувшись в противоположное, сохранились в крови и мозгу, не теряя отличительных черт своих» (11, 350—351).

Конфликты Герцена с молодой эмиграцией в конце 1860-х гг. стали еще острее; к ним добавились и серьезные разногласия «между старичками». Но, если отвлечься от разных обстоятельств, придавших конфликтам исключительную остроту и напряженность, нельзя не увидеть главного — твердой, неизменной позиции Герцена, сформулированной накануне реформы 1861 г. в полемике с революционно-демократической программой кружка Чернышевского и Добролюбова. Традиционно в пре-реформенной публицистике Герцена выделяют либеральные колебания и ошибки, отчетливее всего выразившиеся в так называемых письмах к царю, статьях «Very dangerous!!!» (1859), «Лишние люди и желчевики» (1860) и редакционном предисловии к «Письму из провинции» (1860). Взгляд этот восходит к суждению Чернышевского о «Кавелине в квадрате» и тезисам статьи Ленина. Не стоит, однако, забывать о том, что резкость оценки Лениным «писем» Герцена к Александру II в значительной степени объяснялась особенностями политической ситуации, сложившейся в России 1912 г. И само собой — на эту сторону уже обращалось внимание исследователями — то были не частные «письма», а специфический публицистический жанр политических посланий (вспомним здесь и Толстого) манифестационного характера, — жанр, в котором «иерархическое» неравенство, можно сказать, «конфисковывалось» (другое дело письма-прошения, адреса с выражением верноподданных чувств). В «письмах» к Александру II Герцен вовсе не намерен был отказываться от принципов свободной речи. Верно об этом сказано у Л. Я. Гинзбург: «Герцен в 50-х годах ожидал добра от правительства, готов был жить в худом мире и твердил в „Колоколе“ о том, что царь одною мыслью об освобождении крестьян с землей поставил себя в ряды величайших деятелей человечества. Но каким тоном все это

говорилось; как Герцен стоит лицом к лицу с Александром II: поощряет его, понукает, одобряет или страшает неудовольствием „образованного меньшинства“». ⁹²

Догматизация отдельных положений статьи Ленина выразилась, с одной стороны, в прямолинейном сопоставлении позиций Герцена и Чернышевского. Герцену была отведена роль колеблющегося революционного демократа, с годами, впрочем, все более приближавшегося к взглядам Чернышевского. Даже в нетрадиционной и смелой (насколько позволяло время — 1976 г.) книге, написанной «триадой» историков — А. И. Володин, Е. Г. Плимак, Ю. Ф. Карякин — и неудачно озаглавленной «Чернышевский или Нечаев?», Герцен, в сущности, выступает непоследовательным идеологическим спутником Чернышевского, что довольно странно: ведь именно Герцен, а не Чернышевский, подверг глубокой и уничтожающей критике как нечаевщину, так и воззрения анархистов и бланкистов. С другой стороны, заключив политические взгляды Герцена в контейнер с надписью «Либеральные колебания, иллюзии, ошибки», историки уклонились от анализа существа позиции издателя «Колокола», в которой далеко не самое важное — оценка реформаторских устремлений Александра II. Вот и получилось, что в предисловии Герцена к «Письму из провинции» разглядели лишь либеральный «довесок» к радикальной статье. Вокруг последней выросла огромная литература. Поисками настоящего автора «Письма», начиная с М. К. Лемке, занялись когорты исследователей. Было выдвинуто множество гипотез: назывались Чернышевский, Добролюбов, даже Т. Г. Шевченко (но это, пожалуй, из области анекдотического литературоведения). И наконец успокоились на компромиссном решении — письмо принадлежит кому-то из кружка Чернышевского — Добролюбова. Вполне вероятно. Что же касается статьи Герцена — а она программная, представляет собой квинтэссенцию однотипных суждений писателя как о старой французской революции, так и о будущей русской — то в ней были склонны видеть максимальную точку либеральных колебаний Герцена. В академическом комментарии читаем: «В ответе Герцена „Русскому человеку“ особенно ярко проявились отмеченные В. И. Лениным колебания Герцена „между демократизмом и либерализмом“» (14, 543). Аналогично и в «Летописи»: «Очевидно, это письмо, в частности, имел в виду В. И. Ленин в ст. „Памяти Герцена“, говоря, что „тысячу раз правы“ были представители „нового поколения революционеров-разночинцев“, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму». ⁹³ Возможно, хотя и не так уж очевидно.

Почему «Письмо из провинции» вызвало столь исключительный интерес у историков и историков литературы, ясно.

⁹² Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 221.

⁹³ Летопись жизни и творчества А. И. Герцена: 1859—июнь 1864. М., 1983. С. 102.

Это был, собственно, первый из радикальных манифестов, еще сравнительно умеренный, за которым, как известно, последовали весьма красноречивые, даже свирепые листовки шестидесятников (они были отрицательно оценены Герценом, гениально спародированы в «Бесах» Достоевского и, похоже, смутили Чернышевского), а позднее статьи и прокламации Ткачева, Бакунина, Нечаева. Мысли, высказанные Русским человеком, можно (и логично) квалифицировать как типичные для левого крыла разночинцев. Этим они и интересны. И неожиданностью для Герцена не явились. Отдав должное чувствам корреспондента (но и отклонив некоторые порожденные слухами обвинения), Герцен обстоятельно и эмоционально объяснил, почему он не может согласиться с таким радикальным «образом действия»: «...к топору, к этому ultima ratio притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора» (14, 239). Более того: даже если народ «сам бросится к топору», то «и тогда не из Лондона звать к топорам. Будемте стараться всеми силами, чтоб этого не было!» (14, 243). Герцен и позднее в полемике с крайними течениями русской политической мысли отстаивал свое мнение о предпочтительности мирного, эволюционного обновления России. В пугачевщине он видел «великое несчастье», которое всеми возможными силами желательно было бы предотвратить. В этом пункте никаких колебаний у Герцена не было. Логичнее говорить о последовательности и продуманности его позиции, своеобразном, выражаясь оксюморонно, революционном консерватизме Герцена. Но самое поразительное в статье Герцена даже не ясно выраженное «отвращение к крови», а вопросы, остро и образно сформулированные, с которыми он обратился к радикально настроенным «друзьям»: «Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костьми, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расхочется? Есть ли все это у вас?» (14, 243).

Никто из деятелей русского демократического движения в XIX в. не ставил вопрос о революции в такой неожиданной, так сказать, обоюдоострой форме. Только, пожалуй, со словами Пушкина о «бессмысленном и беспощадном бунте» отчасти созвучны тревожные размышления Герцена. Вряд ли это созвучие случайно. Во всяком случае оно столь же случайно, сколь и настойчивое требование Герцена признать историческую заслугу славянофилов и принципиальное неприятие эстетического нигилизма, историческую родословную и психологическую «подноготную» которого он образно разъяснял в главе «Молодая эмиграция»: «Разве в нахальной дерзости манер и ответов вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины, и в людях, говорящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине, — внучат Скалозуба, получивших воспитание в доме дедушки, хотевшего „дать фельдфебеля в Вольтеры“» (11, 352).

В глазах Герцена пренебрежительное отношение к Пушкину не было частностью и мелочью. Он справедливо видел в эстетическом нигилизме разрыв с великими национальными и европейскими традициями. Пушкин, по убеждению Герцена, — здесь он решительно расходится с мнениями не только Писарева, но и Добролюбова, Чернышевского и, напротив, совпадает с Достоевским и другими почвенниками — больше чем великий поэт. Пушкин — громадное, символическое явление, свидетельство внутренней силы и неисчерпаемых потенций русского народа. «Мне кажется, что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; это „нечто“ трудно выразить словами и еще труднее указать на него пальцем, — писал Герцен в статье «La Russie (Россия)» (1849). — Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря на унижительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил через сто лет громадным явлением Пушкина, я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя» (6, 199—200). Примечательно, что в этой удивительной «поэме» о русском народе (она произвела сильное впечатление не только на Страхова, но и на Г. И. Успенского) Герцен нашел особые слова для Пушкина — первого национального художника, выразителя внутренней силы и веры народа.

О Г Л А В Л Е Н И Е

От автора	3
Глава I. «Начала» и «концы»	5
Глава II. «Былое и думы» Герцена и русская автобиографическая проза	81
Глава III. Идеи и люди Великой французской революции в публицистике и художественном творчестве Герцена	140

В. А. Т у н и м а н о в

**А. И. ГЕРЦЕН И РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ
МЫСЛЬ XIX в.**

*Утверждено к печати Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) Российской академии наук*

Редактор издательства *Т. А. Лалицкая*

Художник *И. П. Кремлев*

Технический редактор *И. М. Кашеварова*

Корректоры *Л. Б. Наместникова* и *Г. И. Суворова*

ИБ № 44620

ЛР № 020297 от 27.11.91 г. Сдано в набор 18.06.91. Подписано к печати 09.02.93. Бумага
офсетная № 1. Формат 60×90^{1/16}. Печать офсетная. Гарнитура литературная. Усл. печ. л. 14.
Уч.-изд. л. 16,95. Тираж 720 экз. Тип. зак. 3014. С 742.

Санкт-Петербургская издательская фирма ВО «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В-34, Менделеевская лин., 1

Санкт-Петербургская типография № 1 ВО «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В-34, 9 линия, 12

В С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ФИРМЕ «НАУКА»
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ КНИГИ:

Н. Я. Дьяконова, А. А. Чамеев

ШЕЛЛИ И ПОЭЗИЯ АНГЛИИ

Книга посвящена жизни и творчеству Шелли, английского поэта-романтика начала XIX в. Подробно рассказывается о его борьбе против общественной несправедливости и жестокости, за право выражать свое несогласие с официальной идеологией, за право идти в искусстве новыми неизведанными путями. Поэзия Шелли рассматривается в широком историческом контексте, в сложном соотношении с философскими и литературными течениями, прослеживается воздействие Шелли на позднейшую поэзию Англии. В приложении публикуются переводы его стихов, — отчасти известные, отчасти новые.

Для читателей, интересующихся историей зарубежной литературы.

XVIII ВЕК

Сборник 18.

Сборник посвящен актуальным вопросам изучения русской литературы XVIII века. В книгу включены статьи и материалы, касающиеся изучения литературных жанров и направлений, проблем текстологии, а также статьи, освещающие разные аспекты русской культуры XVIII века (театр, образование, история частных библиотек).

Для литературоведов и искусствоведов, аспирантов, преподавателей и студентов гуманитарных факультетов и вузов, а также для всех интересующихся историей русской литературы и культуры.

СЛОВАРЬ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
XVIII в.

Вып. 2 (К).

Второй выпуск «Словаря» включает биографии писателей, которые активно участвовали в литературном процессе XVIII—XIX вв. и внесли заметный вклад в развитие литературы. Словарные статьи содержат основные сведения о жизни и творчестве писателей, снабжены избранной библиографией.

Для филологов, историков, искусствоведов.

Н. М. Карамзин

**ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
И ТВОРЧЕСТВО**

Сборник содержит неизвестные и недостаточно изученные материалы для библиографии и творческой характеристики Н. М. Карамзина, статьи, раскрывающие философско-эстетическую и литературную позицию Карамзина, а также сообщения и публикации, впервые входящие в научный и читательский обиход, неизданные письма писателя, мемуарные и эпистолярные свидетельства, документы.

Для историков литературы, студентов гуманитарных учебных заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся русской культурой XVIII—XIX в.

РУССКАЯ КРИТИКА XIX ВЕКА

Спорные и нерешенные вопросы

В сборнике исследуются проблемы истории русской критики, которые долгое время оставались вне поля зрения литературоведов. В ряду их оказываются как почти неизвестные авторы, такие как А. М. Бухарев, автор ряда интереснейших работ о Гоголе, Достоевском, Чернышевском, Тургеневе, так и хорошо изученные проблемы критической мысли, получающие в статьях новое освещение (например, выявление ценностных оснований критики Добролюбова и Чернышевского).

Для историков литературы, преподавателей и студентов вузов, а также для широкого круга читателей.

КНИГИ ВО «НАУКА» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТОРЫ
РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»,
В МЕСТНЫХ МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГОВ
ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Для получения книг почтой заказы
просим направлять по адресу:

- 690088 Владивосток, Океанский проспект, 140 («Книга—почтой»)
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга—
почтой»)
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 («Книга—почтой»)
660049 Красноярск, проспект Мира, 84
117393 Москва, ул. академика Пилюгина, 14, кор. 2
103009 Москва, ул. Тверская, 19а
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7
117383 Москва, Мичуринский проспект, 12
630076 Новосибирск, Красный проспект, 51
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 («Книга—почтой»)
142284 Протвино Московской обл., ул. Победы, 8
142292 Пушкино Московской обл., МР «В», 1 («Книга—почтой»)
443002 Самара, проспект Ленина, 2 («Книга—почтой»)
197345 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7
191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57
199164 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга—почтой»)
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49

Магазин «Академкнига» в Татарстане:

- 420043 Казань, ул. Достоевского, 53



Санкт-Петербург
«НАУКА»

1984
